

Антология







**Библиотека
современной
фантастики**

МОСКВА 1971

● ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

А. ЕРМОЛАЕВ

Антология
сказочной
фантастики

21
том

СБ3
А72

Составитель
Е. ВАНСЛОВА

Художник
Е. ГАЛИНСКИЙ

Редактория:
И. АВРАМЕНКО
Э. АРАБ-ОГЛЫ
И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА
И. ЕФРЕМОВ
С. ЖЕМАЙТИС
Ю. КАГАРЛИЦКИЙ
А. СТРУГАЦКИЙ

Разбивая стеклянные двери...

Как известно, привидений не бывает. Наукой абсолютно достоверно установлено, что нет также колдунов, русалок и эльфов.

И все-таки они существуют — призраки, гномы, ведьмы. Со многими из них мы хорошо знакомы. Более того, без этого знакомства жизнь наша стала бы несколько скучнее и беднее. Без пушкинской русалочки. Без тени отца Гамлета. Без кентервильского привидения. Без семи пленок очаровательной Белоснежки.

И так ли уж велика разница между этими фантастическими и «обыкновенными» героями художественных произведений? Ведь любой литературный образ — ну, скажем, так: почти любой — тоже плод воображения, создание вымысла. Конечно, конечно, не будем спорить, разница между фантастическим и реалистическим образом, как и между фантастическим и реалистическим произведениями, есть, иначе не мог бы и состояться предлагаемый читателю том БСФ. Просто я хочу сказать, что иногда эта разница не очень велика. А если мы примемся сравнивать цели, которые ставили перед собой писатели, вводя в свои произведения тот или иной образ, то порою эта разница может исчезнуть совсем.

Из такого предупреждения уже можно догадаться, что за произведения собраны в этой книге. К сожалению, у нашего литературоведения не существует для них точного жанрового определения. В англо-американской литературе есть два термина, обозначающие разные виды фантастики: *science-fiction*, то есть собственно научная фантастика, и *fantasy*, образцы которой и собраны здесь.

Fantasy — это сказка, миф, поэтический вымысел, который не считается ни с какими законами природы и чаще всего даже не притворяется, что считается. Границы между этими разновидностями фантастической литературы весьма условны. Остроумный пример того, с какой легкостью, какими, в сущности, несложными путями *fantasy* превращается в *science-fiction*, придумал американский писатель-фантаст Фредерик Браун. На его пример часто ссылаются в статьях о фантастике, но тем не менее я не откажу себе в удовольствии привести его еще раз. Сначала писатель приводит типичное *fantasy* — античный миф о царе Мидасе, который получил от богов дар осуществить любое свое желание. Дабы умножить свои богатства, и без того огромные, Мидас пожелал, чтобы все, к чему он ни прикоснется, превращалось бы в золото. За жадность царь был жестоко наказан, он рисковал умереть от голода и жажды, ведь драгоценным металлом становились даже пища и вода. Далее Ф. Браун пишет: «Давайте переведем его (миф. — В. Р.) на язык научной фантастики. Мистер Мидас, хозяин греческого ресторана в Бронксе, спасает обитателя далекой планеты, тайно живущего в Нью-Йорке в качестве наблюдателя Галактической Федерации. Земля по понятным причинам не подготовилась еще ко вступлению в Федерацию. Спассенный, обладая познаниями, далеко превосходящими наши, конструирует машину, которая преображает вибрацию молекул тела мистера Мидаса таким образом, что его прикосновение меняет сущность предмета. И так далее...»

Какой же вывод можно сделать из этой занимательной притчи? Пожалуй, тот, что мораль обоих вариантов совершенно одинакова, и дело эстетического вкуса писателей и читателей выбирать между ними. В данном случае я бы все же предпочел древнегреческий оригинал. Но противопоставление двух разновидностей неуместно, иногда бывает лучше одно, иногда другое. Было бы несправедливо не отметить, что научная фантастика распространена значительно шире *fantasy*.

Совершенно естественно, что оба вида фантастики встречаются в творчестве одних и тех же писателей. Более того, иногда они сводятся в одном и том же произведении. Так, корифей американской научной фантастики, хорошо известный и советским читателям (например, по 18-му тому *БСФ*), Клиффорд Саймак, написал недавно

роман «Заповедник проказливых духов». В нем, так сказать, на паритетных началах действуют вурдалаки, оборотни, эльфы и машина времени да космические пришельцы. От самого факта обращения к fantasy ни в малой степени не зависят художественные достоинства произведения, не этим определяются идеи, которые жаждет нам внушить автор. Можно создать очень содержательное, глубокое и прогрессивное произведение с чертами и ведьмами в списке действующих лиц. (Пример «Фауста», по-моему, будет достаточно убедительным.) Можно написать произведение, ни на шаг не забираясь в потусторонний мир, и тем не менее стопроцентно ретроградное.

В идеологической обстановке капиталистического мира «почетное», так сказать, место занимают романы, комиксы, фильмы, где на главных ролях действуют разного рода упыри, вурдалаки, драконы и тому подобная мерзость. Там же мы без труда отыщем и среди «научной» фантастики произведения, пропагандирующие те же антигуманистические, духовно разоружающие идеи. Вся эта «черная» серия не имеет никакого отношения к искусству, и не о ней сейчас речь.

Но как же все-таки быть с русским термином? Его отсутствие вызвало огромные трудности, когда нужно было как-то назвать 21-й том. Волшебная сказка? Не очень точно, хотя и близко по существу. Мы часто называем волшебным и тот вымысел, в котором ничего, собственно, волшебного нет, кроме волшебства таланта. Но сейчас мы будем иметь дело с самым настоящим волшебством, в том буквальном смысле слова, в каком его употребляли такие известные деятели данного фронта человеческого просвещения, как Мерлин, Моргана, Черномор и их до-стопоченные коллеги. Все же это сказка не совсем обычайная, чаще всего она прикидывается вовсе не сказкой. Современная сказка, сказка фантастическая, да не будет принято последнее сочетание за тавтологию, охотно ряжется в новые одежки и модные сапожки на «молнии», охотно берет на вооружение все завоевания научно-технического прогресса и самую наисовременную лексику. Но все же в глубине она останется сказкой — задорной и печальной, увлекательной и насмешливой.

Но что она может, эта современная сказка, в которой ведьмы ездят на паровозах, а Иванушки-дурачки создают антигравитационные аппараты? Не смешно ли в наш

материалистический, образованный век забавляться рассказами о козлоногих посетителях? Иногда смешно. И даже очень смешно. Прямое столкновение какой-нибудь сугубой архаики вроде рыцарей короля Артура или — тем более — хвостатого посланца ада с современной электроникой — один из самых распространенных и самых эффективно действующих приемов юмористической фантастики. Без подобных рассказов теперь не обходится ни один более или менее основательный сборник; есть они, разумеется, и здесь. Так уж получилось, что носителями юмора в произведениях этого тома стали в основном дети, как, например, в рассказе Р. Лэфферти «Семь дней ужаса». Очень смешной рассказ «По мерке» написал также К. Легран — о девочке-мутантке, которая приобрела необыкновенные способности, потому что ее отец подвергался облучению. Очень-очень смешной. А может быть, очень-очень грустный?..

Но было бы явным преувеличением утверждать, что юмористика составила заметную долю 21-го тома БСФ. Нашему читателю известны по другим изданиям более веселые и значительные вещи вроде рассказа А. Порджея «Саймон Флэзг и дьявол» или «Царской воли» Р. Шекли, вроде повести Д. Пристли «31 июня» или «Фантастической саги» Г. Гаррисона. Я уже не говорю о повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Таким способом читатель предупрежден, что ждут его здесь главным образом произведения серьезные, «страшные» и отчасти даже печальные. Не исключено, что есть и одно-два таких, над которыми иная читательница потихоньку уронит слезу. Что ж, это прекрасно. Ведь задача искусства заражать эмоциями, и если эта цель достигнута без применения патентованных допингов, значит перед нами произведение настоящей литературы.

И в первую очередь эти слова относятся к трем самым крупным произведениям антологии: роману «Дженни Вильерс» Д. Пристли, повестям «Тигр Тома Трейси» У. Сарояна и «Срубить дерево» Р. Янга.

Приступая к их представлению, я еще раз хочу повторить, что меня менее всего занимает вопрос, что это перед нами: научная ли фантастика, *fantasy*, сказка, притча или психологическая драма о раздвоении сознания. При желании в романе Пристли, например, странные ви-

дения героя можно рационально объяснить действием удвоенной дозы новейшего психомиметического лекарства. Но разве есть лекарства, которые позволяют путешествовать в прошлое? Но разве что-нибудь изменилось бы если бы писатель не стал давать никаких объяснений, как не стал он их давать в упомянутой повести «31 июня», где он без колебаний свел в одной комнате рыцарей Круглого стола и современных бизнесменов? Ровным счетом ничего. Так что, невзирая на эти пилюли, нет никаких оснований для ревнителей научной фантастики раскрывать свои объятья навстречу «Дженни Вильерс». Это наверняка не научная фантастика. У романа иные цели. Чтобы полностью их раскрыть, следовало бы, вероятно, поговорить о том, какое место занимают подобные вещи в творчестве самого Пристли (или Сарояна, или другого писателя). Но такой анализ увел бы нас слишком далеко в сторону.

Несмотря на то, что в центре повествования трогательная история несчастной молодой актрисы, изящно стилизованная под чуточку сентиментальные настроения XIX века, идея романа Пристли сугубо современная, и говорится в нем о сегодняшнем дне. Речь идет о духовном возрождении отчаявшейся души, о возвращении к жизни художника, потерявшего веру в себя и в людей. Старый драматург Мартин Чиверел решает бросить театр, писательскую работу, уйти от друзей. И эти настроения он выразил в своей последней, как он думает, прощальной пьесе, названной им «Стеклянная дверь». Автор романа почти ничего не говорит о содержании пьесы. Но из того, как о ней отзываются другие персонажи, можно понять и ее идею, и смысл ее названия. Стеклянная дверь — это символ разъединенности людей, между которыми воздвигнуты невидимые, но тем не менее вполне реальные перегородки, люди, может быть, и видят друг друга через них, но не слышат, словно в телевизоре с выключенным звуком; они не могут ни позвать на помощь, ни броситься ей оказывать. Перед нами одна из самых распространенных тем современного западного искусства, носящая внушающее почтительный трепет наукообразное наименование — некоммуникабельность. Эта тема не взята с потолка, ее ежедневно подсказывает писателям окружающая их действительность. Такое уж свойство у частнособственнического общества: разделять людей. Но относиться к этому можно по-разному: иной смиряется и

впадает в отчаяние, иной протестует и борется. Возможно, во многих случаях трубадуры этой самой некоммуникабельности пишут свои произведения, просто следя за модой, но в том, как описал состояние своего героя Пристли, не остается места для спекуляций. Мартин Чиверел искренне уверовал в пессимистические идеи своих пьес.

Фантастический прием понадобился писателю, чтобы сконцентрированно, за очень небольшой промежуток времени доказать герою — и читателю, конечно, — ошибочность его представлений. Обычные приемы потребовали бы значительно большего времени и места. Не умерло доброе в людях, не умерло искусство, и даже любимый театр Чиверела не умер и еще не умирает. Людей можно понять, людям можно помочь, и нет стеклянных перегородок между ними, а если и есть, то с ними надо бороться, надо их разбивать, а не мириться со своей отгороженностью. И конечно, не столько герою объясняет все это писатель-гуманист, сколько своему читателю.

«Дженни Вильерс» в традициях сказки имеет счастливый конец, и он не кажется здесь фальшивым, натянутым; ведь для того и существует сказка, чтобы пробуждать в людях добрые чувства.

На первый взгляд повесть Уильяма Сарояна «Тигр Тома Трейси» — произведение совсем иного плана и даже чуточку абсурдное. В самом деле, что это за тигр, который ходит повсюду за главным героем, никем не видимый, умеющий только рычать и в то же время дающий советы хозяину? В довершение это вовсе и не тигр, а черная пантера.

Мы снова встретились с символом, с поэтическим символом. А объяснять поэтические символы, переводить их в обычный понятийный ряд — дело неблагодарное. Всегда есть опасность упростить, сузить авторский замысел, ведь если гармонию можно было бы поверить алгеброй, то стоило бы оставить одну алгебру. Тем не менее по долгу автора предисловия я рискну дать свое объяснение сарояновскому тигру. Кто-то, может быть, со мной и не согласится, что же, многозначность трактовки следует скорее отнести к достоинствам повести, чем к ее недостаткам.

У немецкого романтика начала XIX века А. Шамисса есть известные «Необыкновенные приключения Петера

Шлемиля, рассказывающие о человеке, потерявшем свою тень, а вместе с тенью и свою репутацию, возможность существовать в обществе людей, каждый из которых имел прекрасную респектабельную тень. Том Трейси — это как бы Петер Шлемиль наоборот. Если Шлемилю мешало жить в обществе добродорядочных — хотя бы внешне — обычателей отсутствие тени, то Трейси мешает войти в полное соответствие с окружающей средой как раз наличие его тигра. Но что же такое этот тигр? Неосуществленные мечты? Подавленные желания? Бодрствующая совесть? Любовь, как говорит сам автор? Я, пожалуй, назвал бы этого тигра второй душой Тома Трейси, не той душой, какой он обладает на самом деле, а той, какую он мог бы иметь, если бы условия — в первую очередь социальные — дали бы ей возможность развиться. Тигр — вообще достаточно необычное явление для американского города, но собственный тигр у простого грузчика, это уже совсем ни в какие ворота не лезет. И когда тигр — вторая душа Тома — начинает проявлять инициативу, а Том начинает следовать его советам, то весь его унылый, упорядоченный жизненный уклад летит вверх тормашками. Том влюбляется, требует, чтобы его повысили по службе, бросает работу... Впрочем, нельзя сказать, что советы тигра, то есть затаяенные желания Тома, были столь уже грандиозны и неосуществимы; они весьма скромны, верх его мечтаний — это стать дегустатором кофе. Подумаешь, большое дело — дегустатор кофе! Но в том мире, где он живет, и это оказывается совершенно дерзновенным и совершенно неосуществимым желанием. Ведь он должен перепрыгнуть через длинную очередь претендентов на ту же должность. Иногда тигр — ведь это же все-таки тигр, а не ангел — дает Тому явно неразумные советы, но все же пока у Тома есть свой тигр, у него есть надежды, у него есть поддержка, которая помогает ему в ежедневном бесконечном перетаскивании кофейных мешков с места на место, у него есть тайна, отличающая молодого человека от прочих жителей города. Но когда тигр вырывается на волю и становится заметным для окружающих, его начинают травить — физически и морально. Обществу, в котором живет Том Трейси, не нужны парни с тиграми. Из ряда вон выходящих тигров необходимо как можно быстрее загнать в клетку, переломать им лапы и по возможности добить совсем. Что же это будет, если по улицам добродорядочного — хотя бы внешне — города

станут разгуливать молодые люди с непривязанными черными пантерами за душой?

Третья повесть — «Срубить дерево» Роберта Янга, по-жалуй, ближе всего стоит к традиционной научной фантастике. Наглядность, пластичность описания трудового процесса рубки, мне кажется, имеет не так уж много литературных параллелей. Выделенные курсивом беседы героя с лесной нимфой — дриадой — можно без труда прочитать как диалоги героя с собственной совестью. Он-то понимает, какое это преступление — уничтожить последнее из гигантских деревьев, когда-то покрывавших всю планету. Но бизнес есть бизнес. Утилитарные соображения колонистов, поселившихся под деревом, толкают его, профессионального лесоруба, на это преступление. Не он, так другой срубил бы дерево. Может быть, не случайно название повести перекликается с известным рассказом Джека Лондона «Убить человека». В обоих случаях речь идет о цене поступков, вынесенных в заголовок. Если хотите, то и здесь есть стеклянные двери, но у Янга они отгораживают не только людей друг от друга, но и человека от матери-природы. А жить человечеству в гигантской теплице невозможно. Герой рассказа осознает это слишком поздно — ни деревьям, ни обитателям планеты, на которой происходит действие, уже нельзя помочь, но, может быть, вообще еще не слишком поздно.

Итак, вместо того чтобы говорить о волшебных палочках и джиннах, заточенных в бутылки, речь поневоле приходится вести о проблемах, которые мы каждый день находим на страницах газет и журналов. Но я ведь предупреждал, что это сказки особенные, современные сказки. А кому в наше время нужны джинны и колдуны сами по себе? Впрочем, если они вам потребуются, то вы найдете их в сборнике с избытком. Здесь есть и ангел, посетивший сей грехиный мир, в котором он оказывается никому, даже церковникам, не нужным («Чего стоят крылья» Г. Голда), и дьявол, в общем довольно банальный дьявол, занятый своим профессиональным делом — скопкой душ. Необходимо, однако, отметить, что сатана в рассказе Г. Каттнера «Сим удостоверяется» выступает в роли положительного персонажа, ибо человек, продавший ему свою душу, вполне заслужил свою участь. Если людей, которые готовы торговаться своей совестью, действительно подбирает ад, то ему можно только вынести общее

ственную благодарность. Если бы две живые отрубленные руки встретились в одном рассказе, то это было бы непереносимо страшно. Но, к счастью, они попали к разным авторам и предусмотрительно разнесены составителями подальше друг от друга. Надеюсь, что испуг не помешает читателю разглядеть не столь уж глубоко запрятанный смысл двух совсем непохожих рассказов «Рука Геца фон Берлихингена» Ж. Рея и «Как я стала писательницей» А. Майе. И даже с самой Смертью вы непосредственно столкнетесь в прелестной «средневековой» легенде П. Бигла «Милости просим, леди Смерть!». К полной неожиданности, Смерть окажется... впрочем, я не стану говорить, кем она окажется, чтобы не уменьшить удовольствия от чтения, обращу только внимание на то, что она окажется человечнее, гуманнее иных леди и джентльменов из высшего общества. Вы встретите также таинственных Зеннов, о которых никто вам не сможет сказать, что это такое («Король Зеннов» А. Матуте). Хотя, нет, с самими Зеннами вы не встретитесь, а только с юношней, который был избран ими королем и с тех пор не может найти справедливости на земле. В этом и в некоторых других рассказах можно заметить, что современная литературная сказка на Западе охотно использует любимого героя народной сказки. А таким героем почти всегда бывает человек, стоящий на низшей ступеньке социальной лестницы, — золушка, сиротинка, младший сын, мальчик с пальчик. На самом-то деле они лучше, умнее, сильнее, красивее тех, кто не дает им хода, и в конце концов благодаря своим достоинствам им удается подчинить себе волшебные силы и добиться своего, хотя бы маленького, счастья.

Невозможно и не нужно перечислять все сюжеты, вошедшие в сборник. Если внимательно присмотреться, то почти в каждом из них мы разыщем стеклянную дверь, пусть крошечную, пусть незаметную, найдем и молот, который занес над ней герой, чтобы разбить ее и выйти на свободу, соединиться с дорогами ему людьми. А если у героя такого молотка не оказывается, то уж у автора он наверняка есть. Старая легенда, древняя красота, вечно юная девушка гибнут от столкновения с жестоким современным миром в рассказе японского фантаста Сакё Комацу, но разве мы не слышим совершенно отчетливо негодящий голос писателя?

Обличение милитаризма, насилия, социальной несправ-

ведливости, духовной опустошенности стало одной из определяющих черт современной прогрессивной западной фантастики, что в полной мере относится и к произведениям очередного тома «Библиотеки современной фантастики».

Всеволод РЕВИЧ

Джон Бойnton Пристли

Дженни
Вильерс

*Роман
о театре*

Англия

B

знаменитую Зеленую
Комната театра «Рой-

ял» в Бартон-Спа можно попасть двумя способами. Если вы вошли в театр через главный подъезд, вам надо пройти бельэтаж и идти дальше по коридору, минуя кабинет директора. А из-за кулис вы поднимаетесь по темной лестнице и проходите мимо дверей двух актерских уборных, предназначенных для звезд. Мартин Чиверел, проникнувший в театр через служебный вход, как раз и стоял на верхней площадке этой темной лестницы, и хотя дверь Зеленої Комнаты была закрыта, оттуда доносился шум голосов, которые сливались в какое-то идиотское кваканье. Чиверел взялся было за ручку двери Зеленої Комнаты, где прием был в самом разгаре, но, вместо того чтобы открыть дверь, он вдруг прислонился к ней. Ему было скверно — он чувствовал себя смертельно усталым и старым, как мир. *Ква-ква-ква-ква.* Господи, спаси нас и помилуй!

Затем кваканье прекратилось как раз тогда, когда он почти уже заставил себя повернуть ручку. В конце концов, хоть он и подготовил все извинения, это как-никак был его прием. За дверью раздались вежливые аплодисменты. Кто-то собирался произнести речь, и десять против одного, что это был мэр города, какой-нибудь торговец скобянными изделиями, важный и усатый. Да, это был мэр, который, подобно многим муниципальным ораторам, стремился каждому своему слову придать особый вес и особое значение.

— От имени городского совета Бартон-Спа, — взгля-

шал он, — я с самым огромным удовольствием приветствую в нашем старинном городе высокоталантливых актеров и актрис, приехавших с мистером Чиверелом из Лондона, чтобы показать нам здесь, в Бартон-Спа, премьеру его новой пьесы... э-э... «Стеклянная дверь».

Мэр выговорил название не сразу и с некоторым удивлением. Последовала продолжительная пауза, и Чиверел, угрюмо стоя перед дверью и чувствуя себя в этой полутьме каким-то призраком, мысленно сказал мэру, что его милости предстоит удивиться еще больше, прежде чем он, Чиверел, окончательно добьет его своей «Стеклянной дверью».

— Мы предвкушаем, и с большим нетерпением, возможность увидеть эту пьесу до того, как ее увидят в Лондоне, — продолжал мэр, бросая каждое слово как свой главный козырь. — И я уверен, что мистер Чиверел и его актеры найдут здесь зрителей не хуже, чем в любом другом месте, — мы тут все завязанные театралы и всегда готовы хорошо посмеяться.

«Бьюсь об заклад, что готовы», — подумал Чиверел, когда присутствующие неизвестно почему вдруг разразились смехом, а кое-кто даже зааплодировал. Видно, готовы готовить, пока у них головы не отвалятся. Но подождите, скоро он с ними разделается.

— Мы здесь, в Бартон-Спа, — заливался мэр, явно приступая к неисчерпаемой теме, — очень гордимся нашим старым театром «Ройял», которому насчитывается почти двести лет и который связан с величайшими актерами и актрисами своего времени. Мы не жалели ни времени, ни сил, да, ни денег, чтобы сохранить этот славный старый театр, в том числе и вот эту старую Зеленую Комнату, в надлежащем виде, чтобы сохранить все, что возможно, как напоминание о том, что это один из самых старых театров в стране. Многие считают его лучшим театром за пределами Лондона. Ну, а мы-то точно знаем, что это так и есть.

Снова смех, аплодисменты. Справедливо, подумал Чиверел; прекрасный старый театр, один из лучших в своем роде, а Зеленая Комната просто уникальна и заслуживает большего, чем случайное упоминание в речи мэра. Очаровательная старая комната; если бы только вымести отсюда весь этот идиотский прием.

— Итак, — сказал мэр, — леди и джентльмены, приехавшие сюда поразвлечь нас, просим принять наши

лучшие пожелания вашему спектаклю, а вам — приятного времяпрепровождения, чтобы вы захотели приехать сюда раз. — Новые аплодисменты. Очевидно, это было все, что имел сказать мэр. И если Чиверел собирался войти и держать ответную речь, то сейчас было самое время. Но он не двинулся с места.

— Леди и джентльмены, — это был, кажется, голос коротышки Отли, директора театра, — поскольку мистер Чиверел задерживается, я попрошу мисс Паулину Фрэзер, ведущую актрису труппы «Стеклянной двери», ответить от его имени.

Ну что же, Паулина сделает это как нельзя лучше своим прелестным — «дорогие-зрители-позвольте-поблагодарить-вас» — голоском, со скромной миной на лице, но озорно сверкающими глазами; само очарование — блестящая, отлично одетая... Да, вот и ее голос — здесь, в сумраке за дверью, он звучал нестерпимо фальшиво.

— ...Должна извиниться за отсутствие мистера Чиверела... знаю, как он будет огорчен, что пропустил эту чудесную встречу... Все мы в труппе высоко ценим выпавшую нам честь играть в вашем прекрасном старом театре... — Раздались аплодисменты остальных участников труппы, аккуратные и профессиональные. Паулина продолжала: — Мы все слышали и читали о знаменитом старом театре «Роял» в Бартон-Спа и об этой старой Зеленой Комнате, которую вы сохранили с такой удивительной бережностью. В ней есть своя, особая атмосфера, просто чудесная, хотя временами и кажется, что тут должны водиться привидения.

Ее слова, разумеется, вызвали несколько смешков; но это как раз правда, подумал Чиверел. До сих пор он был слишком занят пьесой и успел только беглым взглядом окинуть Зеленую Комнату, но даже тогда он почувствовал ее особую атмосферу. А сегодня вечером он, наверное, мог бы ощутить эту атмосферу полнее и глубже, если бы только его оставили здесь одного на час или два. Но, вероятно, сейчас он был потому восприимчивее к ней, что стоял в этом буром сумраке, как на старой картине, покрытой толстым слоем лака, и в сумраке, обступившем его со всех сторон, сам был похож на привидение.

— В вашем старом театре, куда мы привезли новейшую пьесу, которую сегодня должны еще раз прорепетировать, — воскликнула Паулина, как всегда, с безупреч-

ной дикцией, — поэтому я надеюсь, что никто не налегал на коктейли слишком усердно... — Искусно рассчитанная пауза для смеха, который не замедлил последовать. — Итак, я хотела сказать, что в вашем старом театре я вновь почувствовала, какая удивительная вещь Театр. — Тут ее понесло, и оркестр зазвучал во всю мощь. — Всегда он не то что прежде, всегда при последнем издохании, но каким-то образом он всегда воскрешает свое очарование и обретает новую жизнь — может быть, просто потому, что в нем есть и теплота, и человечность, и глупость, и красота, как и в самом человеке. Да, просто потому, что он бесконечно близок нашему сердцу. Вот почему мы так счастливы и горды, что служим Театру. И так счастливы и горды, что находимся здесь. Большое спасибо.

Раздались аплодисменты. Тогда он вошел, аплодируя вместе со всеми, но лепивее прочих и с некоторой иронией. В Зеленой Комнате, пабитой до отказа, было светло и жарко; пахло как в обезьяннике; он почувствовал, что сморщивается, коченеет, высыхает и стареет, что он уже не пятидесятилетний драматург, а таоистский отшельник, почти такой же древний, как и его пещера среди далеких голубых холмов. Может быть, его никто и не заметит — оттого что сумрак совсем размыл его. А здесь так много увесистой плоти, к тому же еще пропитанной мартини.

Коротышка Отли, который был за распорядителя, слегка подвыпивший и порозовевший, но все замечавший, увидел его первым.

— Мистер Чиверел! — вскричал он, бросаясь ему на встречу.

Паулина, одетая в черное, высокая и красивая, подлетела к Чиверелу, забыв, что половина Бартон-Спа все еще здесь:

— Мартин, негодник! Ты подслушивал!

Раздались смешки, еще аплодисменты, взгласы «Присяд!», и Отли поднял руку.

— Мистер Чиверел, — объявил он, — пришел как раз тогда, когда пить уже поздно, но еще не поздно сказать несколько слов. Итак, мистер Мартин Чиверел.

Пятьдесят или шестьдесят пар глаз — одни круглые, другие прищуренные, но во всех — ожидание... Что же делать — выдать им полминуты пустопорожней болтовни или прямо высказать все, что он думает, — прогло-

тят, как миленькие, даже если им не понравится. Он взглянул на них растерянно и в то же время иронически. Ну ладно, пусть получат свое — они же всегда готовы хорошо посмеяться. На это уйдет больше сил, чем он должен расходовать; чтобы просто стоять здесь под их взглядами, и то требовалось огромное усилие, но он призвал на помощь Старую Гвардию, как ему уже не раз приходилось делать последнее время; после этого он заговорил — спокойным и уверенным тоном почетного гостя.

— Я имел удовольствие слышать прелестную речь мисс Фрэзер, — сказал он после обычных реверансов в сторону мэра и именитых граждан города. — И, мне кажется, едва ли должен извиняться за свое опоздание. Мисс Фрэзер ответила от имени всех нас гораздо лучше, чем это смог бы сделать я. — «Пока неплохо; а теперь сотрем с их лиц этот слегка остекленевший взгляд». — Но я не могу согласиться с тем, что она говорила о Театре. У меня появились серьезные сомнения в том, что Театр способен обрести новую жизнь и былое очарование. «Стеклянная дверь», премьеру которой мы здесь покажем, — это последняя из написанных мною пьес и, вполне возможно, последняя моя пьеса вообще.

Это вызвало шум — кое-где удивленное и испуганное перешептывание, а кое-где просто шум. Ни то, ни другое гротескного не стоит. Но он успел заметить, что Паулина нахмурила брови. Бедняжка Паулина!

— И может быть, мне следует предупредить вас, — продолжал он, надеясь, что говорит как нельзя более не-принужденно, — после всех этих разговоров о сердечной теплоте и готовности хорошо посмеяться предупредить, что «Стеклянная дверь» — это серьезная попытка рассказать о мире, каков он есть, и о людях, каковы они на самом деле, вследствие чего она может показаться вам мрачной и довольно неприятной пьесой — совсем не такой, как вы ожидали. На этот случай я заранее прошу вас принять мои сожаления. — Он старательно улыбнулся им, но вместо улыбки получилась натянутая, сухая, словно пергаментная, усмешка. — И позвольте заверить вас, господин мэр, — заключил он с фальшивой мягкостью и теплотой, — что мы высоко ценим ваш прекрасный старый театр и дружеское гостеприимство, с которым вы нас приняли. Благодарю вас.

На этом после нескольких неуверенных хлопков

прием и закончился. Официанты начали убирать со столов; горожане потекли к одному выходу, актеры — к другому; Отли представил Чиверела мэру, который оказался не усатым торговцем скобяным товаром, а гладко выбритым галантейщиком. Чувствуя, что он просто обязан это сделать, Чиверел проводил Отли, мэра и его охрану и свиту до конца коридора, который вел к главному входу. Это была нелегкая работа, настоящая епитимья, потому что Чиверел отчаянно устал и мечтал поскорее сесть. «Боже, — мысленно взмолился он, — пошли мне глубокое кресло и никаких людей». Тем временем откуда-то вынырнула женщина с попугаичным лицом из числа тех поклонниц, которые превращают жизнь знаменитости в пытку. Она сказала Чиверелу, что его пьесы всегда были счастьем ее жизни; однако, неся эту мерзкую чепуху, она не переставала подозрительно буравить его маленькими глазками, точно озлобленный неудачами сыпец.

— Вы знаете эту женщину? — спросил он Отли, когда они наконец отделались от нее.

— Нет, мистер Чиверел, хотя я тут знаю чуть не каждого.

— Ничего удивительного. С некоторых пор мне кажется, что они и не люди вовсе. — Он печально посмотрел на коротышку Отли. — Я думаю, это исчадия ада, — прошептал он и побрел обратно в Зеленую Комнату.

2

Официанты — из театрального буфета и приглашенные — сделали свое дело быстро и аккуратно. Никаких следов только что закончившегося приема уже не было видно. Зеленая Комната стала почти прежней, мрачноватой, но изысканной Зеленою Комнатой. В ней тесной кучкой стояли три человека — три его ведущих актера: Паулина Фрэзер, высокий Джимми Уайтфут, похожий на гвардейского офицера, которым он и выправду когда-то был, и старый Альфред Лезерс, семидесяти с лишним лет, грузный, совершенно седой и имевший потрепанный и смешной вид, какой бывает у боксеров, ушедших на покой, и у старых характерных актеров. Едва Чиверел вошел, они как-то сразу отодвинулись друг от друга, не сделав при этом ни одного сколько-нибудь заметного движения. Чиверел понял, что против него готовится заговор.

Лезерс ухмыльнулся.

— Ну как ты расстался с его милостью мэром?

— Он считает, что я скромничаю, — беспечно ответил Чиверел. — Мне так и не удалось втолковать ему, что я говорил о пьесе вполне искренне.

— Ну, я надеюсь, ты не слишком усердствовал.

— Нет, — сказал Чиверел. — Мне надо сесть. — И он тяжело опустился в кресло. — Если хотите начинать первый акт, давайте. Я спущусь попозже. Ко мне тут должен прийти врач.

— Мартин! — Паулина сразу же встревожилась.

— Да нет, все в порядке. Ничего страшного. Старая история. Упало давление. Поэтому я и явился на этот проклятый прием к шапочному разбору.

Паулина не успокоилась.

— А у врача ты был?

— Да. Он как будто человек толковый. Обещал принести какое-то зелье, которое должно мне помочь. И я буду в полном порядке. — Он взглянул на них с насмешливой улыбкой. — Вас можно принять за депутатию.

— Ну что ж, дружище, пожалуй, можно считать и так, — примирительно сказал Лезерс.

— Тогда выкладывай. — О боже! Он любил их всех троих. Паулина и славный старина Альфред были его давними друзьями, но сейчас он хотел бы, чтобы их унесло за тысячу миль, на какой-нибудь тихоокеанский остров. Или нет, пусть остаются здесь, а остров он взял бы себе. Он зажмурился, чтобы полюбоваться игрой воды в лагуне, потом широко открыл глаза.

— Третий акт?

Лезерс взглянул на двух остальных.

— Видите, он знает.

— Да, Мартин, — серьезно сказала Паулина. — Третий акт.

Теперь слово взял Джимми Уайтфут.

— Мы все почувствовали это несколько дней назад. Но притворялись даже друг перед другом, что ничего страшного не происходит.

— А после сегодняшней утренней репетиции мы не можем больше так продолжать. — Паулина бросила на него безнадежный, но пылающий взгляд и с силой закончила: — Мартин, мы все ненавидим этот третий акт.

— Это верно, дружище, — печально сказал Лезерс.

— Не поздновато ли вы это заметили? — сухо, но беззлобно спросил Чиверел. — В понедельник у нас премьера.

Паулина отмахнулась.

— Да, но поскольку это ты... и потом, нам ведь и раньше случалось вносить изменения в последнюю минуту... так что еще время есть... — Она не договорила.

— Время для чего? — спросил он мягко.

— Для того, чтобы написать и отредактировать другой финал — не такой циничный и горький и... и не такой безнадежный. Альфред, Джимми, ну скажите же ему... — И она отвернулась, явно расстроенная.

— Она совершенно права, дружище, — сказал Лезерс необычайно торжественно. — Мое мнение — а уж мнение полагается все знать, ведь я пятьдесят лет варюсь в этом кotle, — мое мнение, что у них такой финал никогда не пройдет. Им это вообще не по зубам. А если ты стоишь на своем, тогда мы здесь провалимся.

Чиверел воспринял это легко — он слишком устал, чтобы противостоять такому серьезному напору. Как все актеры вне сцены, они говорили с чрезмерной аффектацией, словно играли для верхнего яруса и галереи.

— Может быть, ты и прав, Альфред. Но меня это не очень волнует. И в конце концов пусть будет великолепный провал, который никому из вас не причинит большого огорчения.

— Постой, Мартин, — сказал дотошный Уайтфут. — Мы с Паулиной вовсе так не считаем. Мы думаем, что даже если пьеса пойдет, она не принесет людям добра. Люди пережили тяжелые времена, и они не хотят больше испытывать боли... и мы чувствуем то же самое...

— А то, что твои персонажи говорят и делают, — неправда, — осуждающе перебила Паулина. — Я просто не верю им... Все это ложь.

— Одну минуту, Паулина, — сказал он спокойно. — Ты вместе с остальными читала пьесу. Мы обсуждали ее.

— Да, но тогда мы не понимали, каким безысходным и безнадежным будет третий акт. — Она решительно стояла на своем. — Ты-то, конечно, знал это. Но мы не знали. В конце пьесы между людьми не остается ни проблеска взаимопонимания... Каждый бормочет что-то, будто запертый в стеклянном шкафу...

— Кстати, пьеса и называется «Стеклянная дверь», — напомнил он.

— С таким же успехом ее можно было назвать «Стеклянный гроб»! — выкрикнула взбешенная Паулина.

За этой репликой, которую бродвейский режиссер оценил бы как самую кассовую в спектакле, последовала пауза — пауза, определенно неловкая. Лезерс и Уайтфут переглянулись. Паулина, отнюдь не плакса, по-видимому, готова была разрыдаться; но она пересилила себя и сказала двум актерам:

— Идите вниз и начинайте первый акт. Скажите Бернхарду, что к своему выходу я буду на месте.

— Хорошо, радость моя, — ответил Лезерс и вышел вместе с Уайтфутом, что-то громко мурлыча себе под нос, как он обычно делал в своих знаменитых комических сценах под занавес. Паулина села на маленький стул с прямой спинкой рядом с глубоким креслом Чиверела. Несколько времени она молчала и даже не смотрела на него. Но он смотрел на нее и думал о ней. Сколько ей лет теперь — сорок пять? Ей столько не дашь. Когда-то он пытался убедить себя и ее, что он в нее влюблен, но из этого ничего не вышло: они по самому своему существу были всего лишь коллегами и друзьями. Где-то был у нее муж, с которым она теперь не встречалась и о котором не вспоминала, и дети — мальчик и девочка, оба они еще учились в школе на средства Паулины; кроме того, она содержала мать и больную сестру, которая вечно находилась в клиниках. Отличная актриса, умная и добросовестная, быть может, слишком умная и добросовестная; быть может, ей не хватает каких-то искорки неожиданности, какого-то намека на неведомые измерения бытия, но она вполне стоит своих семидесяти пяти фунтов в неделю. Темноволосая, красивая, одаренная, и нет в ней этих отвратительных капризов, за которые проклинают стольких актрис. Он очень ценил ее и по-своему был к ней привязан. Но он знал, хоть и ненавидел себя за это, что томящий холод, подобно арктическому безмолвию сковавший его душу, неподвластен ее влиянию; она вроде бы не существовала для него; слова и поступки ее бесполезны были растопить этот лед. Короче говоря, когда она смотрела на него вот как сейчас, сквозь слезы, он не видел ее. И каким предательством это было по отношению к верному коллеге, преданному другу!

— Ну что, Паулина?

Внешне она была спокойна, но волнение еще не прошло, и голос ее чуть дрожал.

— Дело не только в том, что пьеса провалится или причинит людям боль и сделает их жизнь еще тяжелее, такой конец — неправда. И это совсем не ты, Мартин.

— Вот тут ты ошибаешься. Это именно я. И я верю, что это правда. — Он помолчал. — Ты недовольна тем, что в конце пьесы между моими персонажами исчезает взаимопонимание. Но ведь так оно и в жизни, детка. Никакого взаимопонимания, разобщенность. Все бормочут и строят рожи за стеклянными дверьми.

— Нет, — сказала она, — в жизни все иначе.

В ответ он чуть было не предложил ей взглянуть на себя и на него — когда-то почти любовники, в течение многих лет коллеги и верные друзья, а теперь — непонимание, разобщенность: стеклянная стена. Но он удержался и выбрал другой путь.

— Я не собираюсь обкладывать зрителя грелками и давать ему снотворное...

— Никто тебя и не просит, — резко оборвала она.

— Пусть их проберет дрожь, пусть они потеряют сон и хоть один раз в виде исключения задумаются, прежде чем опять жечь и взрывать друг друга...

— А они вполне могут взяться за старое, если жизнь такова и только такова...

— Хорошо, пусть их. — Теперь он не устоял перед искушением порисоваться. — Но этот безнадежный финал, который ты так ненавидишь, — это мой прощальный дар нашему уютному, раскрашенному дому терпимости, Театру — милому, теплому, глупому, славному Театру с его вечным очарованием, о котором ты рассказывала мэру и муниципалитету...

Рассерженная, она вскочила на ноги.

— Перестань издеваться. Это была не фраза. Я говорила то, что думала.

— Я тоже думаю то, что говорю. Открою тебе секрет, Паулина. Примерно через час мне должен звонить из Лондона Джордж Гэвин, и десять против одного, что он предложит мне совместное владение и руководство тремя лучшими театрами Вест-Энда...

Она сразу оживилась.

— Ты же всегда этого хотел.

— Хотел когда-то. Но это пришло слишком поздно, как и многое другое. Когда нет ни идеала, ни подлинного взаимопонимания, ни...

— Да провались оно, твое взаимопонимание! Ты же не откажешься от его предложения?

Чиверел ухмыльнулся. Порисоваться еще? Нет, это дешевка; но он должен был доставить себе какое-то удовольствие напоследок перед уходом в бескрайнюю холодную пустыню своего внутреннего мира.

— Вот именно откажусь. Со множеством благодарностей. Я же сказал тебе, что с этим покончено.

Она с ужасом смотрела на него, потому что они не раз часами говорили о том, что было бы, если бы представилась такая возможность.

— Мартин, я не верю.

— Это правда, — сказал он на этот раз твердо и спокойно. — Я по-прежнему буду писать, может быть, киносценарии — время от времени, ради денег, — но для Театра больше писать не буду. Впрочем, это неважно, потому что Театр, каким мы его знаем, долго не просуществует. Прежнее волшебство потеряло силу. Да, я знаю, я слышал твои слова: он всегда при последнем изыхании. Но не забывай, что даже самые упрямые больные в конце концов поворачиваются лицом к стене. И, помоему, сейчас в жизни Театра как раз такой момент.

— И тебя это нисколько не волнует?

— В какой-то мере волнует. Но не слишком.

К его удивлению, однако, она восприняла это вполне хладнокровно. Только посмотрела на него долгим задумчивым взглядом, как смотрят на больных.

— Сейчас тебя вообще мало что волнует? — спросила она.

— Да. Я сделал почти все, что я хотел сделать...

— Нет, не все. Ты не сделал главного — того, что должен был и действительно хотел сделать...

Чиверел поднял брови.

— Что же я хотел сделать?

— Бежать из своей внутренней тюрьмы, — сказала она резко. — Разбить стеклянную дверь, которую ты соорудил для себя.

— Этого не в силах сделать никто из нас, — ответил он, пожалуй, слишком категорично.

— Откуда тебе знать? Ты еще даже самого себя не знаешь. — Она помолчала, печально взглянула на него и тихо добавила: — Я знаю, что тебе плохо, Мартин, ты устал и выдохся, — может быть, мне не стоит говорить дальше...

— Продолжай, — сказал он мрачно. — Я выдержу.

— Не знаю. Ты усталый, больной человек, Мартин.

— О боже! — почти закричал он в раздражении. —

Ты скоро посадишь меня в инвалидную коляску! Говори, в чем дело?

— Дело в том, Мартин, — и я давно хотела тебе сказать это, — что ты развращен успехом. Ты получил слишком много, и все досталось тебе слишком легко. И поскольку тебе не для чего — и не для кого — работать, бороться, не о чем и не о ком заботиться, ты скучал, стал циничным и желчным, замкнулся в себе самом и вообразил, что знаешь о жизни все.

Он задумался над ее словами и пришел к выводу, что она совершенно не права. Что-то с ним не так, но дело совсем в другом. Ему пятьдесят, и он лет на пятнадцать старше тех, к кому можно отнести сказанное ею. Умные избалованные молодые люди — вот кто скучает, становится циничным и желчным. Он был далек от таких глупостей; но он не осуждал Паулину за то, что она этого не понимала. Он чувствовал невероятное, безмерное утомление и одиночество, словно вся его энергия, весь интерес к жизни куда-то улетучились. Может быть, одна какая-нибудь железа перестала нормально работать и нарушила баланс в организме. А может быть, весь механизм износился. Но не было смысла углубляться в эту тему с Паулиной, поэтому он просто проговорчал, что он счастливчик и знает, что многим беднягам не так везло, как ему...

— Нет, нет! — воскликнула Паулина. — В том-то и дело. Вот где ты обманываешь себя, Мартин. Другие тут ни при чем. Это все ты, ты. Ты вообразил, что у тебя все уже в прошлом, что ждать больше нечего, поэтому от всего тебя воротит. И ты изобретаешь сложные теории, чтобы объяснить это. Разобщенность! Стеклянные двери!

— Не думаю, чтобы это было правдой, — сказал он мирно. Он отлично знал, что это неправда. — Но, предположим, ты права. Что же дальше? Вот я. Как я могу измениться?

Она с озадаченным видом посмотрела на него и жалобно проговорила:

— Я не знаю. Если бы это пришло откуда-то изнутри, из глубины... Но я не думаю, что это придет вообще, потому что ты надежно изолирован и защищен своей искушенностью и опытностью. — Она взглянула на него. —

Но где-то за всей этой искушенностью и опытностью, склокой и желчностью живет совсем молодой, сбитый с толку и разочарованный человек... и одинокий... потому что ему не с кем поговорить — он заперт там один. И поняла это десять лет назад, когда нам казалось, что мы влюблены друг в друга. И я старалась добраться до него, чтобы его ободрить, но не смогла — или ты не позволил мне, — и оттого все пошло вкривь и вкось. Ах, проклятье! — Слово вырвалось у нее потому, что она не хотела плакать, но вдруг обнаружила, что плачет. Она отвернулась, стараясь взять себя в руки. А Чиверел подумал, что голова ее как-то нелепо раскачивается из стороны в сторону, и тут же мысленно обругал себя за бесчувственность. Бедная Паулина.

— Прекрасная теория, моя дорогая, — сказал он мягко. — Но даже если бы это было правдой, тут, по-видимому, ничего не поделаешь.

— Я знаю. Это безнадежно. До того, другого Мартина Чиверела, который заперт там... один, можно добраться только чудом.

— А чудес не бывает. — Он немного помолчал. — И ты еще осуждаешь меня за то, что в конце моей пьесы все оказываются как бы за стеклом и яростно жестикулируют, но их никто не понимает...

— Нет, я не осуждаю тебя, — сказала она устало, словно они спорили уже многие годы. — И я не стану больше ничего говорить. Ты не изменишь этот безнадежный страшный третий акт. Ты уйдешь из Театра...

— Который все равно умирает, — заметил он.

Она повернулась к нему, всхихнув от негодования.

— Конечно, он умрет, если такие люди, как ты, покидают его. — Затем она продолжала прежним тоном. — Но сейчас я думаю о тебе: вот ты перестал писать по-настоящему, а просто убиваешь время, стареешь, становишься черствым... и жалким.

Актёрская дверь медленно, со скрипом отворилась, и Альфред Лезерс просунул голову в щель. Паулина поспешно отвернулась.

— Прости, что помешал, дружище, — сказал Лезерс, — но мы чертовски прочно застряли на этой телефонной сцене из первого акта. У Бернарда появилась идея сделать купюру. Может, ты спустишься на минутку и посмотришь?

Чиверел сказал, что спустится, и Лезерс исчез. Про-

ходя мимо Паулины, все еще подавленной, Чиверел потрепал ее по плечу.

— Прости, Паулина. Не стоит так расстраиваться. Скоро твой выход. — И он пошел вниз на сцену.

3

Пока Чиверел был внизу, где сначала обсуждал предложенную Бернардом купюру, а потом трижды смотрел, как актеры прогоняют новый вариант телефонной сцены, в Зеленой Комнате случилось одно происшествие, о котором впоследствии Паулина подробно ему рассказала. Она решила задержаться там на две-три минуты, чтобы не показываться остальным в таком виде. Она тронула карандашом веки, напудрилась и, не совсем еще прия в себя, закурила сигарету. Она впервые оказалась одна в Зеленой Комнате. Это была старинная комната, довольно большая, обшитая темным деревом, со множеством портретов по стенам. Там стояли два высоких застекленных шкафа, полные костюмов, мелкой бутафории и разных безделушек, превратившихся теперь в театральные реликвии. Это подобие музея должно было бы придавать комнате безопасный и достаточно унылый вид. Но Паулина вовсе не ради смеха сказала в своей речи, что здесь водятся привидения. В этой мрачноватой, далекой комнате не было окон, и теперь, когда Паулина осталась одна, вся атмосфера, не зловещая и угрожающая, но словно насыщенная какой-то невидимой тайной жизнью, угнетала ее. Закурив сигарету, Паулина попыталась сосредоточиться на Мартине Чивереле и забыть, что она в Зеленой Комнате, но безуспешно. Она уже хотела уйти, вернее, обратиться в бегство, как вдруг спаружи послышались голоса, и дверь распахнулась.

В комнату влетела девушка, за ней с негодующими возгласами следовал встревоженный Отли. Девушка была растрепанная, в коротком коричневом пальтишке из твида и темно-зеленых спортивных брюках, и Паулина сразу поняла, что это актриса.

— Ах! — разочарованно вскричала девушка, оглянувшись по сторонам. — Его здесь нет. — Она с трудом переводила дыхание.

— Теперь вы видите, — сказал Отли, чье круглое красное лицо выражало глубочайшее неодобрение, — что все это ни к чему! Постыдились бы врываться подоб-

ним образом. Что бы это было, если бы все стали вести себя так, как вы?

— Да плевать я хотела! — сказала девушка, и это была не грубость, а просто отчаяние в соединении с молодостью. — Дело в том, что я не «все». Я актриса, и я должна видеть мистера Чиверела.

— В таком случае вы выбрали неудачный способ, — сказал Отли и повернулся к Паулине: — Прошу прощения, мисс Фрэзер. Я пытался ее остановить, но...

— Ах! — воскликнула девушка, широко раскрыв огромные круглые глаза. Она не была хорошенькой, но теперь Паулина увидела, что у нее своеобразная внешность, хорошее для актрисы лицо, широкоскулое, с красивыми темно-зелеными глазами, дерзким маленьким носиком и мягким выразительным ртом. — Вы — Паулина Фрэзер, это правда?

— Да, — улыбнулась Паулина, — а вы?

— О, вы никогда обо мне не слыхали. Меня зовут Энн Сьюард...

— Послушайте, мисс Сьюард... — начал Отли.

Но Паулина остановила его.

— Ничего, мистер Отли. У меня есть еще несколько минут, и я могу поговорить с мисс Сьюард.

— Пожалуйста, мисс Фрэзер, — уступил Отли. — И ведь только старался, чтобы не потревожили мистера Чиверела.

Девушка неожиданно улыбнулась ему очаровательной улыбкой.

— Ну, конечно! Не сердитесь, я должна была сюда попасть.

Отли пошел к двери, ворча:

— Не уверен, что должны, по вижу, что попали...

Едва дверь за ним закрылась, Энн Сьюард с таинственным видом повернулась к Паулине.

— Понимаете, что произошло: я работаю в Уолли в репертуарном театре, это миль тридцать отсюда, и когда я узнала, что мистер Чиверел показывает здесь свою новую пьесу, я поняла, что мне просто необходимо с ним встретиться. Я вообще-то не такая, то есть я не всегда вот так нахально вламываюсь, а то меня, наверное, не взяли бы в юнлейский театр.

— Может быть, и нет, — улыбнулась Паулина, — но ведь у вас еще все впереди. Вы такая молодая.

Энн этого не находила.

— Мне двадцать три года, — объявила она печально.

— Ну, это не так уж много.

Эни посмотрела на нее с восхищением.

— Вы великая актриса. Когда у меня осенью выдалась свободная неделя, я отправилась в Лондон и, помню, во вторник пошла смотреть вас в пьесе Мартина Чиверела «Блуждающий огонь».

— Это чудесная пьеса!

— Да. Я ходила и в среду, и в четверг. Три раза. Вы играли удивительно. Только... вы не рассердитесь, если я скажу одну вещь?

Паулине стало смешно.

— Все может быть. Но давайте рискнем.

Отбросив всякое смущение, девушка горячо продолжала:

— Вот в конце второго акта, когда вы узнаете о том, что он вернулся и ждет вас, — тут, по-моему, вы должны были бы все выронить, что у вас в руках, как будто обо всем забыли, и потом выйти прямо в сад. Вы не сердитесь, что я это сказала?

— Нет, что вы! Собственно, я и сама хотела сделать что-то в этом роде, но наш режиссер мне бы не позволил. Знаете... мне кажется, вы настоящая актриса...

— Вы так думаете? — в восторге воскликнула девушка. — Я знаю, что я актриса. Конечно, в провинциальном театре это безнадежно, а уж у нас в Уонли и подавно. Я могла бы играть в тысячу раз лучше, если бы мне только удалось получить роль, особенно в пьесе Чиверела. Пожалуйста, мисс Фрэзер, я не хочу надоедать, мне самой противно так врываться, но я просто должна его видеть. Где он?

— Он сейчас внизу, на сцене, но скоро вернется суда. Только я вас предупреждаю, он очень устал и не в духе и не хочет никого видеть...

— Я его не потревожу. Я только спокойно объясню, кто я такая и что я делала, и попрошу его посмотреть меня.

Паулина кивнула.

— Садитесь. Хотите сигарету?

— Нет, спасибо. И если вы не возражаете, я не стану садиться. А то мне как-то неспокойно.

Она в первый раз за все время обвела взглядом комнату, и у нее перехватило дыхание от внезапного и жадного юного изумления.

— Какая чудесная комната! Это и есть их знаменитая Зеленая Комната, о которой столько говорят?

— Да, — сказала Паулина. — И им в общем удалось сохранить ее такою, какой она была когда-то.

— Так жалко, что теперь у нас нет Зеленых Комнат! — Энн продолжала смотреть по сторонам. — Тут ужасно здорово! — прибавила она доверчиво и просто-душно, как ребенок.

— Многие боятся сюда заходить из-за привидений, — сказала Паулина.

— Еще бы, здесь их наверняка полным-полно, они только и ждут, как бы показаться и шепнуть вам на ухо...

— Ах, перестаньте! — воскликнула Паулина.

— Нет, — сказала Энн. — Это ведь не обычные привидения — не убийцы и не сумасшедшие старухи; эти должны быть из наших — актеры и актрисы, которых, как и нас с вами, Театр лишил сна и покоя. И я бы их никак не боялась. Они тут, я уверена, их тут десятки. Мисс Фрэзер, — продолжала она возбужденным шепотом, — а вам не хочется посидеть тут поздно вечером и покараулить?..

Вот что значит двадцать три года!

— Боже избави! — воскликнула Паулина. — Я бы умерла от страха.

И внезапно, охваченная ужасом, вонзившимся в нее сотнями холодных иголок, она поняла, как ей страшно уже сейчас, в эту самую минуту, и поскорее села, предоставив девушке в одиночестве бродить по комнате, разглядывать портреты.

— Наверное, все они здесь когда-то играли, и в те времена этот театр был покрасивее, чем теперь, — сказала Энн, обернувшись. — Вот Эдмунд Кин — сразу видно, что хороший актер, правда? Элен Фосит — симпатичная. Мэтьюс-старший — этот наверняка был сногшибательный комик... — Она шла дальше. — Миссис Йайтс... *Мисс Дженини Вильерс в роли Виолы. Акварель. Дар Шекспировского общества города Бартон-Спа.* Дженини Вильерс. Красивое имя. Я никогда о ней не слыхала, но почему-то имя мне кажется знакомым. Могу спорить, что ей тоже приходилось докучать людям, прежде чем ее согласились посмотреть, хотя она такая милая и печальная, и волосы вьются локонами. Ой, что это?

Паулина испуганно вскинулась.

— Что такое? Что там?.. Я ничего не видела.

С минуту они смотрели друг на друга. Потом Энн, с трудом переводя дыхание, но очень тихо произнесла:

— Ничего... но... вы ничего не почувствовали?

— Нет, — сказала Паулина смущенно. — Я думала, что вы нарочно напугали меня.

— Извините, пожалуйста, — сказала Энн медленно и осторожно. — Но чуть только я это сказала — ну, про Джении Вильерс, — я почувствовала вдруг легкое дуновение, очень холодное, и потом кто-то — или что-то — проскочил мимо меня. Ай! — И она уставилась на пол.

Паулина вскочила на ноги, вся дрожа от первого напряжения.

— Что? Что там?

Энн указала на пол. В нескольких футах от ближайшего стеклянного шкафа на полу лежала старинная фехтовальная перчатка, оливково-зеленая с красным. Энн подняла ее.

— Ее тут не было, мисс Фрэзер. Клянусь вам, не было. Я бы заметила.

— Это от старого костюма, — сказала Паулина, подходя ближе и рассматривая ее. — Они тут хранят остатки старых костюмов и реквизита. — Она кивнула на стеклянный шкаф. — Перчатка могла выпасть оттуда. И все. Вот вы и почувствовали дуновение.

— Наверное, — сказала Энн медленно. — Только она не выпала. Она должна была выпрыгнуть, чтобы так пронестись мимо меня. Ой! — И она снова вытаращила глаза.

— Перестаньте визжать! — закричала Паулина, не в силах больше притворяться спокойной. — Что там еще?

— Дверца шкафа, — ответила Энн виноватым тоном. — Видите, она закрыта. Как могла перчатка...

— Дверца могла внезапно распахнуться, — запальчиво возразила Паулина, — а потом снова захлопнуться. Так часто бывает.

— Да, наверное. — Теперь она уставилась на Паулину. — Только немного странно, что перчатка так себя ведет, правда?

— Ничего тут нет странного, и, ради бога, перестаньте делать вид, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Мне предстоит провести тут еще десять дней, а вам нет. Положите ее на место.

Энн направилась к стеклянному шкафу.

— Это она сделала, — прошептала она. — Эта самая Дженнин.

— Какой вздор! Ну, будьте умницей. — Паулина пошла к двери. — Мистер Чиверел должен вернуться с минуты на минуту. — Она приоткрыла дверь, чтобы слышать шаги всякого, кто станет подниматься по лестнице. — Я знаю, что он не захочет говорить с вами. Я постараюсь убедить его. Вам лучше подождать за дверью.

— Но если я буду еще здесь, ему поневоле придется поговорить со мной.

— Ничего подобного, — сказала Паулина сердито. Славная девочка, может быть, даже умненькая, но все-таки довольно приставучая. — Не забывайте, что с ним постоянно ищут встреч, а он этого терпеть не может, особенно сейчас. Делайте то, что я вам говорю, — это ваш единственный шанс.

Энн сразу сдалась.

— Да, вы правы. Только не считайте меня неблагодарной.

Паулина все еще стояла возле приоткрытой двери, прислушиваясь к звукам шагов, доносившимся снизу.

— По-моему, он уже поднимается. Постойте там и подождите. Я сделаю все, что в моих силах.

— Вы прелесть, — сказала Энн, направляясь к двери.

Оставшись в комнате одна, Паулина подошла к стеклянному шкафу, где спокойно лежала перчатка, и некоторое время задумчиво ее рассматривала. Потом подергала маленькую защелку шкафа, которая оказалась вполне надежной. Наконец достала перчатку и осмотрела ее со всех сторон, словно предмет, извлеченный из пляны фокусника. Услышав шаги Чиверела, она быстро положила перчатку на место, но шкаф закрыть не успела.

Чиверел нес пачку писем и рукопись своей пьесы.

— Я был на служебном подъезде. Вот тебе два письма, — сказал он, протягивая их Паулине, — а эти все мне, в основном вздорные. С той сценой теперь все в порядке. Мы сделали крошечную купюрку. Минуты через две тебя позовут, Паулина.

В нише возле двери стоял небольшой письменный стол, и Чиверел положил на него свою корреспонденцию.

Паулина медлила.

— Я уже иду. Мартин, здесь одна девушка из мест-

ного театра. Она потратила целый день и приехала сюда только ради встречи с тобой.

Чиверел раздраженно передернул плечами и сел.

— Отли незачем было впускать ее. — Он вскрыл письмо и пробежал его глазами. Его чисколько не интересовала эта девушка, но он понимал, что говорить с Паулиной, повернувшись к ней спиной, просто свинство. Но даже несколько минут работы на сцене вымотали его, и он мечтал, чтобы Паулина поскорее ушла и оставила его одного.

— Отли пытался задержать ее, но не смог, — объяснила Паулина. — Это очень решительная девушка, и я не удивлюсь, если она окажется совсем неплохой актрисой. А теперь, раз уж она здесь, ты поговоришь с нею?

Не оборачиваясь, он резко ответил:

— Нет.

— Не злись, Мартин...

На этот раз он обернулся и взглянул на нее.

— Она не имела права врываться сюда. И я могу только сказать ей, что мне до нее нет ровно никакого дела. Прости, Паулина, но если даже она молодая Дузе или Сара Бернар, мне это совершенно безразлично. Просто меня это уже не интересует. И слава богу, мне не нужно искать многообещающих молодых актрис. Чего ради я должен отдавать себя на растерзание?

— Мартин, ты не прав, — укоризненно сказала Паулина. — Что за мерзость!

— Мисс Фрэзер, на сцену, — позвал кто-то снизу.

Уже с порога Паулина крикнула ему:

— Хоть бы с тобой что-нибудь случилось, Мартин. Не знаю что, но что-нибудь такое удивительное, чего нельзя объяснить, а можно только чувствовать. — И она хлопнула дверью.

Просматривая письма, Чиверел услышал, что другая дверь отворяется, но не обернулся.

Затем молодой голосок произнес:

— Я актриса, мистер Чиверел. Меня зовут Энн Сьюард.

Он даже не взглянул на нее.

— Вы не имели права входить сюда. Прощу вас уйти.

— Я играла во многих ваших пьесах... и я люблю их.

Чиверел торопливо порвал два конверта и письмо от

женщины, приславшей ему пространную идиотскую заявку на пьесу о переселении душ.

— Но тем не менее я занят и не желаю вас видеть.

— И даже взглянуть на меня не желаете? — недоверчиво спросила девушка.

— Да, — ответил он сердито, не оборачиваясь. — Прошу вас немедленно уйти.

Последовала пауза — странная, недолгая пауза.

— Вы пожалеете, что сказали это, и очень скоро. — Она говорила с необъяснимой уверенностью. Чудная девица; голос как будто теплый; но он все же не собирался замечать ее существование. Он слышал, как она ходит по комнате, и не мог понять, что она собирается делать. Потом она сказала, к его изумлению:

— Смотрите, перчатка опять на полу. Даже привидения за меня! Берегитесь!

Он услышал звук закрывшейся за ней двери, но еще некоторое время сидел неподвижно. А когда встал, то обнаружил, что она взяла фехтовальную перчатку из шкафа, дверца которого была открыта, и швырнула ее на пол, словно бросая вызов. Какая-нибудь давным-давно почившая и позабытая Розалинда носила эту перчатку, и он рассматривал и разглядывал ее с меланхолической нежностью. Когда там внизу, на сцене, впервые надели эту перчатку, ярко-зеленую с алым, Арденский лес, где «время они проводили беззаботно, как, бывало, в золотом веке» *, не казался таким далеким, таким безвозвратно утерянным, каким он кажется сейчас ему, равнодушному, утомленному человеку в полуразрушенном мире. В этой нелепой перчатке было что-то бесконечно женственное, она словно светилась отраженным светом того Театра, который некогда очаровал его, а теперь казалася унылой площадкой для игр. Он собирался отнести ее на место, туда, где ей полагалось быть, но вместо этого неожиданно для себя положил на стол, а сам дочитал письма, написал короткую записку приятелю и нудное длиннейшее письмо своему агенту; часть писем он отложил в сторону, а остальные порвал и выбросил. Перчатка снова и снова притягивала его взор, и в ее ало-зеленом великолепии ему чудилась какая-то насмешка.

* В. Шекспир, Как вам это понравится. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Чиверел опять услышал звук отворяемой двери и на этот раз стремительно обернулся, готовый растерзать наглую девчонку. Но это был Отли.

— Пришел доктор Кейв, мистер Чиверел.

— Прекрасно! Зовите его сюда. — Чиверел встал из-за стола. — Да, постойте, если после приема у вас осталась капля спиртного, спросите доктора, что он выпьет.

Отли ухмыльнулся.

— Само собой разумеется. Он не откажется от виски с содовой. А вы, мистер Чиверел?

— Нет, увольте. Но стакан воды мне может понадобиться, так что если вам нетрудно...

Стремительно вошел доктор Кейв, крупный, добродушный человек.

— Я подумал, что надо мне заглянуть сюда и потолковать с вами, прежде чем вы примете это лекарство. — И он достал небольшой флакончик белых таблеток с тем торжествующим видом, который многие доктора напускают на себя в таких случаях, словно они свою минуту сотворили чудодейственное лекарство прямо из воздуха.

— Очень вам признателен. Садитесь, пожалуйста, доктор, выкурийте со мной сигарету и выпейте чего-нибудь.

Доктор Кейв хлопнул себя по колену и улыбнулся.

— Я сказал Отли, что, пожалуй, рискну выпить стаканчик виски с содовой. — Он взял предложенную сигарету и закурил. — Я бы хотел, чтобы вы, если можете, посидели в этом чудном большом кресле еще часок-другой.

Отли принес виски с содовой и стакан воды.

— Прошу вас, джентльмены. Я послежу, чтобы вам не мешали.

— Спасибо, — сказал Чиверел. — А потом загляните сюда немножко — после того, как доктор уйдет.

— А это будет очень скоро, — сказал доктор Кейв. — Ведь я занятой человек. — Он подождал, пока Отли выйдет из комнаты, и поднял свой стакан. — За успех вашей пьесы! Хм, оно, пожалуй, лучше того виски, которое мне удается добыть — когда удается. Вы, театральные люди, знаете, где его берут. Славный малый этот Отли, верно? Иногда я его вижу в нашем маленьком клубе. Он здорово управляет с этим старым театром, как вы находите?

Чиверел сказал, что и он того же мнения. Потом он

откинулся назад и на секунду закрыл глаза, неожиданно почувствовав себя опустошенным и измученным; это сразу же снова превратило его посетителя во врача.

— Итак, мистер Чиверел, — заговорил он профессиональным тоном, — я помню ваши слова о том, что в течение ближайших нескольких дней вы не сможете отдыхать столько, сколько полагается. У вас очень низкое давление. Не хочу сказать — опасно низкое, я недостаточно хорошо вас знаю, чтобы говорить так; но все же оно съехало порядком, и вот вам результат: депрессия, упадок сил. Впрочем, тут могут быть и другие факторы...

— Какие именно?

— Нервные или психические, — ответил доктор. — Потеря энергии — любопытная штука. Но я не психоаналитик, — поспешил добавил он. — Все, что я действительно знаю, — это то, что переутомление может вызвать у вас серьезное первое расстройство. Вы ведь уже не молоды, и стоит ли убеждать самого себя, что это не так?

— Я и не убеждаю, — честосердечно сказал Чиверел и нетерпеливо заерзal в кресле.

Доктор Кейв показал ему таблетки.

— Я вам уже говорил утром, что это средство новое. Не буду делать вид, что я много о нем знаю. Но я думаю так: вам сейчас надо принять две таблетки и тихо посидеть часок в этом кресле; расслабьтесь, ни о чем не беспокойтесь, и увидите, как спокойно пройдет у вас вечерняя репетиция. А утром примете еще парочку.

— Хорошо, — сказал Чиверел, вытряхивая из флакончика две таблетки.

— Ну вот. Запейте — они скорее растворятся у вас внутри. — Он отхлебнул виски. — И если с полчаса у вас будут какие-нибудь странные ощущения, не тревожьтесь. Сидите смирино и отдыхайте — вот и все.

Проглотив таблетки, Чиверел задумчиво посмотрел на доктора и спросил:

— Скажите, доктор, ведь вам приходится видеть много страданий?

— Да. Вот уже после того как мы расстались, я повидал несколько прескверных случаев. А что?

— Я только что поспорил с одной актрисой, моим старым другом. Она осуждала меня за цинизм и желчность, за то, что мне все наскутило. И она не понимает,

что это происходит потому, что я вижу, как тяжела и безрадостна жизнь для других людей. По ее мнению, причина в том, что у меня был слишком большой успех, и он достался мне слишком легко, и мне не за что было бороться, и так далее...

— Может быть, она и права, — сказал доктор Кейв. — Но при чем тут я?

Чиверел ответил ему откровенно:

— Я подумал, что вы являетесь доводом в ее пользу, а не в мою. В вас нет ни капли скуки, цинизма, желчи.

— Конечно, нет. Но это другое дело. Когда люди страдают, я стараюсь избавить их от страданий. Такая моя работа. Я борюсь за жизнь, и это меня поддерживает.

— Может быть, и мой долг — бороться за жизнь, — сказал Чиверел.

— Это долг каждого. — Доктор Кейв встал.

— Если бы только верить, что жизнь стоит того.

— Еще бы не стоит. Ваша беда в том — и тут вам приходится труднее, чем мне, — что писательская работа зависит от воображения, а оно у вас, должно быть, преувеличивает несчастья других людей и все страдания, существующие в мире. Особенно — вот это нужно запомнить, — когда падает давление и начинается депрессия, и все вам кажется таким трудным. — Он взял свой чемоданчик и шляпу.

— Возможно, вы и правы, — вздохнул Чиверел. — Хотя тот факт, что я всего-навсего клубок артерий да насос для перекачивания крови, не вызывает у меня прилива радости.

— Ну вот! — живо вскричал доктор Кейв. — Опять вы преувеличиваете. Я же не сказал, что вы состоите только из этого, но я действительно говорю, что и это имеет значение. Поэтому просто надо быть осторожным. Не забудьте, что я сказал. А лучше позвоните мне утром. Ну, теперь устраивайтесь поудобнее и пострайтесь расслабиться. — Он шагнул к двери, и как раз в этот момент в комнату заглянул Отли. — Отли, смотрите, чтобы мистера Чиверела около часа никто не тревожил. Ему нужен покой. И убавьте немного свет. Нет, ничего, я найду выход. Спасибо за угощенье. Всего!

Удивительно, как изменилась Зеленая Комната, когда Отли выключил почти весь свет. Осталась только маленькая лампа на столике позади Чиверела да бра с

тремя желтоватыми лампочками на стене недалеко от его кресла. Комната стала казаться вдвое больше. Отли, замешкавшийся у двери, потонул во мраке.

— Вы сказали, чтобы я зашел после доктора.

— Да. Присядьте на минуту.

Толстенький коротышка Отли взгромоздился на стул, на котором только что сидел доктор Кейв, совсем рядом с Чиверелом.

— У нас все очень ценят доктора Кейва, — заметил он. — Правда, сам я у него не лечился, я человек здоровый. Он вам дал что-нибудь принять, мистер Чиверел?

— Да, эти таблетки, — вяло сказал Чиверел и вытряхнул две таблетки на ладонь. — Кстати, через пол-часа мне, вероятно, будет звонить из Лондона сэр Джордж Гэвин, и поскольку разговор предстоит важный, переведите его сюда, пожалуйста. Больше никаких звонков. И если сможете, не пускайте никого. Мне предписано отдохнуть перед репетицией.

Отли пристально посмотрел на него.

— Ну, конечно, мистер Чиверел. Я буду у себя в кабинете. А вам лучше бы принять таблетки, а?

Чиверел смутно чувствовал, что здесь что-то не так, но не мог сообразить, что именно.

— Да, пожалуй, приму.

Отли подал ему стакан воды запить лекарство, и когда он возвращал стакан Отли, тот заметил на столе перчатку.

— Э-э, как это она сюда попала?

— Вы о чем?

Отли показал ему перчатку.

— А, я нашел ее на полу. А в чем дело?

Отли снова сел, все еще держа перчатку в руке.

— Занятные истории тут рассказывают о двух-трех вещицах, — сказал он негромко. — В том числе и об этой перчатке. Вы же знаете эти рассказы — одно суеверие.

— Я не суеверен. — Чиверел зевнул. Он не ощущал сонливости в обычном смысле слова, но чувствовал, что в любой момент может медленно выплыть из своего кресла.

— Я тоже, мистер Чиверел, — слишком поспешно отозвался Отли. — Нисколько не суеверен. Но знаете, в таком месте иногда приходят в голову странные мысли. Я положу ее обратно в тот шкаф.

— А кому принадлежала перчатка? — лениво спросил Чиверел.

— Это никакая не знаменитость. Но лет сто назад она произвела здесь сенсацию и была любимицей местной публики, а умерла совсем молоденькой. Вы о ней, наверное, никогда не слыхали. Ее звали Дженнин Вильерс.

Чиверел удивленно взглянул на него.

— Дженнин Вильерс, — повторил он медленно. — Странно. Очень странно.

— Почему, мистер Чиверел?

— Я как раз думал о ней на днях, — произнес Чиверел по-прежнему медленно. — Вот как это было. Я искал какую-то фамилию в старом справочнике «Кто есть кто на театре», а потом от нечего делать начал перелистывать страницы и дошел до последнего раздела под названием «Театрально-музыкальный марти罗лог».

— Я знаю, — сказал Отли, — там указывается дата смерти и возраст каждого умершего.

— Вот-вот. И это повторение слов «умер», «умерла» после каждого имени, — продолжал он задумчиво, — звучит точно похоронный звон...

Он замолчал.

— И вам случайно попалось на глаза ее имя, — подсказал Отли.

Чиверел кивнул:

— «Дженнин Вильерс, актриса, умерла пятнадцатого ноября 1846 года в возрасте двадцати четырех лет». Видите, я запомнил даже эти подробности. И она заинтересовала меня. — Чиверел надолго замолчал, потом продолжал медленно, с усилием: — Она, видно, добилась какого-то успеха, несмотря на свою молодость, если ее включили в этот список. И все же ей было только двадцать четыре года, когда она умерла. Все у нее шло хорошо... наконец успех... а потом погасла, как свеча... — Он опять умолк и посмотрел на Отли с сонной виноватой улыбкой. — Дженнин Вильерс. Прелестное имя. Наверное, ненастоящее.

— Я тоже так думаю, — сказал Отли. — Слишком уж красивое для настоящего, я бы сказал.

— Дженнин, — продолжал Чиверел медленно и мечтательно, как он обычно никогда не говорил, — это что-то такое молодое и жепственное, светлое, почти дерзкое. А Вильерс — такое величественное, аристократичное и немножко мишурное, как все старинные театральные имена. Я пытался представить себе эту девушку на коротком ее пути, улыбающуюся и делающую реверансы,

освещенную огнями масляных фонарей рампы и газовых рожков этого странного, далекого, чопорного старого Театра сороковых годов... Я был очарован... и странно растроган... словно...

— Словно что, мистер Чиверел? — поинтересовался Отли.

Чиверел выдавил из себя смешок.

— Нет, не будем фантазировать. Но я думал о ней, почти уже начал видеть ее. И тут мне пришлось остановиться. Что-то случилось. А-а, кто-то позвонил мне... — Он осекся, словно почувствовав прикосновение чьих-то ледяных пальцев, и уставился на Отли как на привидение. — Да это были вы.

— Верно, я звонил вам однажды вечером, мистер Чиверел, — сказал Отли. — Насчет обкатки у нас вашей новой пьесы. Это было тогда?

— Да, именно тогда. Тогда я согласился на эти гастроли.

— Какое совпадение, что вы заглянули в этот справочник! — вскричал Отли, которого явно не коснулись ничьи ледяные пальцы. — Вы думали о ней и, сами того не подозревая, согласились приехать в тот самый театр, где она в последний раз выступала, ведь так?

Чиверел овладел собой. Он заметил с притворной торжественностью:

— Если бы наши жизни следовали таинственным, скрытым от нас предначертаниям, то вот вам хороший пример...

Отли не знал, как на это реагировать.

— Да, пожалуй, — сказал он нерешительно.

— Но наши жизни не следуют никаким предначертаниям, вот в чем штука. Потому-то я и сказал, что это было странно, очень странно.

Отли улыбнулся, кивнул, затем встал со своего стула.

— Я положу этот сувенир на прежнее место. — Он засеменил к стеклянному шкафу. — А если вы хотите узнать побольше о Джении Вильерс, то кое-что здесь могло бы вас заинтересовать.

— Нет, — резко остановил его Чиверел. — Это никакому.

Его тон озадачил Отли, как, впрочем, и самого Чиверела, ибо он не мог понять, почему он так сказал.

— А-а, ну, конечно, мистер Чиверел, если вы хотите отдохнуть... Вам не стоит утруждать себя...

— Нет, нет, простите. Сам не знаю, что со мною вдруг... Может быть, из-за этого лекарства, которое я принял. Я с удовольствием посмотрю все, что вы там отыщете.

— Вот тут есть книжечка о ней, — сказал Отли, роясь в шкафу, — просто дань уважения ее таланту, написал кто-то из здешних жителей в то время. И еще вот этот маленький акварельный набросок, вы его, может быть, не заметили — это она в роли Виолы.

— Спасибо, — сказал Чиверел, взял акварель и стал ее рассматривать. — Гм. Так вот какова она была, бедняжка Дженини Вильерс.

— У вас руки дрожат, мистер Чиверел. Вы хорошо себя чувствуете?

— Да, это все из-за лекарства. Доктор сказал, что у меня могут быть странные ощущения. Словно плывешь. — Он взглянул на книжечку и прочел надпись на титульной странице: — «Дженини Вильерс, дань уважения и памяти. — Составил Огастас Понсонби, эсквайр, почетный секретарь Шекспировского общества Бартон-Спа...» Сначала страница цитат, разумеется, все из великого Барда...

Готовься к смерти, а тогда и смерть
И жизнь — что бы было — приятней будет *.

Готовься к смерти? Странная мысль, правда, Отли? Что дальше?

Когда на суд безмолвных, тайных дум
Язываю голоса былого... **

Понятный выбор. А вот другое. Послушайте:

У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взвывать к возлюбленной... ***

— Я это, кажется, помню, — сказал Отли, снова усаживаясь. — «Двенадцатая ночь», Виола — да?

— Да, — рассеянно ответил Чиверел.

— В этой роли ее, как видно, здесь больше всего любили. Только навряд ли книжечка стоит вашего внимания, мистер Чиверел. Старомодная возвышенная болтовня. А ее история очень простая. В то время здесь была по-

* В. Шекспир, Мера за меру. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

** В. Шекспир, 30-й сонет. Перевод С. Маршака.

*** Перевод Э. Линецкой.

стоянная труппа под руководством актера Эдмунда Ладлоу. Дженини Вильерс приехала сюда из Норфолка и стала играть главные роли. Влюбилась в здешнего первого любовника Джуллана Напье, но тот внезапно оставил труппу ради ангажемента в Лондон. Она заболела и умерла. Напье ненамного пережил ее. Он уехал в Нью-Йорк, запил и вскоре покончил с собой. Вот, собственно, что там сказало.

— Почти ничего, — медленно произнес Чиверел. — И почти все. — Помолчав, он пропелтал, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику:

Готовься к смерти, а тогда и смерть
И жизнь — что бы было — приятней будет.

Отли собрался уходить.

— Я не забыл, что вы сказали, мистер Чиверел, — вы подойдете к телефону только на тот звонок из Лондона.

— Да, благодарю вас, — сказал Чиверел вяло. И затем, когда Отли удалился, он услышал свое собственное бормотание: «Шалаш я сплел бы, чтобы из него взыывать к возлюбленной...» Словно впервые в жизни прочел он эти строки, словно это был какой-то неизвестный шедевр: «...Чтобы из него взыывать к возлюбленной...» И словно был еще другой, никому не ведомый Шекспир, чьи трагедии были комедиями, а комедии — трагедиями, с шумным успехом шедшими где-то в тридевятом королевстве...

Было очень тихо. Стих даже легкий певучий шум в ушах, знакомый ему с тех пор, как врачи объявили, что давление у него пониженное. Застоявшийся бурый сумрак, который окутывал его, когда он слушал под дверью, что происходит на приеме, устроеннном в его честь, теперь просочился и в Зеленую Комнату. Тени в нишах еще больше сгустились. Комната утратила форму и размеры. Сколько он принял таблеток? Две? Или по рассеянности принял еще две, а всего четыре? Он напрягся и глубже втиснулся в кресло, но почувствовал, что кресло тоже плывет. Ну что же, поплывем в сон. Острота времени исчезала, как всегда бывает в этом сумеречном состоянии между бодрствованием и сном. И все же где-то в глубине тела искра настороженности, одинокий бессонный часовой на башне над огромным дремлющим замком его сознания. Что же дальше? Кто там идет?..

Он видел узкую полосу света, тоньше лунного луча, пробившегося через облака и пыльное стекло, — прежде его не было в комнате. Он не шел ниоткуда: он просто был здесь. Пристально вглядываясь, Чиверел понемногу осознал, что в луче движется, направляясь к двери, фигура, одетая в черное. Дойдя до середины комнаты, фигура остановилась. Чиверел различил теперь, что это довольно молодой человек, один из тех тощих до нелепости худых молодых людей в ранневикторианском костюме, которых постоянно рисовали Крукшенк и «Физ». Чиверел успел сказать себе, что, вероятно, так оно и есть — просто какая-то пришедшая ему на память иллюстрация к Диккенсу спроецировалась в темноту. Но затем человек обернулся и взглянул на Чиверела; у него было бледное лицо с ввалившимися щеками и глаза, полные отчаяния. Чиверела охватил могильный холод и страх. Это уже не был фокус с пришедшей на память старой иллюстрацией. И книги тут были ни при чем. Человек пристально, почти с укором смотрел на него из какой-то холодной, потусторонней жизни. Чиверел хотел заговорить, но убедился, что не может издать ни единого звука. Фигура плавно скользнула к двери, слабый мерцающий свет рассеялся; в Зеленую Комнату возвратились бурый сумрак и тишина, и снова все стало как прежде.

Как прежде? Чиверел всмотрелся получше. Сама комната, несомненно, была та же, но кое-что в ней переменилось. Где высокий стеклянный шкаф, стоявший в нише напротив? И стены были не совсем те: что-то на них — может быть, портреты и старые театральные афиши — выглядело иначе. У Чиверела мучительно заболели глаза. Он прикрыл их и с удовольствием почуствовал, что снова плывет. Немного спустя он вдруг услышал голоса — совершенно отчетливо, так же отчетливо, как несколько минут назад он слышал голоса Отли и доктора. Но эти голоса пели — сначала мужской, затем два или три женских, — и вскоре он узнал, что они поют: это была старинная разухабистая песня «Вилкинс и его обед». Пение звучало все ближе, и Чиверел открыл глаза. Лужицу света, в которой стояло его кресло, по-прежнему кольцом обрамляла тень, но теперь большая часть комнаты по ту сторону кольца была залита мягким золотистым светом, и свет этот, подобно слабому мерцанию, которое он видел

только что, не исходил ниоткуда, но, как в сновидении, просто был здесь. Он ничуть не казался нереальным — он был здесь и был ясно виден, — но все равно Чиверел сразу же понял, что этот свет и свет над его креслом, теперь медленно убывавший, существуют в разных измерениях.

За дверью раздался низкий сочный актерский голос:

— Что тут стряслось, Сэм, дитя мое?

Кто-то другой, тоже актер, ответил:

— Мистер Ладлоу желает, чтобы все собирались в Зеленой Комнате.

Первый голос прокричал, теперь еще ближе:

— Да будет так! Леди, пожалуйте в Зеленую Комнату.

И они вошли — семь или восемь человек, все в костюмах сороковых годов прошлого века. Девушки подталкивали друг друга, болтали и хихикали. Один молодой человек важно курил большую изогнутую трубку. Обладатель низкого сочного голоса, старый актер, чем-то напоминавший Альфреда Лезерса, звался Джон Стоукс. Последней вошла пожилая, властного вида женщина, которая несла объемистую продуктовую корзинку и отзывалась на имя миссис Ладлоу.

Пока весь этот народ рассаживался в другой половине комнаты, угол, в котором сидел Чиверел, почти полностью погрузился во тьму. Изумленный появлением этих отнюдь не бесплотных призедений, он невольно поднялся со своего кресла, постоял немножко и, не отрывая взгляда, сделал несколько шагов вперед. В том, что он видел перед собой, не было ничего размытого, потустороннего. Все казалось весьма основательным, последняя морщинка на лице старого актера Стоукса и блеклые пятнышки на платках и платьях женщин — все было как наяву. Дым из трубки молодого актера поднимался клубами и свивался в кольца, самый обычный дым, как от сигареты доктора. Но ни молодого актера, ни остальных — Чиверел сразу это почувствовал — не было здесь в том смысле, в каком здесь были доктор, Отли и Паулина. Он понимал: они здесь постольку, поскольку их можно видеть и слышать, но общаться с ними нельзя. Он словно наблюдал с близкого расстояния нечто среднее между кинофильмом и сценой из спектакля. Он знал, что контакт между ним и этими людьми — или призраками — невозможен. И хоть все это было странно и удиви-

тельно, он не ощущал тревоги и страха, как в тот короткий миг, когда весь похолодел под взглядом человека с бледным лицом и ввалившимися щеками.

— Попалось вам что-нибудь вкусное, миссис Ладлоу? — спросила молоденькая актриса со вздернутым носиком и давно не мытыми каштановыми локонами.

— Да, душенька, — серьезно и торжественно ответила миссис Ладлоу, которая явно следовала традиции Сары Сиддонс. — Четыре свиные отбивные и пре-восходная цветная капуста. Мистер Ладлоу, по счастью, без памяти любит свиные отбивные. Ведь ему понадобится много сил, чтобы выдержать этот удар.

— Ах боже мой! — воскликнула другая девушка, миниатюрная брюнетка. — Случилось что-то ужасное?

— Мистер Ладлоу все объяснит, — сказала жена мистера Ладлоу.

Снаружи послышался страшный грохот, крики «Иннонно!» и «Стой, проклятый!», и маленький толстяк — комик с головы до пят (это сразу было видно) — лихо въехал в комнату верхом на большом зонтике. Резко осадив, он сорвал с головы грязную шляпу с высокой тульей.

— Леди, ваш покорнейший слуга! — вскричал он и тут же разыграл сложную пантомиму: изобразил, что спешивается, и бросил зонтик, как поводья, старому Джону Стоуксу, который сразу же включился в игру. — Почисти-ка моего коня, любезный, и дай ему овса.

— Слушаюсь, сэр! — гаркнул Джон Стоукс в роли грума. — Ваша честь заночует у нас?

— Где там! — проревел комик. — У меня неотложное дело к герцогу.

— Сэм Мун! — укоризненно воскликнула миссис Ладлоу.

— Мэм?

— Поберегите ваши шутки до вечернего представления, там они вам пригодятся. А сейчас они неуместны.

— Прискорбно слышать это, мэм, — сказал Мун, сморгнув свою забавную круглую физиономию, — весьма прискорбно. Ведь бывали же у нас и прежде невзгоды — бывали, да миновали. Ага, вот и сам мистер Напье!

Мистер Напье, который при этих словах размазисто шагнул в комнату, несомненно, был первым любовником: это был статный, высокомерного вида молодой человек с длинными черными волосами, законченный тип романтического героя сороковых годов. Он носил широкий

темно-синий галстук, отлично сидевший голубой сюртук и светло-серые брюки со штрипками. Минуты две Чиверел разглядывал его как красивую восковую фигуру, и только, но потом, словно коротышка Отли зашептал ему на ухо, в памяти вновь всплыло то, что Отли говорил о Дженнин Вильерс: «Она влюбилась в первого любовника Джулиана Напье...» Джюлиан Напье был перед ним. От волнения Чиверела начал бить озоб, в глазах все расплылось и так поблекло, что стало похоже на огромный дагерротип. Голоса тоже отдалились, но он слышал их почти без напряжения.

— Надеюсь, это будет не слишком долго, — произнес Джюлиан Напье высокомерным премьерским тоном. — Через полчаса у меня назначена встреча с двумя джентльменами в «Белом Олене». А, собственно, в чем дело, миссис Ладлоу?

Она холодно отвечала (Напье явно не был ее любимцем):

— Мистер Ладлоу все объяснит, мистер Напье. И можете быть уверены, что мистер Ладлоу не стал бы собирать всю труппу в этот час, если бы к тому не было серьезных оснований.

— Надо полагать, — сказал Напье. — Но я должен быть в «Белом Олене» к назначенному времени.

— А это что, важные птицы? — спросил Мун.

— Один из них баронет, — сказал Напье. — Он на днях брал ложку. — Он обвел взглядом труппу. — А где мисс Винсент?

— Я ее не вижу, — зловеще отозвалась миссис Ладлоу.

Послышались удивленные возгласы, и кое-кто начал переглядываться.

— Послушайте, однако ж, — сказал Напье, — что такое случилось?

— Все в свое время.

Актриса со вздернутым носиком и каштановыми локонами сообщила, что видела мисс Винсент и мистера Ладлоу как раз перед тем, как все поднялись сюда.

— Вы ошибаетесь, — величественно сказала ей миссис Ладлоу.

— Если так, то кто же это был? — спросила маленькая брюнетка. — Мне тоже показалось, что это не мисс Винсент.

Но тут в комнату вошел сам мистер Ладлоу. (*В то время здесь была постоянная труппа, говорил Отли, под руководством актера Эдмунда Ладлоу.* Но где же Дженини Вильерс? И, кажется, опять все выцветает и теряет ясность очертаний?) Мистер Ладлоу был широкоплечий пожилой человек с широкой грудью и римским носом.

— Леди и джентльмены, — возгласил он, отчеканивая каждый слог. — Мисс Винсент покинула нас. — Раздались крики изумления и досады, на которые мистер Ладлоу отвечал мрачной кориолановской улыбкой. — Покинула нас самым бесчестным и вероломным образом...

— И к тому же с преизрядными долгами в городе, — вставила миссис Ладлоу. — Только одному Тримблби она задолжала пять фунтов с лишком.

— Совершеннейшая правда, душа моя, — мягко и по-домашнему отвечал мистер Ладлоу. Затем, вновь обратившись в Кориолана, он продолжал ужасным голосом: — Я не стану говорить о неблагодарности...

— А я стану! — вскричала миссис Ладлоу. — Неблагодарная тварь!

— Но, как вам известно, — напомнил труппе мистер Ладлоу, — я предложил возобновить «Потерпевшего кораблекрушение» прежде всего ради мисс Винсент; она согласилась и позволила поставить себя на афишу в главной роли, а между тем — и я имею тому доказательства — она уже приняла предложение мистера Бакстона перейти к нему на маленькие роли...

— Совсем маленькие роли, — не без удовольствия присовокупила его жена.

— ...по крайней мере, неделю назад. Этому, разумеется, не может быть оправдания. Черное предательство. В прежние времена она не смогла бы жить, совершив такой поступок, но пыне, когда честь приносится в жертву честолюбию, когда дешьги и ложная гордость господствуют, не встречая сопротивления...

Нетерпеливый Джкулиан Напье прервал его:

— Короче говоря, она ушла. И без нее мы, разумеется, не можем ставить «Потерпевшего кораблекрушение». А как же с «Двенадцатой ночью», о которой тоже повсюду объявлено? Теперь у нас нет Виолы.

Мистер Ладлоу сердито нахмурился.

— С вашего позволения, мистер Напье, я хотел бы продолжить. Конечно, мы не можем ставить «Потерпевшего», поэтому я предлагаю вернуться к «Вдове солдата,

или Заброшенной мельнице», она всегда делает неплохие сборы. — Но актеры только вздохнули.

— Тут все дело в сцене боя, я уж говорил об этом, — подал голос старый актер Стоукс.

— Да, да, согласен, — отвечал ему Ладлоу. — На сей раз у нас будут специальные репетиции для сцены боя. А что до «Двенадцатой ночи», ее можно отложить на две-три недели...

— А вы тем временем подыщете нам новую Виолу? — презрительно воскликнул Напье. — Не велика надежда.

Мистер Ладлоу, который явно разыграл всю сцену ради этой минуты, теперь торжествовал.

— У меня есть повая Виола. А также леди Тизл, Розалинда и Офелия. И если я не слишком ошибаюсь, гораздо лучше, чем мисс Винсент. — Он поднял руку, чтобы остановить шум. — Мистер Кеттл вспомнил, что в свое время наш друг мистер Мэрфи из Норфорка рекомендовал нам хорошую молодую актрису, желавшую перейти в другую труппу. Мистер Кеттл встретился с нею и привез ее сюда. Она уже читала мне из классических ролей, и превосходно читала. — Он повернулся к двери и позвал:

— Уолтер, сделайте одолжение...

Вся сцена словно сфокусировалась, очертания людей и предметов стали отчетливей, и краски вновь расцветили платья и шали, локоны и глаза. Вошел тот самый тощий нелепый субъект, который тогда двигался в луче слабого призрачного света и смотрел на Чиверела. Его тесный сюртук и панталоны, некогда черные, от времени и непрерывной носки вытерлись до блеска и приобрели зеленоватый отлив. Все в нем было жалким и приниженным — все, кроме горящих глаз. Но сейчас он улыбался, он сиял от радости — быстротечной радости горемычного и обреченного человека. Он больше не замечал присутствия Чиверела (если только он замечал его прежде); но Чиверел смотрел на него, не отрываясь.

— Леди и джентльмены, — сказал Уолтер Кеттл, едва заметно пародируя величественную манеру Ладлоу, — имею честь представить вам нашу новую юную героиню мисс Дженнин Вильерс...

Она вплыла в комнату, излучая какой-то новый свет, — довольно высокая, стройная девушка в широком цветастом муслиновом платье с маленьkim корсажем и — вместо бонетки, какие были на всех остальных женщин

нах, — в плоской соломенной шляпе с широкими изогнутыми полями, открывавшими ее красивые локоны и овальное тонкое лицо. Она вся пылала от радостного возбуждения. И Чиверел почувствовал, как его пульс где-то глубоко внутри забился чаще, чтобы попасть в такт ее сердцу.

Улыбаясь, она сделала реверанс, и все, улыбаясь, приветствовали ее аплодисментами. И в этот момент она уронила маленький, пестро расшитый кошелек. Кеттл наклонился было за ним, но Джюлиан Напье оказался проворнее и уже протягивал ей кошелек под хмурым взглядом Кеттла. Джепни Вильерс подняла глаза на статного высокого Напье и улыбнулась ему.

— Это ваше, мисс Вильерс?

— Благодарю вас.

— Я ваш новый партнер — Джюлиан Напье.

Они стояли и смотрели друг на друга, и все вокруг смолкло, застыло; потом свет начал медленно рассеиваться, острые углы исчезли, краски потускнели и поблекли, и стремительным и бесшумным потоком нахлынул бурый сумрак. Больше не было ни звука. Но неподвижно сидевший Чиверел чувствовал, что плотный занавес прошедших ста лет еще не опустился, ему казалось, что он все еще видит неясные фигуры; они двигаются, делают реверансы и кланияются, словно Джепни — теперь всего лишь серое пятно во мраке — представляют всем актерам и актрисам труппы; но очень скоро это слабое, призрачное движение расползлось темными клочьями и совсем исчезло; и больше не осталось ничего — было только чувство растерянности и утраты да щемило сердце...

6

Он снова сидел в своем кресле; лампы над ним горели ровно и ясно, и все было так, как в ту минуту, когда Отли вышел отсюда.

— Вот, значит, как это началось, — пробормотал он, — ну да, разумеется, так оно и должно было начаться.

И теперь начинается заново? Да так ли это произошло — а может быть, все еще происходит там — или он видел сон? Ну конечно, сон! Из таинственных сокровенных глубин его существа, точно волна в океане, поднялось это странно живое сновидение, накатило и отхлынуло, и он опять остался один, дрожащий, потерянный, и сердце у него щемило, но он боль-

ше не чувствовал прежней безмерной усталости и не казался самому себе высохшим, как скелет в пустыне. Конечно, это таблетки. Они, должно быть, вовсю работают у него внутри, совершая там свои маленькие химические чудеса, чтобы заставить кровь энергичнее бежать по артериям. А его уснувшее, выключенное сознание, не ведая никаких наук, сотворило ослепивший его образ высокой стройной девушки с шелковистыми локонами. Из этого стеклянного шкафчика, из разговора с Отли, из перчатки и книжечки да акварельного наброска, висевшего на стене, внезапно возникла бедная Дженини Вильерс, вот уже сто лет как умершая и забытая повсюду, только не здесь. Разумеется, сновидение родилось из чувства утраты, а не наоборот. Во всяком случае, то был хороший сон, необычайно ясный и живой. Чиверел вновь вспомнил отдельные эпизоды и случайные обрывки разговоров. Удивительно, чего без всяких усилий может добиться в темноте уснувшее сознание! Если бы ему предложили сочинить подобную сцену на материале провинциального театра сороковых годов прошлого века, он никогда не сумел бы написать ее без подготовки и с таким множеством убедительных деталей. Да, он уже чем-то обязан благоговейной заботе жителей Бартон-Спа об их старом театре и о Зеленой Комнате и этому высокому стеклянному шкафу. Он с благодарностью взглянул туда, где стоял шкаф, но убедился, что его нет на месте.

Потом женский голос отчетливо произнес:

— Да, душенька, но из этого можно извлечь куда больше. — Чиверел сразу же узнал этот голос, принадлежавший миссис Ладлоу. — Это главная сцена, — продолжала она, — и, надлежащим образом исполненная, она всегда встречает одобрительный прием.

Странный конус света теперь сузился, но стал ярче, чем прежде. Дженини Вильерс была без шляпы и одета была не в красивый муслин, а в простое коричневое платье для каждого дня. Миссис Ладлоу по-прежнему была в бонетке и шали и выглядела весьма величественно. Он сразу понял, что они репетируют в Зеленой Комнате. В них не было ничего потустороннего, это, несомненно, были женщины из плоти и крови; но столь же несомненной была пропасть во времени, непонятно как сознаваемая им: они находились здесь и все же находились за сто лет отсюда.

— Когда я играла эту роль, — говорила миссис Лад-

лоу, — я всегда вставала на носки и простирала руки на словах «О ужас, ужас!», а потом на «Безумие, приди!» я скрещивала руки и закрывала ими лицо. Взгляните, душенька, как это делается.

Чиверел мгновенно понял, еще прежде чем увидел искорки в глазах Дженини, что девушка чувствует, насколько все это фальшиво и театрально. Привстав на носки, вытянув руки, отчего она сделалась похожей на огромную взбесившуюся ворону, миссис Ладлоу воскликнула своим глубоким контральто: «О ужас, ужас!» Потом она спокойно добавила:

— Ну и так далее, постепенно понижая до «Безумие, приди, возьми меня, отныне лишь тебе женой я буду», — вот так...

Она наклонила голову, содрогаясь, скрестила руки и закрыла ими лицо. В этот момент Дженини неожиданно хихикнула.

— В чем дело, душенька?

— Простите, миссис Ладлоу. Я понимаю, что вы имеете в виду — вы так замечательно это показали. Только вот... эта мавританская принцесса желает стать женой Безумия — как же это глупо звучит...

— Надлежащим образом сыгранная, мисс Вильерс, — произнесла миссис Ладлоу тоном оскорбленного достоинства, — эта роль, смею вас уверить, всегда приносит успех. Спросите мистера Ладлоу. — Она повернулась и сказала в темноту: — Что, Уолтер? Пора на выход? Иду. Я проходила с мисс Вильерс главную сцену из «Мавританской принцессы», которую она, кажется, не вполне еще оценила. Вот книга — попробуйте вы тоже.

Ее место в конусе света занял Кеттл, больше обычного напоминавший гротескную иллюстрацию ранневикторианской эпохи. Тем не менее Чиверел остро почувствовал, что режиссер в труппе Ладлоу был живой, страдающей человек, и подумал, что ему, наверное, не доплачивали, а работать приходилось сплошь да рядом больше положенного. Чем-то он был удивительно симпатичен Чиверелу.

— Боже мой, — говорила Дженини, — надеюсь, что я не обидела ее. Но знаете, я не смогла удержаться от смеха — и не над ней, а над этой ролью, она такая нелепая. Вы со мною согласитесь, вот послушайте.

Она встала в трагическую позу и, повторяя движения, которые ей только что показала миссис Ладлоу, продекламировала фальшиво-трагическим тоном:

О Карлос! Юный рыцарь благородный!
На казнь тебя я в страхе предала!
Израненный страдалец! Адской пыткой
Тебя терзали! Стон твой леденящий
Я слышу и сейчас... О ужас, ужас!
Отец бесчеловечный! Я молила,
Но ты не внял мольбам моим. Так скалы
На берегу прибою не внимают.
Безумие, приди, возьми меня!
Отныне лишь тебе женой я буду *.

Потом она серьезно посмотрела на Кеттла.

— Вы понимаете, мистер Кеттл? Я не могу это играть, потому что не могу в это поверить. Ни одна девушка никогда себя так не держала и не говорила так. Это неправда.

— Конечно, неправда, — сказал ей Кеттл. — Но ведь так же точно ни одна девушка не говорила, как Виола или Розалинда.

— Это не одно и то же. Мы хотели бы говорить, как Виола и Розалинда. Это то, что мы чувствуем, выраженное удивительными словами. Но здесь совсем другое. Все это просто ерунда. Взыывать к Безумию, точно это какой-нибудь старый сосед-поклонник, — ну разве это не глупо?

— Да, — ответил Кеттл комическим шепотом. — Я уже много лет думаю то же самое. Язык, ситуации, жесты — все нелепо до крайности. Вы совершенно правы.

— Награди вас бог за эти слова! — воскликнула она. — Вот видите ли, если бы она сказала что-нибудь совсем простое и ясное, пусть так: «О Карлос, благородный Карлос, страх был причиной того, что я предала тебя и, быть может, погубила». Вот просто встала бы здесь, взглянула на него...

— Сделайте так.

— Вы думаете, у меня хватит смелости?

Пока они стояли там и смотрели друг на друга, Чиверел обнаружил, что он стоит у самой границы, резко отделяющей свет от темноты, и говорит, обращаясь к ним через невидимую бедну лет:

— Да, друзья мои, да. Дерзайте, пробивайтесь сквозь рутину, ломайте старые, отжившие формы. Дерзайте, как все мы должны дерзать, чтобы дать Театру новую жизнь...

— Хорошо, — сказала она Кеттлу, и лицо ее просияло. — Я попробую.

* Перевод М. М. Чулаки.

Чей-то голос, показавшийся Чиверелу очень отдаленным, донесся сквозь мрак и сказал, что мисс Вильерс и мистера Кеттла просят на сцену.

— Идемте, — позвал Кеттл и, шагнув во тьму, исчез. Дженини неохотно последовала за ним, и свет двигался вместе с нею, быстро угасая.

— Дженини! — И Чиверел с изумлением обнаружил, что теперь это был его собственный голос. — Дженини Вильерс!

И вслед за тем произошло маленькое чудо. На какое-то удивительное мгновение она замешкалась, обернулась и растерянно посмотрела по сторонам, прежде чем утонуть в призрачном сумраке.

С переполненным и бьющимся сердцем Чиверел стоял посреди комнаты слегка пошатываясь и закрыв глаза. Когда он открыл их снова, то увидел, что пастольная лампа и бра на стеле возле его кресла горят спокойно и ровно. Дверь скрипнула, и клин света, яркий, резкий, такой неприятный по сравнению с тем, что он видел, когда оставался тут в одиночестве, расширяясь, проник в комнату. Вшел Отли.

— Вы звали меня, мистер Чиверел?

Чиверел смущился.

— Что? Нет, едва ли. То есть я уверен, что не звал.

— Мне показалось, что я слышал... — с сомнением произнес Отли.

— Наверное, это я во сне.

Отли внимательно посмотрел на него.

— Как ваше самочувствие, мистер Чиверел? Хотите, я пошлю за доктором Кейвом?

— Нет, нет, не надо, — ответил Чиверел чуть раздраженно. — Все в порядке, благодарю вас. Я задремал, должно быть. А потом встал с кресла...

— Тогда я не буду вас беспокоить до звонка из Лондона. — И Отли сжал клин резкого белого света и исчез вместе с ним. Снова оставшись наедине с сумраком и темнотами, растерянный и дрожащий, но уже не чувствуя прежней сонной вялости, Чиверел осторожно вернулся в свой угол и опять уселся в большое кресло. На этот раз он не закрывал глаз вовсе. Но и не просто бодрствовал. У него было то болезненно-нервное ощущение, знакомое ему по стольким премьерам, когда голова раскалывается от напряжения, а в груди и животе пусто и что-то сосет. Он был одновременно возбужден, и встревожен, и совер-

иешно не способен ни о чем думать. Что-то томило его — какое-то волшебное чувство, которого он не испытывал в течение многих, многих лет блуждания, кружения по бесплодной пустыне. Словно где-то в этой его пустыне был глубокий холодный родник под зелеными деревьями. Это могло быть предсмертным миражем. Это могло быть, наконец, возвращением к жизни. Он взял нелепую книжницу, которую показал ему Отли, и поднес ее к свету настольной лампы, стоявшей позади него. «Дженни Вильерс — дань уважения и памяти...» Глубокая тишина окружила его. Комната ждала...

7

«Дань уважения и памяти. — Составил Огастас Понсонби, эсквайр, почетный секретарь Шекспировского общества Бартон-Спа...» Чиверел по-прежнему смотрел на титульный лист.

— Да, сэр, — сказал приятный тихий голос, — Огастас Понсонби...

— Что? — вскричал Чиверел, подскочив в кресле. С минуту ничего не было видно, но затем во тьме ниши медленно обрисовалась круглая фигура толстячка с бакенбардами, который сидел, поглаживая высокую коричневую шляпу.

— ...Почетный секретарь Шекспировского общества Бартон-Спа и заядлый театрал, сэр.

Чиверел сделал шаг вперед, отметив про себя, что он воспринимает это нелепое привидение как нечто вполне естественное.

— Нисколько в этом не сомневаюсь. Однако, друг мой, я представлял себе привидения несколько иначе. — Но Огастас Понсонби обращался, разумеется, не к нему.

— ...Хорошо известный в городе, — продолжал Понсонби самодовольно, — и, без сомнения, известный и вам, мистер Стоукс, смею надеяться, как вернейший среди здешних поклонников талантливой труппы мистера Ладлу.

Ну, конечно, он разговаривал со старым актером Джоном Стоуксом, который теперь тоже стал видеа. Это был вылитый Альфред Лезерс в костюмной роли: тот же помятый и смешной вид тот же сочный акцент.

— Много наслышан о вас, мистер Понсонби, — говорил

Стоукс. — А вам, без сомнения, не раз случалось меня видеть.

— Разумеется, разумеется, мистер Стоукс. Счастлив познакомиться. — Понсонби и в самом деле был счастлив, это чувствовалось. — Не представляю себе, что бы труппа делала без вас — такая разносторонность, такая сила, такая опытность!

— Старый актер, мистер Понсонби, — впушительно и торжественно произнес Стоукс. — За сорок пять с лишним лет можно научиться выдерживать в вечер по пять действий да еще фарс в придачу...

— Не только самому выдерживать, но, случается, и других поддерживать, а, мистер Стоукс? Ха-ха-ха! Я думаю, сэр, вам многое довелось повидать на Театре...

— Да, сэр. Я видел великие дни. И они уже никогда не вернутся. В молодости, мистер Понсонби, я играл с Эдмундом Кином, Чарльзом Кемблом, Листоном, миссис Гловер, Фэнни Келли...

— Великие имена, мистер Стоукс, великие имена! — Понсонби был в восторге.

— Да, воистину Театр был *Театром* в то время, мистер Понсонби, — сказал Стоукс своим густым баритоном. — Это было все, что имела публика, и мы старались для нее изо всех сил. Никаких ваших панорам, диорам и всего прочего тогда не было. Был *Театр* — такой Театр, каким ему подобает быть. А нынче они пойдут куда угодно. Жаждя глупых развлечений, мистер Понсонби. И всюду деньги, деньги, деньги. Поверьте мне, сэр, Театр умирает; и хоть на мой век его, слава богу, хватит, я не думаю, чтобы он намного меня пережил. Старое вино выдохлось. И пьесы теперь уже не те, и публика не та, и актеры не те. — И он испустил глубокий, тяжелый вздох.

— Вы, несомненно, правы, мистер Стоукс, — я не смею оспаривать суждение столь опытного человека. Но все же я явился сегодня сюда именно затем, чтобы сказать мистеру Ладлоу, что многие из нас, здешних любителей и постоянных посетителей театра, хотели бы поздравить его с новым приобретением труппы — мисс Вильерс. — Тут он принял раскланиваться и улыбаться, как маленький розовый китайский мандарин.

— Рад слышать это от вас, мистер Понсонби, — произнес старый Стоукс таким тоном, каким он, должно быть, говорил на сцене, изображая заговорщиков (для полноты картины не хватало только черного плаща, перекинутого

через руку и закрывающего лицо до самых глаз). — Мисс Вильерс у нас всего несколько недель, но мы все ею чрезвычайно довольны. Конечно, она еще многому должна научиться, что вполне естественно. Я сам дал ей несколько указаний. Непоседлива, это верно. Но тут настоящий талант, сэр, и приятнейшая наружность, и в меру честолюбия — одним словом, у этой девушки есть будущее, сэр. Разумеется, если есть будущее у Театра, в чем я сомневаюсь.

Мистер Понсонби деликатно кашлянул.

— Сможем ли мы увидеть мисс Вильерс в шекспировских ролях?

— Сейчас она их репетирует, сэр, — загремел Стоукс, — она их репетирует. Да вот, кстати, и она!

Вошли Дженини, Джулиан Напье и Уолтер Кеттл с тетрадками ролей в руках. Мягкий золотистый свет, идущий пионтикуда, теперь наполнил большую часть комнаты, и Чиверел вдруг заметил, что находится гораздо ближе к нему, чем раньше, почти озарен им. Он по-прежнему ощущал пропасть во времени между ними и собой, но ощущал ее не так сильно, как раньше. Каким-то образом вся сцена вдруг очень приблизилась к нему, словно края пропасти начали смыкаться.

— Хэлло, Понсонби! — сказал Напье пренебрежительно. — Зачем вы здесь в такое время?

Маленький человечек смущился.

— Я искал мистера Ладлоу...

— Он собирался быть во «Льве».

— Я провожу вас туда, мистер Понсонби, — вмешался Стоукс.

— Дженини, — улыбаясь, сказал Напье, — разрешите представить вам мистера Огастаса Понсонби, одного из наших постояннейших зрителей...

— А также, — поклонился Понсонби, — и одного из усерднейших и благодарнейших почитателей вашего таланта, мисс Вильерс.

— Я ничем еще не заслужила вашей благодарности, мистер Понсонби, — скромно отвечала Дженини. — Но, может быть, скоро... если мне повезет...

— Дело не в везении, а в работе, — резко сказал Кеттл. — И сейчас мы как раз должны работать. Просим нас извинить, мистер Понсонби.

— О да, конечно... это я должен просить прощения...

— Пойдемте-ка в таверну, — сказал Стоукс. — Обойдется часок без меня? — И они вышли.

Трое оставшихся некоторое время молчали. Все чувствовали какую-то неловкость. Дженини, бросив быстрый взгляд на двух других, первая нарушила молчание.

— Он славный, по-моему...

Налье пожал своими широкими плечами — он был хорошо сложен и в этот раз выглядел очень красиво в черном широком галстуке, коричневом спортуке и бледно-желтых брюках — и сказал высокомерно:

— Маленький надутый осел. Но он здесь председательствует в каком-то шекспировском обществе, и в бенефис они берут по сотне мест...

Кеттл повернулся к нему:

— Он, может быть, и надутый, но совсем не осел и вовсе не похож на тех, кто гоняется только за билетами на бенефисы.

— Вы сегодня в дурном настроении, мистер Кеттл, — с улыбкой сказала Дженини. — Что-нибудь случилось?

На лице несчастного Кеттла выразилась вся боль и страдание влюбленного, потерявшего последнюю надежду человека.

— Простите, мисс Вильерс... это, должно быть, от усталости, — запинаясь, проговорил он. — Я, право, не хотел...

— Тебе нечего тут делать, Уолтер, — небрежно сказал Налье. — Ступай вниз. А я сам пройду с Дженини наши сцены. Мы за тем сюда и пришли.

Кеттл, сверкнув глазами, пробормотал:

— Это для меня новость...

— Что? — И Налье, выпрямившись во весь свой внушительный рост, надвинулся на сутулого и поникшего режиссера. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я не в состоянии пройти с мисс Вильерс сцены, которые играл сотни раз? Да как ты...

— Джулиан, пожалуйста! — вскрикнула Дженини, выдавая себя в стремлении предотвратить скорую. Потом она улыбнулась Кеттлу. — Я знаю, как вы заняты, мистер Кеттл... и я нарочно просила Джулиана...

— Неправда, — грубо сказал Кеттл. — Это он просил вас, я слышал.

— Но я сама собиралась просить его.

— А я ее опередил, вот и все, — сказал Налье. Он посмотрел на Дженини, и Дженини посмотрела на него, и

они остались вдвоем, за тридевять земель от Кеттла, который резко отвернулся, чтобы не видеть, как они смотрят друг на друга; теперь он был совсем близко от Чиверела — не только в пространстве, но и во времени и в ощущениях. И миг, когда Чиверел снова поглядел в зачавшие глаза Кеттла, вдруг удивительным образом остановил это утро, прошедшее сто лет тому назад, и всю эту сцену, так что трое ее участников застыли, недвижные и безмолвные, как фигуры в стереоскопе.

— Так ты тоже любил ее. — Ни тогда, ни после Чиверел не мог решить, в самом ли деле он произнес эти слова или просто мысленно обратился к Кеттлу. — Любил безнадежно. Мечтал научить ее всему, что гы знал о сценическом искусстве, а мне думается, ты был здесь тем человеком, который действительно знал о нем немало; может быть, ты даже и учил ее, но никогда у тебя не было шансов, никогда никакой надежды. Потолковать бы пам с тобой как следует, Уолтер Кеттл. В тебе есть что-то от меня. Я точно знаю, каково тебе сейчас. А скоро будет хуже, много хуже, бедняга! Ну, делать нечего, иди своим путем.

Картишка вздрогнула и задвигалась, наполнилась звуками, ожила. Давно прошедшее утро потекло дальше, неся всех троих к предначертанному судьбой концу.

— Ну что ж, — с горечью сказал Кеттл, опустив свои худые черные плечи. — Я покину вас. Роли у вас есть.

— Да, — ответил Напье, величественный и небрежный, — хотя едва ли они нам понадобятся.

— Я тоже так думаю. — И Кеттл шагнул во тьму.

Свет, падавший на Дженнни и Напье, чугъ потускнел после ухода Кеттла, словно он унес какую-то часть его с собой — тайна, в которую Чиверел так и не смог проникнуть. Ибо ведь это была жизнь Дженнни, он в этом не сомневался, и все волшебство сосредоточивалось вокруг нее. Тогда почему же Кеттл временами становился для него так важен?

Они репетировали теперь второй акт «Двенадцатой ночи», и Напье, изображавший Герцога, в довольно высокопарном стиле произнес:

Приди, мой мальчик... *

— Мне идти туда?

* Перевод М. Лозинского.

— Да. Не так быстро. Ну, снова: «Приди, мой мальчик...»

И все шло хорошо до тех пор, пока Дженини в роли Биолы не ответила: «Да, ваша милость», и тут вдруг остановилась и воскликнула:

— О Джюлиан, пожалуйста... не надо так смотреть на меня.

Он схватил ее за руки:

— Я не в силах дольше с этим бороться. И что тут плохого?

Она еще сопротивлялась.

— Ведь нам... мы должны работать. Нам нельзя думать о себе.

Он торжествовал.

— Значит, ты тоже думала об этом.

— Нет, — запротестовала она, — я не то хотела...

— Ты думала, — был властный ответ. — И ты тоже не можешь с этим бороться. — Он обнял ее и зашептал: — Моя дорогая Дженини, милая, милая Дженини, я люблю тебя. Я обожаю тебя. Я только о тебе и думаю.

— Джюлиан, вы меня почти не знаете...

— Я знал тебя всегда. И не зови меня просто Джюлиан. Скажи мне «милый».

— Милый, — промпентала она, — и я... я тоже люблю тебя.

Все это время свет слабел и меркнул, и плотный бурый сумрак из неосвещенных углов подкрадывался к ним ближе и ближе, так что оба они, но особенно Нанье, понемногу расплывались, теряли четкость очертаний и наконец стали похожи то ли на влюбленных со старого вытертого гобелена, то ли на сплетающиеся призраки, а шепот их был не громче робких далеких вздохов ветра. Все же Чиверел увидел, как медленно запрокинулось ее лицо, нежный мерцающий овал; увидел, как обвила его руками, увидел, как соединились их губы, которые теперь были бледными и холодными, и услышал свой дикий вопль: «Нет нет, нет!» Мгновенно налетела ночь, завыл холодный ветер, и от двух влюбленных, давним-давно канувших в вечность, не осталось и следа.

Помня краешком памяти о комнате, в одном углу которой был для него зажжен свет, он заковылял назад к своему креслу. Ночь и вой ветра, подхватившего и унесшего сотню лет как горстку сухих листьев, еще не отпустили его. Но он все же сохранил способность мыслить.

Почему он вскрикнул «Нет, нет, нет!» так неистово, что сам поразился? Вначале он испытывал глубокое чувство жалости и вместе с тем утраты; потом из прошлого — того прошлого, которое никогда ему не принадлежало, — явилась, выплыла эта девушка, и было в ней какое-то странное волшебство. Но он вовсе не желал обладать ею, даже в самом призрачном смысле, и крик его не был криком ревности. Может быть, он просто хотел остановить эту короткую трагедию, которая словно специально для него разыгрывалась здесь еще раз. Или в час полной безнадежности он был обнажен до последнего, сокровеннейшего человеческого желания — сделать то, чего, по словам священников, не в силах сделать сам господь: изменить прошлое? Но почему эта мертвая девушка — была ли то девушка, дух или символический персонаж повторяющегося сна, — почему она так много значит для него? Даже когда ее имя попалось ему на глаза в справочнике несколько недель тому назад, его первы напряглись, и на мгновение он похолодел. Какая таинственная часть его существа, о которой он даже не подозревал, пробудилась здесь, среди привидений старого театра? Ведь ему теперь все безразлично — он откровенно признался в этом Паулине, — даже Театр его времени, который в течение последних двадцати пяти лет давал ему средства к жизни, друзей, поклонников, даже славу. Тогда почему за какой-нибудь час его без остатка захватила — вот что важно, а вовсе не то, спал ли он или действительно видел привидения, увлекло ли его воображение драматурга или он и в самом деле побывал в прошлом, — захватила печальная история неизвестной и позабытой актрисы, умершей так рано, этой Дженини Вильерс? Но что-то случилось от одного лишь звука ее имени, которое он безотчетно повторил несколько раз, и он понял, что навсегда потерял это прошлое с его странным волшебством, пробуждением розы во мраке, далеким плеском родника в пустыне...

8

И вот он уже был не в Зеленой Комнате, хотя по-прежнему чувствовал под собой кресло, и даже не в театре, но где-то вне его, и — он мог бы поклясться — все это происходило сто лет назад... Черный ветер выл в ночи. Вначале ничего нельзя было разобрать, только цокали копыта лошадей, тащивших коляски. Потом отку-

да-то донеслось пение, словно подхваченное внезапным порывом ветра у открытого окна таверны. Горели неяркие огни — лампы под муслиновыми абажурами, затуманенные дождем. Старые привидения на старых улицах. Может быть, он тоже стал привидением? Его охватила паника, точно он сам — не усталое грунное тело, покоившееся в кресле, но мыслящая часть его, дух — мог улететь и затеряться в этой ночи, словно клочок бумаги. Он позвал Дженнii: ему необходимо было знать, где она и что с ней. И его желание исполнилось.

Он увидел, словно заглянув в незанавешенное окно, неуютную маленькую гостиную, тускло освещенную одной небольшой лампой. Дженнii все в том же простом коричневом платье стояла возле дивана конского волоса, на котором, завернувшись в грязное розовое одеяло и еле превозмогая дремоту, зевала актриса со вздернутым носиком и каштановыми локонами, накрученными на папильотки. Было очень поздно, но Дженнii все еще повторяла монологи Виолы, к явному неудовольствию другой актрисы. Чиверел слышал все, что они говорили, но голоса их звучали слабо и доносились откуда-то издалека.

Я понял вас: вы чересчур надменны... *

Дженнii произнесла это, чуть ли не стиснув зубы. Она устала, устала куда больше, чем та, другая; но она не позволяла себе в этом признаться. Ее глаза были расширены и блестели, а щеки ввалились. Она упрямо продолжала:

Но будь вы даже ведьмой, вы красивы.
Мой господин вас любит. Как он любит!
Будь вы красивей всех красавиц мира,
Такой любви не наградить нельзя*.

Другая, проглотив зевок, подала реплику:

А как меня он любит? Беспредельно.
Напоминают гром его стенанья... *

И Дженнii остановилась.

— Нет, неправильно. — Она явно была недовольна тем, как она произнесла эти слова.

— По-моему, звучит как должно, милая, — сказала другая с полнейшим равнодушием.

* Перевод Э. Линецкой.

— Нет, неправильно. Теперь я вспомнила:

Беспребельно.
Напоминают гром его стена, а
Вздох опаляет пламенем, а слезы
Подобны плодоносному дождю *.

Она ждала, но ответной реплики не последовало.

— Ну же! — воскликнула она нетерпеливо. — Сара, пожалуйста!

— Ты знаешь, который теперь час? — спросила Сара. — Скоро два.

— Ну и что из того? — нетерпеливо ответила Дженини, но тут же добавила: — Нет, нет, прости, Сара, милая. Я знаю, что ты устала. Но я должна повторить это еще раз. Ну, пожалуйста...

— «Он знает, что его я не люблю», — и так далее и так далее, — «и это он понять давно бы должен» *, — И Сара зевнула.

Люби я вас, как любит мой властитель,
С таким несокрушимым постоянством,
Мне был бы непонятен ваш отказ,
И в нем я не напел бы смысла *.

Дженини не просто читала стихи — теперь она ожидала с каждым словом.

Да?
А что вы сделали? * —

подала реплику Сара.

Дженини продолжала:

У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взвывать к возлюбленной... *

Она замолчала и нахмурилась.

— Нет, не совсем так, родная моя, — сказал вдруг Чиверел, словно на репетиции. И вслед за этим совершилось еще одно маленькое чудо, как будто на короткий миг Дженини почувствовала его присутствие.

— Нет, неправильно, — сказала она и прочла весь монолог именно так, как Чиверелу хотелось услышать:

У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него

* Перевод Э. Линецкой.

Взвывать к возлюбленной, слагал бы песни
О верной и отвергнутой любви
И распевал бы их в глухую полночь,
Кричал бы ваше имя, чтобы эхо
«Оливия!» холмам передавало:
Вы не нашли бы на земле покоя,
Пока не сжалились бы *.

— Это надо мной пора бы сжалиться, — сварливо сказала Сара. — Продержала меня до такого часа! Да и что ты так тревожишься?

— Потому что я должна, я должна. Времени так мало.

Пока она говорила это, комнатка уже отдалилась от него и совсем потускнела, а голоса стихли до еле слышного шепота.

— Видно, вы с Джулиапом все миловались, а не репетировали, — сказала Сара.

— Сара! — задохнулась Дженини.

— Да все про вас знают. Стены выболтали.

— Нет, Сара, не надо... пожалуйста, помолчи. Я начну снова — времени так мало...

Да, времени так мало; теперь освещенное окно было далеко и только мерцало, а строки, которые повторяла Дженини, казались призраками слов, трепетавшими в темноте:

...Вы не нашли бы на земле покоя,
Пока не сжалились бы...

Какое-то мгновение ему казалось, что он плывет в ноти высоко над городом, а ветер вздыхает: «Сжалились бы, сжалились бы»; но потом он прислонился головой к гладкой теплой стене и съехал вниз, и гладкая теплая стена превратилась в кресло.

9

На этот раз, наверное, из-за того, что Дженини тут не было, все стало проще и обыкновеннее: скромное, домашнее волшебство, совсем не такое, как ее. И началось все иначе. Чиверел бросил взгляд на против, в нишу с высоким стеклянным шкафом, в котором среди прочих вещей лежала фехтовальная перчатка Дженини. Шкаф был там. Чиверел твердо сидел на месте — он никуда не плыл, а ушах смолкли барабаны батальонов Времени — и на-

* Перевод Э. Липецкой.

приженно всматривался в стеклянные дверцы, где слабо отражался свет стенного бра у него над головой. Но вот отражение изменилось; оно приблизилось, принял иные очертания и засветилось по-новому. Теперь это был уголок уютного бара ранневикторианской эпохи: начищенная бронза и олово, сверкающие краны, зеленоватобелые фарфоровые бочонки с джином, бутылки, полные огня и солнечного света. Толстый хозяин с крупным мясистым лицом и толстыми руками опирался на стойку красного дерева. По другую ее сторону расположился мистер Ладлоу в фиолетовом сюртуке и клетчатых брюках, а с ним рядом — потрепанного вида молодой человек в ворсистом котелке, сдвинутом на затылок. Они пили за здоровье друг друга. По-видимому, потрепанный молодой человек был местным журналистом.

— Значит, вы желали бы сказать примерно следующее. Постойте-ка... — Мистер Ладлоу на секунду задумался. — «Вслед за блестящим и неодражаемым дебютом мисс Вильерс и... э-э...»

Журналисту уже приходилось слышать нечто подобное.

— «И по особой просьбе многих достойнейших наших покровителей искусств», — подсказал он.

— Вот именно. Занишите. Теперь дальше... э-э... «Мистер Ладлоу объявляет большое представление в бенефис мисс Вильерс в пятницу, девятого. Бенефициантка изится перед публикой в одной из своих любимейших ролей — в роли Виолы в «Двенадцатой ночи», вместе с самим мистером Ладлоу в роли Мальволио и мистером Джулланом Нанье в роли Герцога. В заключение представлен будет новейший уморительный фарс под названием «Взять их живыми».

— А-га! — воскликнул хозяин чрезвычайно многозначительно.

— Еще по стаканчику, Джордж.

— А-га! — На сей раз смысл восклицания был иной, хозяин занялся приготовлением напитков.

— «С любезного разрешения полковника Баффера и так далее, — диктовал мистер Ладлоу, — оркестр Пятнадцатого драгунского полка будет исполнять в антрактах популярную музыку. Контрамарки не выдаются...»

— Записано, — сказал журналист, делая у себя заметки. — «Дворяне и джентри...»

— Разумеется. «Дворяне и джентри уже абонировали

большое число мест, и публике рекомендуется заказывать билеты, не теряя времени». Ну, вы знаете, как обычно.

— Да, само собой. Цены повышенные?

— Разумеется. «Идя навстречу настойчивым и многочисленным требованиям, и дабы город имел случай воздать щедрую дань благодарности молодой даровитой актрисе...» Ну, вы сами знаете. Валяйте, не стесняйтесь. — Он поднял свой стакан.

— С большим удовольствием, — ответил журналист. — Ваше здоровье, мистер Ладлоу.

— Ваше здоровье. Могу сказать, и без всякого преувеличения, лучшей актрисы у меня не было не помню сколько лет. К тому же усердна и в рот не берет хмельного. — Он отвернулся от собеседника, потому что к нему подошел посыльный с большим конвертом. Распечатав конверт, мистер Ладлоу присвистнул. — Послушайте-ка, друг мой, — сказал он. — Тут для вас найдутся какие-то новости. — И он прочел то, что было написано на визитной карточке, вынутой им из конверта: — «Огастас Понсонби свидетельствует свое почтение мистеру Ладлоу и от имени Шекспировского общества города Бартон-Спа имеет честь пригласить мисс Вильерс, мистера и миссис Ладлоу, мистера Джулиана Нанье и всех участников труппы на прием и ужин в гостинице «Белый олень» по окончании большого представления в бенефис мисс Вильерс в пятницу, девятого». — Мистер Ладлоу раздулся от восторга и гордости. — Прочтите сами. Я об этом не знал. Очень любезно с их стороны.

— А-га! — сказал хозяин опять с новой интонацией и оперся о стойку бара. Кажется, здесь он вполне мог объясняться вообще без помощи слов.

Мистер Ладлоу проглотил то, что еще оставалось на дне стакана.

— Вот вам и отличная колонка для вашей «Бартон-шир Кроникл». А теперь, — прибавил он с удовольствием, — теперь за работу. — Он повернулся прямо на Чиверела и тут же растворился в воздухе. Бар еще миг сверкал и мерцал, но затем исчез и он.

10

Теперь усталость чувствовалась гораздо меньше. Энергия и живой интерес хлынули из какого-то неведомого источника, химического или психического, а может

быть, из обоих сразу. Чиверел сделал несколько кругов по комнате, переходя то из света в тень, то из тени на свет. Им владело особое возбуждение, подобного которому он не испытывал уже много лет, и предчувствие великого события. Пробыв несколько минут в этом нетерпеливом возбуждении, он вдруг понял, что заразился настроением самого театра и всех людей, находящихся в нем. Но какого театра, каких людей? Вопрос уже заключал в себе ответ. Его снова унесло назад. Он чувствовал то, что чувствовали все они в тот вечер тысяча восемьсот сорок шестого года. Да, это был Большой Бенефис. И сильнее всего ему передавались чувства самой Дженнини. Но где же она?

Он увидел ее как бы в конце короткого коридора, сбившего наклонно к ее уборной. Она сидела, закутавшись в плед, и рассматривала свой грим в освещенном зеркале. Среди цветов на столе он успел заметить зеленую с алым перчатку. Откуда-то, словно сквозь несколько дверей, доносились знакомые звуки, какие можно услышать за кулисами, возгласы в коридорах и далекая музыка. Он знал, что она дрожит от волнения.

Вошел Джекулиан, уже в костюме Герцога, с букетом красных роз. Их голоса, долетавшие до него, звучали совершенно отчетливо, хотя и слабо.

— Джекулиан, милый, спасибо тебе. Я мечтала об этом, но потом подумала, что ты, наверно, слишком занят и не вспомнишь. Милый мой!

— Я ни на миг не перестаю думать о тебе, Дженнини. Я люблю тебя.

— Я тоже люблю тебя, — серьезно сказала она. Он поцеловал ее, но она мягко отстранилась. — Нет, пожалуйста, милый. Не теперь. Нас скоро позовут. Пожелай мне удачи в мой великий вечер!

— Я все время только это и делаю. И чувствую, что это будет и мой успех. Я не стану ревновать тебя к нему.

Она была настолько простодушна, что даже удивилась.

— Ну, конечно, не станешь. Я знала. Милый, остались считанные минуты.

— Тогда слушай. — Он заговорил торопливым шепотом: — Ты сегодня тоже ночуешь в гостинице. Какая у тебя комната?

— Сорок вторая... Но...

— Постой, любимая, послушай меня. Ты долж-

на разрешить мне прийти к тебе после того, как все эти дураки наговорятся. У нас нет другой возможности по-быть вдвоем. А я так безумно тебя хочу, любовь моя. Я не могу спать. Я не могу думать. Иногда мне кажется, что я теряю рассудок...

— Прости меня, Джалиан...

— Нет, конечно, я не упрекаю тебя. Но пусть эта ночь будет наконец нашей ночью. Комната сорок два. Моя комната рядом. Никто не узнает.

Она была в нерешительности.

— Не о том речь, милый... Это... Я не знаю, что сказать...

— Ну, разумеется, я не хочу торопить тебя. Но сделай мне знак, когда мы будем ужинать с этими олухами в гостинице. Знаешь что: если ты дашь мне однажды из этих роз, я буду знать, что все хорошо. Пожалуйста, милая!

Она засмеялась.

— Какой ты ребенок! Ну хорошо.

Раздался крик:

— Увертюра! Участники первого акта, пожалуйте на сцену! Участники первого акта, на сцену!

— Нас зовут, — сказала она. — Мне нужно поторопиться.

— Не забудь, — напомнил он ей. — Одна красная роза — и ты сделаешь меня счастливым.

Чиверел увидел, как она кивнула, улыбнулась и снова взглянула в зеркало, но уже их образы расплывались и исчезали, словно он смотрел в глубь воды, на которую надвигалась тень. Послышались далекие звуки музыки и вслед за тем аплодисменты. Потом пропало все. Он просто стоял в притихшей темной Зеленої Комнате, заточенный в Теперь. Может быть, он больше ничего не увидит и не услышит. Призраки покинули его. Может быть, колея времени отказалась искривляться ради него и осталась прямой и жесткой, а в таком случае безразлично, когда это происходило — сто лет или сто веков назад.

Возмущенный, он вернулся к креслу, взял в руки книжечку — все, что у него теперь оставалось, — и медленно прочел: «Никогда те из нас, кому посчастливилось присутствовать и в театре «Роял» и затем в «Белом олене», не забудут этого вечера. Публика, в том числе почти все дворянне и окрестные джентри, заполнила театр от партнера до галерки и громкими рукооплесканиями поощряла

блестящую молодую актрису при каждом ее появлении и уходе. Более восхитительной Виолы никому никогда не приходилось видеть — впрочем, об этом ниже. После спектакля состоялся прием, устроенный Шекспировским обществом в гостинице «Белый олень», где автор имел честь произнести первую речь, обращенную к главной гостье, чье сияющее лицо тогда еще не омрачила тень близкого рокового конца. Мисс Вильерс, сказал автор...»

Но свет, падавший на страницу, померк, и мягкое золотистое сияние, более яркое, чем прежде, наполнило комнату. Но что это была за комната? Не Зеленая Комната, хотя ее темные, обшитые деревом стены были почти такие же. Там стоял длинный стол, богатый и красивый, уставленный цветами и вазами с фруктами, графинами и бутылками, темными — с портвейном и светло мерцающими — с шампанским. На ближней стороне стола было несколько свободных мест, и сквозь эту брешь в середине он увидел сияющую Дженини с ее красными розами, чету Ладлоу и Джулiana Напье. Справа и слева от них сидели теряющиеся в тени дворяне, джентри и члены Шекспировского общества в чудовищных вечерних туалетах сороковых годов прошлого века. Маленький Огастас Понсонби, слегка подвыпивший и розовый, в накрахмаленной гофрированной манишке, стоял, лучезарно улыбаясь, и явно собирался использовать представившуюся ему возможность наилучшим образом.

— Мисс Вильерс, позвольте мне от имени Шекспировского общества Бартон-Спа принести вам — и мистеру, и миссис Ладлоу, и всей труппе мистера Ладлоу — нашу чувствительнейшую благодарность за то высокое наслаждение, восторг, пищу для ума и духа, что вы доставляли нам на протяжении этого сезона, каковой озарен ослепительной гирляндой ваших спектаклей и есть, без сомнения, самый достопамятный сезон Бартон-Спа за многие, многие годы.

Раздались одобрительные взгласы и аплодисменты, которые Дженини выслушала вполне серьезно, хотя Чиверел сразу понял, что она прекрасно видит, как комичен этот маленький человечек с его пышным красноречием.

— Снова и снова, — продолжал Огастас Понсонби, воодушевляясь все больше, — именя взоры своим гением, вы представляли нам в совершенных образах удивительных созданий плодовитой фантазии нашего Бессмертного Барда. Вы явили нам самый облик и подлинно

чарующее одушевление Офелии, Розалинды, Виолы. Трудис поверить, чтобы гений, обрученный с такою молодостью и красотой, и дальше будет довольствоваться пребыванием в стороне от... э-э... глаз столичной публики...

— Ну, ну, — остановил его мистер Ладлоу, — не винайте ей таких мыслей, мистер Понсонби.

— Помилуйте, что вы, мистер Ладлоу, — заторопился Понсонби. Затем он продолжал с прежней важностью: — Я лишь хотел заметить... э-э... что мы, члены Шекспировского общества, прекрасно сознаем, как благосклонна к нам Фортуна, и потому пользуемся этим случаем, чтобы выразить мисс Вильерс свое уважение и чувствительнейшую благодарность. А теперь я прошу сэра Ромфорда Тивертона предложить тост.

Раздались шумные аплодисменты, и Чиверел заметил, как тревожно сверкнули глаза Дженини, когда она посмотрела на Джулиана Напье. Затем встал с бокалом в руке сэр Ромфорд Тивертон, невообразимый старый щеголь, украшенный бакенбардами и словно сошедший со страниц одного из мелких теккереевских бурлесков.

— Господин прведседатель, двузъя, — сказал сэр Ромфорд, — я с огвомным удовольствием прведлагаю выпить здровье нашей првелестной и талантливой почетной гостьи мисс Дженини Вильевс, а вместе с ней и наших ставых двузей мистева и миссис Ладлоу...

— Мисс Вильерс! — Теперь все, кроме Дженини и четы Ладлоу, поднялись и аплодировали стоя. Но производимый ими звук казался Чиверелу много тусклее и много дальше от него, чем их зримые оболочки, и напоминал ему какое-то кукольное ликование, отчего вся сцена приобретала привкус печальной иронии.

— Речь, речь, мисс Вильерс! — кричали все.

Дженини была обескуражена.

— О-о, разве я должна?

— Разумеется, должны, — ответил Понсонби чуть ли не сурово.

— Давайте, дорогая моя, — сказал Ладлоу. — Что-нибудь покороче и полюбезнее.

— Леди и джентльмены, — сказала Дженини, — я не умею произносить речей, если, конечно, кто-то не напишет их для меня и я не выучу их наизусть. Но я очень признательна всем вам за помощь, благодаря которой мой бенефис прошел с таким успехом, и за этот замечатель-

ный прием, устроенный нам здесь. Я никогда не была счастливее в Театре, чем здесь, в Бартон-Спа. Театр — я уверена, вы все знаете, — это не только блеск, веселье и аплодисменты. Это тяжелый, надрывающий душу труд. И никогда мы не бываем так хороши, как нам хотелось бы. Театр — это сама жизнь, заключенная в маленький золотой ларчик, и, как жизнь, он часто пугает, часто винтует ужас, но он всегда удивителен. Все, что я могу сказать, кроме слов благодарности, — это то, что я лишь одна из многих в труппе, в очень хорошей труппе, и что я бесконечно обязана, больше, чем я могу выразить, мистеру и миссис Ладлоу. — Все зааплодировали, по она продолжала стоять. — ...И нашему блестящему премьеру мистеру Джюлиану Нанье. — И под звуки новых аплодисментов она бросила Нанье одну из своих красных роз, которую он подхватил и поцеловал.

И тогда с Чиверелом случилось третье, самое потрясающее чудо. Он по-прежнему ясно видел Дженини, живую, как и секунду назад, но все прочие словно вдруг превратились в фигуры на старой пожелтевшей фотографии. Они не двигались, не производили ни звука. Давно минувшее мгновение внезапно замерло, время резко остановилось; только сама Дженини была высвобождена из этого мгновения, этого времени, и словно могла существовать в каком-то другом, таинственном измерении. Она рассеянно поглядела в сторону Чиверела и промолвила, обращаясь прямо к нему, но тихо и доверчиво:

— Вот видите ли, я должна была бросить ему розу. Бедняжка Джюлиан! У него был такой удрученный, такой тосклиwyй вид. Вокруг меня подняли столько шума, а про него совсем забыли. А мне хотелось, чтобы он тоже был счастлив. Ведь вы же понимаете?

— Это вы со мной говорите? — спросил Чиверел.

— Я говорю с кем-то, кто сейчас находится здесь и хочет понять меня, но кого и не было, когда все это произошло в первый раз.

— Что значит в первый раз?

— Ведь это все время повторяется. И всегда может возвратиться, если очень захочет, хотя в точности не повторяется никогда...

Но тут все вздрогнуло, вновь задвигалось и зазвучало, и Дженини заканчивала свою благодарственную речь:

— Итак, леди и джентльмены из Шекспировского общества, от имени всей труппы театра «Роял» я еще

раз благодарю вас. «*Милостивые мои государи, вы позабылись о том, чтобы актеров хорошо устроили*»*.

Она сделала легкий реверанс и села под долгие аплодисменты, остановленные в конце концов Огастасом Понсонби, который приказал мистеру Ладлоу обратиться к присутствующим с речью.

Мистер Ладлоу, чье лицо цветом напоминало королевский пурпур, тяжело поднялся с видом благороднейшего из римлян. Он, по-видимому, был пьян, но его манеры и слог прекрасно сочетались со спиртными напитками.

— Друзья мои, — начал он, слегка покачиваясь, — от глубины души я благодарю вас. Вы, продолжая цитату из «Гамлета», позабылись о нас не только здесь, в этот славный час пышного празднества, но и в самом театре. Я вижу вокруг себя множество знакомых лиц, и хоть я знаю, что вы мои повелители, а я ваш покорный слуга, вы позволите мне обратиться к вам как к своим друзьям. — Шекспировское общество зааплодировало, а миссис Ладлоу разразилась рыданиями, напоминающими извержение вулкана.

— Я много лет провел с вами, — продолжал мистер Ладлоу, — и как актер и как директор, и теперь, когда я оглядываюсь назад из этого быстротечного тысяча восемьсот сорок шестого года...

Но тут до Чиверела донесся какой-то страшный звук — звук в высшей степени неуместный, нелепый и все же новелльный и настойчивый.

— ...Бурного года, отмеченного многими раздорами дома и беспорядками за границей, — увлеченно говорил Ладлоу, — года, когда можно подумать, что театр перестанет владеть вниманием публики, поглощенной и обеспокоенными хлебными законами, чартистами, голодом в Ирландии, войнами в Мексике и Индии...

Это был телефон, и он звонил и звонил не переставая. Еще мгновение Ладлоу оставался на месте, шевеля губами и жестикулируя, но он был уже не более чем тающий на глазах призрак; в следующий миг он исчез, а вместе с ним исчезли и Дженнин, и весь банкет, все актеры, и члены Шекспировского общества, и осталась только Зеленая Комната с телефоном, который разрывался на столе. Чиверел уставился на него в недоумении.

* Перефразированные слова Гамлета: «Милостивый мой государь, не позабытесь ли вы о том, чтобы актеров хорошо устроили?» (Перевод М. Лозинского.)

Отли заглянул в комнату, и свет, брызнувший в открытую дверь, был непривычно ярким и резким.

— Звонят из Лондона, мистер Чиверел.

— Да, — ответил Чиверел с некоторым смущением. — Я думал... то есть я слышал звонок.

— Хорошо. — И резкий свет исчез вместе с ним.

Чиверел снял трубку осторожно, словно она только что была изобретена.

— Да, говорит лично мистер Чиверел. — И разумеется, его попросили подождать, как обычно бывает в таких случаях. Должно быть, телефону не понравилось, что он говорит лично. Пока он стоял, дожидаясь ответа, редкие клочки и обрывки сцены в гостинице «Белый олень» все еще мелькали в его сознании. И Дженини, конечно. Но сейчас не было времени думать о ней.

Отли, славный, услужливый малый, только, пожалуй, пересчур усердный, заглянул снова:

— Уже поговорили, мистер Чиверел?

— Они нашли меня, — проворчал он, — но потеряли тех.

— Моя секретарша может дождаться звонка...

— Нет, спасибо. Теперь уж лучше я сам дождусь. — Он провел свободной рукой по глазам жестом измученного и недоумевающего человека. Убрав руку, он увидел, что Отли, подойдя ближе, с любопытством смотрит на него.

— Не хочу быть назойливым, мистер Чиверел, но вы действительно здоровы?

У него было искушение ответить: «Дорогой Отли, я только что имел в высшей степени волнующую и интимную беседу с молодой женщиной, умершей сто лет назад». Но он сказал только:

— Не уверен.

— Я могу вам чем-нибудь помочь?

Да, мой славный, услужливый Отли, ты можешь объяснить мне тайны Времени, Бессмертия, Души, Снов, Галлюциаций и Видений, Творческого Разума, Личного и Коллективного Подсознательного. Но он просто ответил:

— Нет, благодарю вас, мистер Отли; я не думаю, что тут кто-нибудь чем-нибудь может помочь.

— Может быть, послать за доктором Кейвом? Он сказал мне, где он будет, — это тут рядом.

— Нет, спасибо, не беспокойтесь. Это случай не для доктора Кейва — сейчас, по крайней мере.

В телефоне снова что-то спросили.

— Да, — ответил он, — это мистер Чиверел, а я думаю, что мне звонит сэр Джордж Гэвин.

Отли вышел. Чиверел стал ждать Джорджа Гэвина и внезапно ощутил полную перемену настроения. Он опять был почти таким же, как прежде. Он снова стоял на земле. Думать ему не хотелось, но он был готов к разговору с Джорджем, несмотря на то, что теперь, пожалуй, сам не знал, какое он примет решение. Джордж Гэвин был богатый бизнесмен из Сити, плотный пожилой холостяк, исполнительный в делах, но павсегда околованный Театром, перед которым он робел и о котором был удивительно хорошо осведомлен, не в пример большинству состоятельных англичан: те часто покровительствуют Театру, не имея о нем ни малейшего представления. Для Джорджа Гэвина Театр стал и отдушиной и способом помещения капитала, и хотя Джордж не был театральным директором по профессии, он всегда занимался Театром самозабвенно и был хорошим партнером, в чем Чиверелу не однажды случалось убеждаться. Отношения их были самыми дружескими.

— Это ты, Джордж? Привет! Что это ты вдруг решил позвонить — стряслось что-нибудь?

Джордж отвечал, что звонит из ресторана, и добавил, что у Чиверела какой-то странный, не его голос.

— Очень может быть. Мне тут пришлось принять одно снадобье.

— Слушай, старик, — озабоченно заговорил Джордж, который всегда считал, что Чиверел сделан из более тонкого и чувствительного материала, чем он сам. — Я вижу, ты расклешен. Так с этим можно и подождать пару дней.

— Нет, нет, продолжай, Джордж.

— К концу месяца театры будут мои, — объявил Джордж. — Дело в шляпе, старик.

Чиверел ответил, что рад этому, и действительно был рад.

— Спасибо, старик, — сказал Джордж, тоже совершив искренне. — Я решил сразу сказать тебе, хоть ты там и занят. Поэтому что театры — вот они, и мое предложение остается в силе.

— Это очень великодушное предложение, Джордж,

я уже говорил тебе. И я страшно за него благодарен. — Он остановился.

— Но? — подсказал Джордж.

— Никаких «но». Просто-напросто я не знаю, что ответить. Сегодня, совсем еще недавно, я склонен был отказаться от твоего в высшей степени великодушного предложения, Джордж, просто потому, что чувствовал: с Театром у меня все кончено. Я сказал об этом Паулине Фрэзер и совершенно взбесил ее.

Джордж заметил, что теперь Чиверел говорит не так уверенно.

— Ты совершенно прав, Джордж. Но нельзя сказать, чтобы я изменил решение. Я просто не сумел еще ухватить за хвост свое решение, чтобы изменить его.

— Повтори-ка снова, старик, — попросил Джордж серьезно. И когда его просьба была исполнена, он спросил, не пьян ли Чиверел.

— За весь день не взял в рот ни капли. Но доктор дал мне лекарство, и я, видно, принял больше, чем следовало, а потом лег и задремал здесь в Зеленой Комнате. И... — И что? Мысль его отчаянно металась в поисках объяснения, которое не было бы бессовестной ложью и все же могло бы произвести по телефону впечатление на Джорджа Гэвина. — И... должно быть, мне что-то пригрезилось. Хотя не думаю, что я спал по-настоящему...

Джордж предположил, что это был сон наяву.

— Со мной такое часто бывает, старик, — прибавил он, — особенно сразу после ленча.

— Это было не сразу после ленча, — сказал Чиверел. — А для сна наяву это было слишком живо. Но что-то вроде сновидения — да, должно быть. — И едва он произнес это, как на него огромной серой глыбой обрушилось томительное ощущение пустоты и бесполезности, которое он испытывал во время разговора с Паулиной. Но теперь где-то внутри этого ощущения, как смутная боль, таилось горькое чувство утраты и раскаяния. И ему расхотелось говорить с Джорджем, и уже не имело значения, будут или не будут они вместе управлять театрами.

— Ты так говоришь, старик, словно тебя чем-то одурманили, — сказал Джордж сочувственно. — Не волнуйся из-за наших дел. У тебя и с пьесой хватит забот. Как она, кстати?

— Паулина и другие ворчат из-за третьего акта. —

Он замолчал. — Скажи, Джордж, там, рядом с тобой, никто не плачет?

— Что?

— Никто там не плачет?

— Здесь никогда никто не плачет, — сказал Джордж. — Это, наверное, у тебя.

— Я тоже так думаю, — печально сказал Чиверел.

— Ну вот что, старик, надо тебе последить за собой, не то мы все скоро заплачим. Но ты позвони мне насчет этого предложения, когда сможешь.

— Спасибо, Джордж, непременно. Может быть, даже еще сегодня.

— Я сегодня буду дома довольно рано. Или звони завтра в контору. И успокойся, не воображай, что за тобой гонятся привидения из этого старого сарая.

— Интересно, почему ты это сказал, Джордж? — серьезно спросил Чиверел.

— Да Паулина что-то такое говорила. Ну, всего, старик.

Отняв трубку от уха, Чиверел удивленно на нее посмотрел и, прояdeе чем положить на рычаг, подержал в руке, словно взвешивая.

12

Теперь, разумеется, не слышно было никакого плача. Да и откуда? Не будь иднотом, — сказал он себе. Единственное, что оставалось делать, это вернуться в кресло и по-настоящему отдохнуть перед репетицией. Он закрыл глаза. Он был один на темном материке страдания. Он не мог заснуть и не мог заставить себя открыть глаза и окончательно проснуться. Он возмутился бы, если б его потревожили, и в то же время ему было тошно сидеть одному. Уж лучше умереть и покончить со всем этим.

И тут он снова услышал ее плач, на этот раз совершенно явственно.

Еще не открыв глаз, он сразу понял, что она здесь, в комнате. Но вначале он не мог разглядеть ее — легкую тень среди мрака. Не было ни стоявшего света, ни густого янтарного сияния, идущего ипоткуда. Ее сдавленные всхлипывания слышались достаточно ясно, но сама она в этой темноте была всего лишь слабо фосфоресцирующей прозрачностью, смутной игрой теней.

— Дженини, — тихо позвал он. — Дженини Вильерс! Ты слышишь меня?

Сейчас он готов был поклясться, что она смотрит в его сторону, и пока он взглядался до боли в глазах, ему стало казаться, что лицо ее выражает недоумение. Он больше ничего не говорил, чувствуя, что, если он произнесет хоть слово, она может исчезнуть совсем.

Но вот свет опять появился, и это была Зеленая Комната сто лет назад. Дженини была все в том же простом коричневом платье, и вид у нее был такой же несчастный, как и голос. Это не была сияющая Дженини с ужина в гостинице «Белый олень». Пока он говорил с Джорджем Гэвином, несколько страниц было перевернуто, и теперь начиналась последняя глава. Времени оставалось немного; это было написано на ее исхудавшем лице; и сердце его рванулось к ней.

Неожиданно появился Кеттл, еще более изможденный и неряшливый, чем всегда; он голубым взглядом впился в Дженини и тут же повернулся, чтобы уйти. Его поноженная черная одежда, казалось, покрыта была могильной плесенью. Словно сама смерть подкралась взглянуть на нее.

Она увидела его.

— Уолтер! — Ему пришлось обернуться. — Что случилось?

— Ничего, — ответил он жестко.

Она готова была снова заплакать.

— Я же вижу.

— А почему должно было что-то случиться? — спросил он, безжалостный в своей любви и отчаянии.

— Потому что мы были такими хорошими друзьями, — сказала она. — Ты был так добр ко мне и столько мне помогал, когда я пришла сюда, а теперь ты стал сердитым и злым, точно я тебя обидела. — Она дала ему время ответить, но он молчал, и она робко продолжала: — Я тебя обидела, Уолтер? Если да, прости меня. Я никогда этого не хотела.

— Не обращай на меня внимания, — сказал он, и презрение к самому себе звучало в каждом его слове. — Я здесь долго не пробуду. Не знаю даже, что куже — видеть тебя счастливой, какой ты была вначале с этим тщеславным болваном Напье, или сейчас, когда он сделал тебя несчастной...

— Нет, пожалуйста, не говори так, Уолтер. Это неправда. Если я и несчастна, то он тут не виноват...

— Кто-то же виноват, — сказал он мрачно, не глядя на нее. — И трудно вообразить, кто б это мог быть еще.

— Скажи мне — я давно хотела спросить, а ты единственный, кого я могу спросить. Я не кажусь несчастной, когда я на сцене, нет? Там это незаметно?

Теперь он взглянул на нее.

— Нет, слава богу! Да неужели ты не видишь, неужели не чувствуешь, как я наблюдаю за тобой из своего угла? На сцене ты прежняя — огни сияют, знамена развеваются. Но чуть только падает занавес, ты изнемогаешь и никак не можешь...

Она сумела улыбнуться.

— Не правда, Уолтер. Я не изнемогаю и не пыкину. Ты просто придумываешь. Уолтер, милый Уолтер, будем друзьями. Мне нужны друзья!

Он взял руку, которую она ему протянула, и поцеловал ее с такой страстью, что Дженини даже отшатнула. С минуту он смотрел на нее темными провалами глаз, а затем, не прибавив ни слова, резко повернулся и исчез среди теней. Она сделала движение, словно желая его остановить, хотела что-то сказать, но удержалась, с трудом сохранив самообладание. Чиверел болезненно ощущал ее отчаяние, пахнувшее на него черным потоком. Он знал также, сам не понимая, как и почему (если, конечно, она сама и все эти сцены не были созданием его собственной фантазии), что дуриные вести, все то, чего она втайне страшилась, уже неслось ей навстречу.

Всё же следующие несколько минут сцена была освещена, потому что в компанию вошли под руку старый актер Джон Стоукс и комик Сэм Мун, оба в огромных кастроровых шляпах. Они заботливо и тревожно посмотрели на нее и ловко сняли шляпы с головы друг у друга.

— Ваш слуга, сударыня! — вскричали они дуэтом.

Дженини улыбнулась.

— Накройтесь, господа! — сказала она, изображая молодую герцогиню из какой-то старинной пьесы.

Сэм Мун дотронулся указательным пальцем до ее щеки и лизнул кончик пальца.

— Слишком солено.

— На мокром месте? — спросил Стоукс, укоризненно посмотрев на нее.

Дженини покачала головой.

— Поговорим о чем-нибудь другом.

Мун подмигнул.

— Знаешь, Джон, — сказал он, взвигивая и похрюкивая (очевидно, таким голосом он говорил на сцене), — бывало, я чертовски здорово обедал тушеною говядиной на Друри-лейн за три с половиной пенса. А уж за шесть тебя кормили как лорда.

— С этим сейчас тоже худо, — сказал Стоукс. — Все вздорожало, и актеры в том числе.

— А актрисы? — весело спросила Дженини.

— Да их и нет вовсе.

Дженини искрепне возмутилась:

— Как? Джон Стоукс, вы имеете наглость...

— Нет, нет, сударыня, — сказал Стоукс полупутя-полусерьезно. — Я не говорю, что у вас нет задатков актрисы, и притом весьма хорошей, но вам нужно по меньшей мере еще лет пятнадцать, чтобы образоваться в то, что мы называем актрисой...

Ее иснуг был не совсем притворным.

— Пятнадцать лет! Как много...

Мун остановил ее.

— Нет, вовсе не много. Ты удивишься — верно, Джон, она удивится...

— Однажды утром вы отынетесь, — произнес Стоукс с неподдельной грустью, — а их...

— И след простыл! — Но это были уже слова миссис Ладлоу, которая влетела на всех парусах, дрожа от гнева, или от волнения, или от другого столь же сильного чувства. — И след простыл! — повторила она душераздирающим голосом. Позади нее стояла Сара и еще одна молодая актриса.

Дженини тревожно посмотрела на них.

— Что?

— Кого след простыл? — вскричал Стоукс.

— Не говорила ли я, что этот негодяй Варли, приезжавший к нам на прошлой неделе, — возопила миссис Ладлоу, — должно быть, рыщет повсюду в поисках актеров для миссис Брогэм, у которой теперь патент на владение театром «Олимпик»? Не говорила ли я, девушки? И не будь я Фэнни Ладлоу, если бы не дебютирует в «Олимпике» через неделю, считая от сегодняшнего дня, как только они отпечатают и расклейт афиши. Мы с мистером Ладлоу распрощались с «Олимпиком», когда патент

был у мадам Вестрис. «Больше сюда ни ногой», — сказала я мистеру Ладлоу...

— Но кого же след простыл? — спросил Стоукс.

— Не сказавши ни слова... даже не простился. Небось два вечера просидел с этим Варли, все требовал ролей, торговался из-за жалованья и рекламы.

— Но кто же, кто?

— Да Джуллан Напье, конечно. Кто же еще? — Она взглянула на Дженини. — Дитя мое, ты бледна, как привидение.

— Разве? — спросила Дженини. Она попыталась улыбнуться и упала без чувств. Мгновенно свет и краски начали тускнеть, комнату заволокло бурым сумраком, и все фигуры теперь выглядели так, словно сошли со старой сени.

— Мужчины, — команда миссис Ладлоу прозвучала уже гораздо тише, — прите воды и рюмку бренди да возьмите у Агнес мою нюхательную соль.

Он различал теперь только трех женщин, склонившихся над Дженини. Он слышал их голоса — легкий дрожащий ишот.

— Распустите шнуровку! И там тоже!

— Миссис Ладлоу, мне кажется... — потрясенно сказала девушка.

— Помолчи, Сара. Теперь я понимаю. И понимаю, почему Джуллан Напье бежал так поспешно.

— Вы думаете, она сказала ему?

— Нет, она не скажет. Он догадался и пустился наутек. Лондонский апгреймент — и прощай все заботы. Но теперь, когда мы остались без них обоих, что я скажу мистеру Ладлоу?

Три женщины, склонившиеся над неподвижной фигурой, медленно расположились ключьями дыма. Но когда дым рассеялся и затихли последние звуки невнятного бормотания, Чиверел почувствовал, что исчезла и Зеленая Комната. Он снова был где-то снаружи, в городе или над городом, но понять что-либо было невозможно, словно кто-то быстро прокручивал старый, истертый фильм. Время скакало, размыв и перемешав все видения и звуки, призрачные и легкие. Но у него возникло ощущение дождя, холодного черного дождя на узких улочках, и вместе с ним — мучительное чувство беспокойства. Пропала, пропала павсегда, стинула в этом мерцании времени, в холодной жути дождя!

Все успокаивалось. Появилось сияние, похожее на зарево далекого ночного пожара. Послышались звуки, которые постепенно превратились в слова. Свет камина и ламп играл на бутылках и пивных кружках. Это был снова уютный уголок уже знакомой таверны, на сей раз поздним вечером, и тот же хозяин стоял, опираясь на стойку, и тот же потрепанного вида журналист разговаривал с Ладлоу.

— Ваше здоровье, мистер Ладлоу!

— Ваше здоровье. Хотя не будь врачебного предписания, я бы едва ли притронулся к этому, — сказал Ладлоу мрачно. — Душа, можно сказать, не принимает. Так вы говорите, что некоторые зрители выражают неудовольствие...

— К сожалению, да, мистер Ладлоу, — сказал журналист. — Мы, собственно, получили всего два письма, но я подумал, что, прежде чем их печатать, надобно предупредить вас.

— Очень любезно с вашей стороны. Еще по стаканчику, Джордж. Нет, я вас спрашиваю! — вскричал Ладлоу, охваченный внезапной вспышкой ярости и отчаяния. — Я вас спрашиваю: что может сделать человек? Все произошло в один миг — без предупреждения, без извинения. Нашье — разорвав контракт, заметьте — бежит в Лондон...

— Где, как я слышал, он имеет большой успех в «Олимпике», — вставил журналист.

— Возможно, возможно, тамошняя публика никогда не была особенно взыскательной. — Ладлоу одним нетерпеливым взмахом руки вынес приговор этой публике и, снова погрузившись в отчаяние, продолжал: — Когда он уехал, мисс Вильерс, на которой я строил весь репертуар, тотчас же слегла. От горя — вообразите себе: быть покинутой вот так, а ведь она была его женой, только что не звалась ею, — ее незддоровье усугубляется... и... вы, наверное, слышали...

— Да, — ответил журналист таинственным и не оставляющим сомнений в его осведомленности топом. — Я подумал тогда, что ей лучше было бы, может быть...

— Да, я тоже подумал. Но после этого она не только не поправляется, но становится все хуже, слабеет с каж-

дым днем. Доктор перепробовал все средства, но безуспешно, безуспешно.

— Чахотка?

— Да. Она медленно угасает, — сказал Ладлоу с искренним огорчением и все же с каким-то удовольствием. — И все в труппе знают об этом, толкуют об этом, удручены этим. Так что же остается делать человеку, сэр? Я вас спрашиваю, чтоб?

— Ничего. Выпейте еще. Повторить, Джордж.

Откуда-то возник Кеттл, вымокший до нитки, измученный и отчаявшийся. Чиверел ощущал страдание Кеттла как собственную боль. Каким-то странным образом — он так и не понял этого ни тогда, ни впоследствии — с появлением Кеттла эта картина перестала быть просто театральным зрелищем и сделалась потрясающе живой, она надрывала ему душу и сокрушала сердце. Свое сочувствие Дженини он еще мог понять, если бы не постигал полностью всех его таинственных аспектов. Красивая обреченная девушка, впервые пробудившая его воображение; именно она как в сказке показала ему картины минувших лет; кто знает, чем она была: мечтой, освещенной его собственной, никому не пригодившейся нежностью и омраченной его печалью; улыбающейся волшебной маской подлинной Дженини Вильерс; или воплощением Театра, который, коль скоро он, Чиверел, не пожелал его видеть, теперь входил в маленькую темную дверь артистического подъезда где-то в дальних закоулках его сознания, приняв такое иррадиантное и жалостное обличье. Но к чему здесь этот человек, этот Уолтер Кеттл, эта тощая черная гротескная фигура?..

— Меня к ней не пустили, — с горечью говорил Кеттл. — Ей, видно, хуже. А этот старый олух доктор ничего не сказал. Я его дождался, хотел поговорить. Но зря. Он не соображает, ни что он делает, ни где находится. — Кеттл взял стакан у хозяина и проглотил его содержимое, не разбавляя, одним судорожным глотком.

— Ни где находится бедная мисс Вильерс? — сказал журналист; он хотел прибавить еще что-то, но Ладлоу тронул его за руку.

Кеттл взглянул куда-то сквозь него.

— Я знаю, где она. Она у порога смерти. Странно звучит, если вдуматься. У порога смерти, — повторил он медленно.

— Уолтер, мальчик мой, — вскричал Ладлоу, — так

дело не пойдет! Ты насквозь вымок и дрожишь. Ты свалишься следующим.

— Только не я, — сказал Кеттл презрительно. — И не горло раны времени. Наш городишко сегодня точно кладбище. Мне все казалось, что мы тут давно уже пермерли, только позабыли об этом. А доктор — просто-напросто старый жирный покойник, которого воскресили из ошибке. Еще стаканчик, Джордж.

— А-га! — сказал хозяин, на этот раз чуть слышно.

— Пей до дна, — сказал Ладлоу, — да беги бегом к себе на квартиру и ложись в постель. Ты сам болен.

Кетта рассмеялся сухим, каким-то бескровным, скрежещущим смехом.

— Еще бы, конечно, болен. Мы все больны. Ты — своими размалеванными рожами и намалеванными декорациями. Этот вот малый — тем пустозвонным враньем, которое он печатает. Болен даже Джордж, который поит нас своей отравой, чтобы мы поменьше замечали мерзостей на пути к могиле. Вот куда мы все идем, джентльмены. Приятного путешествия!

Чиверел чувствовал, что вместе с Кеттлом выходит в дождь и тьму; освещенный уголок таверны задуло, как пламя свечи. Ни улиц, ни домов — только ночь, холодный дождь и страдание. Навсегда закатилось солнце и все наше счастье. И ад вовсе не где-то в ином мире: он тут, в этой мокрой черной ночи, и уходящая надежда превращает каждый шаг в тысячу лет ада. Потом появилось смутное видение: высоко на углу висит желтый масляный фонарь; Кеттл, больной от горя, весь день ничего не евший и едва держащийся на ногах после спиртного, прислонился к тускло освещенной стене; какой-то полицейский в высокой шапке с ворчанием уставился на него; Кеттл, спотыкаясь, бежит прочь во тьму, шлепая по лужам, скользя по грязи, жалая жизни, любви, искусства и славы и все же ища смерти. И это не Мартин Чиверел, который спокойно принимал столь многое и верил в столь немногое, который никогда не был поденщиком в плохоньком старом театре, голодным и полумертвым от усталости; никогда не сгорал дотла в огне безрассудной страсти, никогда не думал и не чувствовал, как человек сороковых годов прошлого века, — а тот несчастный глуповатый загробный дух, Уолтер Кеттл. И все же в эти таинственные мгновения Мартин Чиверел думал и чувствовал, как Кеттл, сострадал ему, как никогда не со-

страдал ни одному из созданий своей фантазии, и даже начал замечать, что какие-то перемены происходят в нем самом...

14

Пустота. Ни театра «Роял», ни таверны, ни Уолтера Кеттла, ни плетей дождя на улицах старого Бартона-Спа. Тревожная тьма могла по-прежнему быть почью столетней давности или просто краем сна. Что это, конец? А если нет, то где же Дженини Вильерс? Он произнес ее имя несколько раз, с каждым разом все настойчивее, и не удивился тому, что произносит его вслух, словно обращаясь к самой Зеленой Комнате, к высокому стеклянному шкафу, акварельному наброску, книжечке, к фехтовальной перчатке.

Ее голос, когда он прозвучал, был слабым и спокойным, он доносился словно бы ниоткуда — тихий голос из призрачного сумрака. Она сказала:

— Умирать было так одиноко.

— Одиноко? — Он повторил это слово как эхо.

— Да, очень, — сказала она медленно и просто, словно голосу, отделившемуся от тела, полагается быть терпеливым со своими слушателями. — Все были так далеко. Это был самый одинокий миг моей жизни.

— Тебе было страшно? — тихо спросил он.

— Нет. Я слишком устала, чтобы чувствовать страх. Было одиноко и ужасно грустно — до самого конца.

— До самого конца? — Действительно ли он задал вопрос или просто подумал? — После стольких недель где-то в унылой маленькой задней комнате, вдали от огней, музыки и аплодисментов, одинокая и печальная... исхудавшие руки и впалые щеки... огромные горящие глаза и светлые волосы... что же было потом, родная моя?

Никакого ответа. Ни звука. Неужели все кончено? Этого он не мог допустить. Он вскочил на ноги с отчаянным криком:

— Дженини, если в самом конце было лучше... не так безнадежно и грустно... я должен знать! Дай мне взглянуть! Дай мне послушать! Дженини, что тогда было? Ты слышишь меня?

Две оплавившие свечи освещали маленькую спальню, отбрасывая огромные тени. Дженини сидела с распущенными волосами, опершись о гору подушек, она исхудала

и была очень бледна. Дородная старая сиделка — сама иссего лишь толстая тень — пристроилась возле кровати. Дождь печально и монотонно барабанил по крыше.

Дженни указала на свечи.

— Знаете, как мы их называем?

— Знаю, милая. Свечки. Как же еще?

— Нет, не просто свечки. Сейчас-то да, а вот когда воск весь сбежит по бокам — жирный белый воск, бежит и капает, — тогда мы зовем их саванами. Правда, похоже?

— Не надо так говорить, голубушка. Потерпи немножко, и тебе скоро-скоренько полегчает. Ты ведь хочешь снова играть в театре?

— Еще бы! — Дженнни встрепенулась. — Который теперь час? Мне нельзя опаздывать. Я должна одеваться. Почему я тут лежу?

Сиделка наклонилась, чтобы удержать ее.

— Ну-ну, милая, сегодня-то еще нельзя. Тебе так нездоровится, да и поздно уже как-никак.

— Да, уже поздно, — пробормотала Дженнни. — Уже слишком поздно... «Покойной ночи, леди, покойной ночи, дорогие леди... Покойной ночи... покойной ночи...» * — Ее голос замер, но тут же она услышала что-то поразившее ее и подняла руку: — Слушайте: что это за шум?

— Это дождик, милая, — сказала сиделка. — Западный ветер нагнал дождя к ночи.

— «Хей-хо, и дождь и ветер...» ** Это тоже грустно. Не знаю почему, но так уж оно выходит. А ему того и надо. «Да не все ль равно, пьеса сыграна давно...» ** Хочет притвориться, будто не грустно, будто ему ни до чего нет дела, и все равно грустно. Мне всегда плакать хочется.

— Не плачь, милая. Пожалей свою головушку.

Но Дженнни снова забеспокоилась.

— Нет... нет... я должна. А времени мало... Ну и что ж, если поздно, Сара? Я знаю, что ты устала, но я должна повторить это еще раз. «У вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной...»

Когда она в изнеможении откинулась на подушки, рядом с кроватью возникла высокая фигура, чей рост еще более подчеркивался длинным черным плащом — точно

* «Гамлет». Перевод Б. Пастернака.

** «Двенадцатая ночь».

явились наконец сама Смерть. Доктор, которого будто специально вывели на сцену, чтобы заполнить пустое пространство, занял свое место с какой-то мрачной эффективностью; теперь эта меланхоличная, выдержанная в приглушенных тонах картина была закончена и могла бы считаться вершиной академической живописи того времени. А умирающая девушка со спутанными блекнувшими волосами, впалыми щеками, с глазами, сверкающими горячечным блеском, — то была не сама Дженнин, но актриса мисс Вильерс в ее последней великой роли. И может быть, сам Уолтер Кеттл был здесь режиссером, и он же набросал подобающий слушаю диалог.

— Она гаснет на глазах, доктор, — прошептала спедлка. — И опять бредит, бедняжка.

Дженнин широко открыла глаза и с усилием улыбнулась доктору.

— Мисс Вильерс, — сказал он тихо.

Она тряхнула головой, как ребекок.

— Вы совсем замучились со мною, доктор.

— Нет, нисколько, мисс Вильерс.

— Совсем замучились... А где нянишка?.. Ушла?

— Да что ты, господь с тобой, вот я, здесь!

— Я вас не вижу, — сказала она вяло. — Темпо...

Почему так темпо? И что это за шум?

— Это дождик, милая.

— Нет, нет, послушайте. — И Дженнин, в последний раз собравшись с силами, села на кровати.

И Чиверел вдруг тоже услышал далекую музыку, приглушенные аплодисменты и молодой голос, который все приближался и звал: «Увертюра! Участники первого акта, на сцену, на сцену!»

— Мой выход, — сказала Дженнин с торжествующей улыбкой, — мой выход! — Она упала на подушки, и тут же черный ветер с воем ворвался из необъятной тьмы, и вся сцена сразу высохла и поблекла, как поблек бы зеленый лист, если бы целую осень втиснули в одно мгновение; и, как лист с дерева, ее унесло прочь. И снова была пустота.

15

Вот и все. Занавес. Конец. Сам не зная как, он привел в действие странный механизм этого вечера, вспомнив строчку из справочника: Дженнин Вильерс, актриса, умерла 15 ноября 1846 года в возрасте 24 лет. И теперь

все кончилось; больше ничего не могло быть. Он снова услышал спокойный голос Отли: «Дженни Вильерс приехала сюда из Норфолка и стала играть главные роли. Влюбилась в здешнего первого любовника Джуллиана Напье, но тот внезапно оставил труппу ради ангажемента в Лондон. Она заболела и умерла. Напье ненамного пережил ее. Он уехал в Нью-Йорк, запил и вскоре покончил с собой. Вот, собственно, что там сказано». Это был благоразумный голос истории и здравого смысла. Дженни Вильерс вчера, Мартин Чиверел сегодня; и каждый год первое дуновение зимы сметает с деревьев остатки их увядшего золота — что же особенного в том, что и маленькую сценку у смертного одра унесло прочь, как опавший лист.

И все же в середине своей речи на ужице в «Белом олене» она остановилась и сказала ему удивительные слова. Впрочем, тогда это скорее всего была сложная игра его собственного воображения. Ведь никакой Дженни Вильерс, говорившей с ним из другого времени, явно не могло быть, и, несомненно, он говорил сам с собой, а потому здесь все еще оставалась какая-то тайна. Кто же наконец предстал ему в образе давним-давно умершей актрисы и попытался воздействовать на его ум таким необычным способом? И что за неведомый источник вновь обретенного величества — энергии, вдохновения, восторга — открылся в нем в этот миг? Он увидел тогда родник, сверкающий в пустыне, — почему же он не видит его теперь?

Быстрая химическая реакция в крови, решил он, вспомнив таблетки доктора Кейва. Ведь он принял четыре вместо двух, и эти таблетки и химические процессы, которые смогли пробудить театральные фантазии в каком-то уголке его мозга, разумеется, сыграли тут немалую роль. Прежнее сухое утомление быстро возвращалось, и вокруг опять простерлась пустыня, усеянная древними белыми костями. Он открыл глаза и обвел внимательным взглядом Зеленую Комнату: да, вне всякого сомнения, это была единственная в своем роде Зеленая Комната в Бартона-Спа, в театре «Роял», которыйостоял закрытым всю неделю, но должен открыться в понедельник (*По специальному приглашению! Контрамарки не выдаются!*) долгожданной премьерой «Стеклянной двери» Мартина Чиверела с полным вест-эндским составом исполнителей. Теперь комната спокойно стояла на своем месте в колесе

времени. Это были заурядные Здесь и Сейчас. Вполне резонно, согласился он, так оно и должно быть. Но едва он снова закрыл глаза, у него вырвался глубокий вздох, почти стон.

Ему отозвался эхом вздох еще более глубокий, еще болыше походивший на стон, но слегка аффектированный, театральный, и человек в черном, шедший по темному коридору, обернувшись, принял от другого едва различимого человека пачку писем и записок. Затем отворилась дверь в залитую светом комнату, и тот в черном, попав в раму дверного проема, оказался Гамлетом, принцем Датским. Гамлет что-то ворчал, впрочем, без малейшего призыва подлинного неудовольствия, ибо после спектакля дамы забросали его записками с изъявлениями восторга и даже памеками на возможность тайных свиданий.

Уборная ничем не напоминала скромной уютной комнатки Дженнинг в театре «Ройял» в Бартон-Спа. Она предназначалась для премьера лондонского театра «Олимпик». На столе нестремли цветы в вазах и сверкали хрустальные графины, а над ним висело роскошное, ярко освещенное большое зеркало. Ковер, софа и стулья были темно-малинового цвета. И Джюлиан Нанье в костюме Гамлета, поверх которого он теперь набросил широкий шелковый халат, был очень красив и импозантен, как и подобает настоящему лондонскому премьеру. Он улыбался, что-то весело мурлыкал и явно был в восторге от самого себя и от всего мира. Он высыпал письма и записки на стол, налил себе персидскую порцию бренди и уселся перед зеркалом, собираясь разглаживатьсь. В дверь постучали.

Винедиций был толстяк средних лет, длинноволосый, с желтоватым лицом и иссиня-черной козлиной бородкой. Держался он подчеркнуто торжественно, смотрел холодным пристальным взглядом, говорил в нос, растягивая слова, — словом, это был настоящий яники старых времен.

— Мистер Джюлиан Нанье, — важно начал он.

— Да, сэр, — надменно отвечал Нанье. — А вы кто?

— Джекоб Дж. Манглс, сэр, из Нью-Йорка, — отвечал тот, доставая визитную карточку. — Отлично известен миссис Брогэм и всем ведущим импресарио Лондона, мистер Нанье.

— Вы были на спектакле, мистер Манглс?

— Имел удовольствие, мистер Нанье, и должен вас поздравить с прекрасным исполнением Благородного Дат-

чанина. Чрезвычайно ловко сыграно, мистер Напье.

— Благодарю вас, мистер Манглс. Выпьете со мной?

— Не теперь, сэр, благодарю вас, мой друг миссис Брогэм ожидает меня в своем кабинете. Но хочу вам сказать, мистер Напье, что для вас уже приготовлена целая куча долларов и двести тысяч наших лучших граждан мечтают о том дне, когда Джекоб Дж. Манглс даст им возможность увидеть вас в роли Гамлета и во всех ролях, которые вам желательно будет сыграть на Бродвее или где-либо в другом месте. Ваши условия, мистер Напье?

Напье улыбнулся.

— Это очень любезно с вашей стороны, мистер Манглс. Но пока что у меня нет желания отправиться в Америку.

Мистер Манглс посмотрел на часы.

— Я не могу заставлять женщину ждать, мистер Напье, но позже, если вы еще будете в театре...

— Я приглашен на ужин, мистер Манглс, и я тоже не люблю заставлять женщину ждать...

— Менее чем через четверть часа, мистер Напье, я расскажу вам о своем предложении, и вы будете бесконечно поражены его щедростью; речь идет о сезоне в моем нью-йоркском театре.

— Едва ли мои намерения изменятся в ближайшие десять минут... однако...

— Слушались и более странные вещи, мистер Напье. С вашего разрешения я все же рискну. — И он вышел.

Напье развеселился. Сделав новый глоток бренди, он начал снимать грим и целиком погрузился в это занятие. Он стирал последние следы краски со своего мрачного красивого лица, когда в уборную без стука ворвался следующий посетитель. Это был Уолтер Кеттл, еще более возбужденный и измученный, чем обычно, и похожий на пугало.

— Уолтер Кеттл! — Напье был поражен. — Ты-то для чего в Лондоне? Ушел наконец от старика Ладлоу?

— Она умерла, Напье! — вскричал Кеттл, с трудом переводя дыхание. — И это ты убил ее!

Напье поднялся и стоял, возвышаясь над ним.

— О чём ты говоришь? Кто умер?

— Дженини умерла.

— Дженини Вильерс?

— Да, да, да, умерла, умерла! — Кеттл словно обезумел. Он вцепился в Напье, свирепо глядя на него, и

кричал: — Мы хороним ее послезавтра. И клянусь богом, Напье, это ты убил ее, ты и больше никто, убил так же верно, как если бы всадил ей пулю в сердце. Ты убил ее...

— Пусти, дурак, — зарычал Напье, — или я сломаю тебе руку. — Он отшвырнул Кеттла так, что тот пролетел через всю комнату. Упавший и обессиленный, Кеттл прислонился к стене. — Что случилось? Я даже не знал, что она болела. Болела она?

— Да, — пробормотал Кеттл. — Это началось в то утро, когда она узнала, что ты сбежал от нас. — Он дышал с трудом, словно каждый вздох причинял ему боль.

— Ну? — нетерпеливо спросил Напье.

— Она ждала ребенка, ты знаешь.

— Откуда мне знать? Она ничего не говорила.

Кеттл не взглянул на него.

— Она избавилась от ребенка. Но лучше ей не стало. Да она и не хотела поправиться. Твое бегство прикончило ее. Ты убил ее, Напье. И покуда я жив, я не дам тебе забыть этого. — Но в его угрозе не чувствовалось ни силы, ни настоящей ярости.

— Забыть? Ты думаешь, я нуждаюсь в твоих напоминаниях?

— Нуждаешься или нет, а я буду тебе напоминать. — Теперь Кеттл поднял на него глаза.

От этого взгляда Напье сорвался с места и в два прыжка оказался рядом с Кеттлом.

— Не смей говорить со мной таким тоном, Кеттл. А то смотри, как бы я не затолкал тебе все твои слова обратно в глотку. Я играл с ней на сцене. Я любил ее. Я жил с ней. Запомни это.

— И бросил ее.

Удивительно, до чего этот диалог, хоть и переполненный неподдельной яростью, напоминал тот Театр, который оба они знали так хорошо. Оба оставались сами собой, притом едва собой владели, и все же возникало впечатление, что они разыгрывают спектакль, что и сама эта уборная находится на сцене какого-то таинственного огромного театра.

— Я бросил ее, — сказал Напье теперь осторожно, словно ему надо было оправдаться перед самим собой не меньше, чем перед Кеттлом, — потому что хотел получить этот лондонский ангажемент. Нельзя было упускать такой случай, а я знал, что рассказки я ей, она уговорила

бы меня отказаться, подождать, пока нам предложат двойной ангажемент. Вы все знали, где я, и когда она не стала мне писать, я решил, что она рассердилась... несомненно, она имела право сердиться... и что со мной у нее все кончено...

— Она была слишком горда, чтобы писать...

— Да, да, я понимаю, — нетерпеливо перебил Напье. — Можешь мне не объяснять, какова она. — Помолчав, он спросил: — Как она умерла?

— Ужасно. — Кеттл был очень мрачен. — Жизнь уходила из нее по капле.

— Замолчи, — вдруг в бешенстве закричал Напье, — не то я...

— Я думал, что ты хочешь знать.

— Ладно, — сказал Напье, — теперь я не хочу знать. — Он снова вскипал. — Проваливай! — Кеттл не шевельнулся, и тогда он снова крикнул: — Проваливай и оставь меня в покое! — Он круто повернулся и с маху сел на стул лицом к зеркалу.

Кеттл медленно пошел к двери и у двери обернулся.

— Желаю удачи в славной карьере, Напье, — сказал он тихо. — Она тебе здорово пригодится. — И вышел.

Напье одним глотком допил бренди, торопливо налил себе новую порцию, большие прежней, и вскоре проглотил и ее. Он приступил к третьей порции и был уже изрядно пьян, когда вернулся мистер Манглс.

— Итак, мистер Напье, на случай, если вас может заинтересовать мое предложение...

Напье вскочил и впился в него глазами:

— Да, да. Вы хотите, чтобы я играл для вас и для ваших тысяч лучших граждан...

— Разумеется, мистер Напье.

— Гамлета, Макбета, Отелло...

— Все великие роли, мистер Напье.

Голос Напье понизился до странного шепота:

— По рукам, мистер Манглс. Они у меня все понадают со стульев. Клянусь богом, я нарисую им такую картину страха, ужаса и угрызений совести, что она будет преследовать их каждую ночь. Выпьем, мистер Манглс, выпьем, а?

— Ну что ж, — сказал мистер Манглс, улыбаясь, — немного я, пожалуй, выпью.

— Немного? — вскричал Напье, наполняя бокалы. — Вот, пейте! За мое появление на вашем Бродве...

— С удовольствием, сэр. В вас есть блеск, который придется по вкусу моим согражданам, мистер Напье.

Теперь Напье захмелел окончательно.

— Вы находите? Ну что ж, посмотрим.

— Теперь, сэр, что касается условий...

— К черту условия! Поговорим завтра. Сейчас я не в настроении обсуждать условия. — И, уставив трясущийся палец в посетителя, он продекламировал с пьяной страстью:

Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев,
И вся любовь их — не чета моей *.

И запустил бокалом в степу.

Мистер Мангис понимал толк в зрелищах.

— Превосходно, мистер Напье. Наша публика, сэр, романтична и набожна...

— Тогда, клянусь небом, мистер Мангис, — вскричал Напье как безумный, — мне надоменно спросить с вас побольше, а вам — поднять цены, если уж мы решим быть и романтичными и набожными сразу. Нет, нет, мистер Мангис, — прибавил он, видя, что тот пытается что-то вставить, — завтра, завтра, поговорим завтра...

Он бросился на стул возле гримировального столика, уронил голову на руки и зарыдал сухо и сдавленно. Мистер Мангис метнул на него проницательный взгляд, поставил свой бокал и бесшумно вышел. Напье, ничего не видя, неподвижно сидел перед зеркалом.

Свет стал меркнуть. Чиверел подумал: «Так вот как это было. Жаль. И знала ли она — могла ли она знать, что стало с тобой, мой друг?»

Теперь перед ним был лишь бледный призрак этой сцены, но он еще различал Напье, уронившего голову на руки среди коробочек с гримом, мелкой бутафории, писем и графинов, и зеркало, слабо мерцавшее перед ним. Потом ему показалось, что в глубине зеркала возникло какое-то белое пятно... лицо... искаженное горем, Дженини Вильерс...

Это, несомненно, спела была Зеленая Комната. Но Зеленая Комната теперь или тогда? Тут ли два стеклянных шкафа и портреты на стенах? И на месте ли другая дверь,

* В. Шекспир, Гамлет. Перевод Б. Пастернака.

та, что исчезла за сто лет, прошедших после 1846 года? Бурый сумрак стал гуще и плотней, чем когда-либо, он напоминал темный туман. Чиверел не знал, что делать. Если сосредоточиться слишкомспешно, вооружившись острым скальпелем сознания, все может внезапно исчезнуть раз и навсегда, он окажется узником настоящего, и тогда ничего не останется, кроме портрета, перчатки, имени да скучных, мелких биографических фактов. Но если он позволит своему вниманию заблудиться в буром тумане времени, он может никогда больше ее не встретить. Наступал самый важный момент, все осталось было лишь подготовкой к нему. Дженини! Крик вырвался из глубины его сердца, и все равно, была ли то живая девушка, избежавшая смерти и освободившаяся из плена своего времени, или просто плод его воображения. Где она? Дженини Вильерс!

Ни звука. Ни проблеска света в сумраке. Ничего, кроме смутного ощущения, что Зеленая Комната по-прежнему здесь. Сейчас он был не просто утомлен; его захлестнула огромная холодная волна страдания, которое вскоре могло стать острой болью. Если он потерял ее, если это конец всего, тогда лучше бы ему было умереть час назад в этом кресле.

— Дженини! — кричал он упрямо и настойчиво, словно они давным-давно уговорились и сто раз поклялись друг другу встретиться именно на этом месте в этот самый час, и вот, наконец, он здесь.

И ответ пришел к нему в Зеленую Комнату: это был смех, звонкий и ясный, как серебряный колокольчик.

Прежний таинственный янтарно-золотистый свет засиял большую часть комнаты, и только узкое кольцо тени отделяло Чиверела от последней и самой странной сцены из всех увиденных им в этот вечер. Дженини была в белом платье, юная и веселая, совсем как в тот день, когда Кеттл представил ее труппе: вначале ему показалось, что она стоит в дверном проеме, залитая ослепительным светом. И свет этот был совсем другой. Словно позади нее был узкий короткий коридор, уходивший в сияющие солнечные лучи, которые пробивались к ней, и плясали, и сверкали вокруг ее головы. Она стояла там в каком-то своем зачарованном мае, точно пришла из прекрасного золотого века, из той мечты, что вечно бередит человеческое воображение. Однако потом Чиверел разглядел, что ее обрамляет не дверной проем, а высокое

зеркало в нише — зеркало, в которое с давних пор смотрелись актеры и которое пережило все перемены в Зеленой Комнате. Знакомое зеркало, но сейчас оно было также и дверным проемом, потому что Дженнин стояла в нем, грациозно балансируя на самом краю, и таинственным образом излучала столько света, что все прочие в комнате казались тусклыми и какими-то поникшими.

Они напоминали фигуры со старого daguerroтипа — оба Ладлоу, Стоукс, Сэм Мун и остальные. Все были в черном и сидели неподвижно, вплотную друг к другу, и что-то слушали с унылым видом. Чиверел не сразу понял, что здесь происходит, ибо не только они сами казались всего лишь потемневшими, обшарпанными могильными памятниками рядом с ослепительной и полной жизни Дженнин, но и все их речи были тоскливыми, вялым бормотанием после ее смеха. Лицом к собравшимся сидел какой-то взъяннованный пожилой человечек, и постепенно Чиверелу стало ясно, что это самая обычная для старых зеленых комнат сцена, а именно — авторская читка новой пьесы на труппе. Автор, некий Спрэгг, читал один из ужасных маленьких фарсов того времени, которые игрались под конец вечера. Фарс назывался «Байки мистера Тули», и единственным человеком, получавшим от него удовольствие, ибо пессимистический Спрэгг пребывал в полном отчаяния, была Дженнин: она смеялась и изредка хлопала в ладони, но никто из присутствующих ее не видел и не слышал.

Отчаянно пережимая, как всякий потерявший надежду автор, Спрэгг гнал к заключительному занавесу:

— «Мистер Тули. Нет, мэм, должен признаться, у меня никогда не было брата, а будь у меня брат, я бы с ним так не поступал.

Миссис Тули. Тетя Джемима, это просто еще одна байка мистера Тули.

Снова комическая игра с зонтиком».

Спрэгг обвел слушателей взглядом утопающего, но, все еще на что-то надеясь, прибавил:

— Очень эффектно.

— Да, — вскричала Дженини, — я себе представляю! Продолжайте, мистер Спрэгг. Скоро занавес?

Спрэгг попытался найти на лицах актеров хоть какой-нибудь признак одобрения, но поиски были тщетны, и он торопливо продолжал:

— «Тетя Джемима. А я, милочка моя, могу толь-

ко возблагодарить бога, что это ты замужем за ним, а не я. Но теперь уж я не вычеркну тебя из завещания: ведь мне тебя и вправду жалко. Подумать только: вышла замуж за такого олуха! Боже, что там еще?»

И снова Дженини, у которой это чудовищное произведение вызывало самый неподдельный интерес, воскликнула:

— Неужели опять фермер Джайлс?

— «Из камина вываливается фермер Джайлс, покрытый сажей», — объявил Спрэгг и добавил, бросив на актеров последний отчаянный взгляд. — Это очень смешно, как раз под занавес. — Ответа не было, и, глубоко вздохнув, он продолжал:

— «Миссис Тули. Ну и ну, это же бедный фермер Джайлс!

— Фермер Джайлс. Да, и, как видите, весь почернел, понаслушавшись баек мистера Тули.

Оглушительно чихает: все становятся в позы. Немая сцена. Запавес. Конец фарса «Байки мистера Тули».

Спрэгг отбросил рукопись, поднял бровь и попытался сделать вид, будто он находится за тысячу миль от угрюмой труппы, сидевшей перед ним.

— Мне очень понравилось, мистер Спрэгг, — воскликнула Дженини. Но услышал ее один Чиверел.

— Благодарю вас, мистер Спрэгг, — мрачно сказал Ладлоу. — Это очень забавно.

Несчастный автор убито взглянул на него.

— Мистер Ладлоу, — безнадежно, со слезами в голосе начал он, — не знаю, может быть, я плохо читал, но клянусь честью, мой фарс имел большой успех и в Йорке, и в Норвиче, где публике не так легко угодить. Понятно, его надо видеть.

— Да, — сказал Сэм Мун печально, — там есть хорошие комические сцены... особенно у фермера Джайлса...

— Но, черт возьми, вы даже не улыбнулись — ни один из вас...

— Ой, какойстыд! — воскликнула Дженини. — Бедняжка! Позволили ему прочесть все это, и никто, кроме меня, ни разу не засмеялся.

И теперь Чиверел начал задумываться, не к нему ли она обращается. Несомненно, он один слышал ее и знал, что она тут.

— Скажите ему, мистер Ладлоу, — произнесла миссис Ладлоу печальным тоном.

— Что «скажите»? — вскричал Спрэгг, все еще рассерженный.

Мистер Ладлоу был мрачен, и голос его звучал торжественно:

— Я должен признаться вам кое в чем, мистер Спрэгг. Недели две назад я пригласил вас прочесть нам свою новую пьесу, вы помните. Я позабыл отменить ваш приезд, а когда вы прибыли, у меня не хватило духу сказать...

— Что сказать? Вы же не закрываетесь?

Мистер Ладлоу даже испугался:

— Нет, нет, что вы, друг мой!

— Мы были закрыты вчера, мистер Спрэгг, — сказала миссис Ладлоу своим густым контрабалто, — потому что мы все присутствовали на похоронах нашей молодой героини, которой мы все восхищались и нежно любили, — нашей бедной милой Дженини Вильерс...

Спрэгг обескураженno и в то же время укоризненно воскликнул:

— О, в самом деле? Право, мэм...

— И сейчас мы в первый раз собрались после того, как простились с нею навсегда...

— Нет, нет, дорогая, — сказала Дженини настойчиво, — ничего подобного.

— Мы переживаем это, мистер Спрэгг, — всхлипнула миссис Ладлоу, — мы так глубоко переживаем это... — И молодые актрисы тоже всхлипнули, а мужчины громко засопели и припятались мрачно рассматривать свою обувь.

— Да нет же, — сказала Дженини, — это ровно ничего не значит. Ну, пожалуйста!

Вся эта сцена, люди, лица и голоса теперь начали быстро таять и уже напоминали старый и совсем стершийся фильм, который проектировали слишком часто.

— Вы должны были предупредить меня, знаете ли, — сказал Спрэгг. — Не очень-то это честно, ей-богу!

— Я знаю, что должны были, — отвечала готовая расплакаться миссис Ладлоу. — Но мы надеялись, что вы поможете нам забыть.

— Да тут печего забывать! — закричала Дженини.

— Это бесполезно, Дженини, — неожиданно для себя сказал ей Чиверел. — Теперь ты призрак даже для призраков.

Опа посмотрела на него и ответила:

— Нет, я не призрак.

Действительно, лицо ее по-прежнему оставалось ясным и светлым, а прочие превратились в скопление шепчущих и бормочущих теней в наплывавшем сумраке.

Говорила маленькая актриса Сара:

— Мы не можем ее забыть...

Говорил старый Джон Стоукс...

— Должно быть, пройдет немало времени...

Говорил шут Сэм Мун:

— Прямо сердце разрывается...

Дженини запротестовала:

— Нет, Сэм, Джон, Сара, все. То, что случилось со мной, не так уж важно. Ничто не потеряно. И важно только одно — чтобы пламя оставалось чистым.

— Лучшие из них — только тени, — пробормотал Чиверел.

— Опи уходят! — горестно воскликнула Дженини. — Опять они уходят.

И в самом деле, актеры были теперь всего лишь сгустками мрака, вокруг которых слышалось тихое бормотание.

Он стоял совсем близко от нее, хотя и не помнил, чтобы вставал со своего кресла. Он смотрел поверх бормочущего сумрака в ее лицо, на которое не падал свет из комнаты и которое он все же по-прежнему видел ясно, как прозрачную маску на светлом фоне. Может быть, теперь она и походила больше на маску, чем на живое лицо. Однако голос ее был, как прежде, взволнованным, теплым и мелодичным — то был женский голос, а не фальшивое гулкое эхо его собственных мыслей.

— Скажите им: то, что случилось со мной, не так уж важно, — проговорила она, — и с любым другим тоже, пока пламя остается чистым. Вы-то это знаете.

— Как я могу знать?

— Вы поняли это однажды. Скажите им.

— Слишком поздно, они уже ушли, — сказал он. — И все это было давним-давно. — Едва он успел произнести эти слова, как с ужасом увидел, что сумрак подкрадывается теперь к самой Дженини.

— Нет, не давним-давно. — Ее голос слабел и остывал с каждым словом. — И теперь тоже, если очень захочеть.

— Ты видишь меня на этот раз?

— Да, — донесся шепот, — вижу.

— Потому что мы оба призраки.

— Нет, не в том дело. Зачем вы притворяетесь, что не понимаете?

— Почему я должен понимать? — спросил он тихо. — И почему ты сказала, что однажды я понял?

Он все еще видел ее лицо, хоть оно и было покрыто тенью, но еле уловил чуть слышный ответ:

— Потому что... мы говорили с вами. Вы разве не помните?

Он сделал шаг вперед, еще один, но она ничуть не приблизилась.

— И не старайтесь найти меня... пока что.

Он с мучительной болью крикнул вслед исчезающему призраку:

— Джени! Джени Вильерс!

Ее голос доносился откуда-то из безмерной дали:

— Нет... еще пет... еще пет...

В последний раз он увидел мерцание ее лица, едва заметное, словно светлячок осветил маску слоновой кости; и затем — тьма. Но он крикнул в эту тьму:

— Джени, дай мне увидеть тебя еще раз, еще только раз, и тогда я буду знать! Только раз, Джени!

Она стояла там, как в самом начале, в лучистом золоте своего зачарованного мая, и ему показалось, что губы ее шевельнулись, чтобы произнести его имя. Он простер руки и бросился вперед, и имя ее вырвалось у него из груди громким ликующим криком; но тотчас сияющий образ размыло, и Чиверел с треском ударился в мертвое холодное стекло.

— Стеклянная Дверь! — воскликнул он. — Только Стеклянная Дверь!

17

...Горели огни, слишком много огней; и все они раздражающие быстро мигали, то тускнея, то разгораясь. Тут всегда было множество спокойных, устойчивых огней. Куда они вдруг пропали? Черт знает что такое! Он хотел было спросить, но не смог, и тут ему показалось, что все это очень смешно. И страшно захотелось хихикнуть. Рядом с собой он увидел две огромные человеческие фигуры; лица их напоминали мотающиеся на ветру розовые воздушные шары, хотя в действительности они стояли, склонившись над ним.

Одна из фигур произнесла:

— Ничего, мистер Чиверел. Доктор здесь, — и тут же превратилась в славного коротышку Отли. Но надо было подумать о чем-то более важном, нежели Отли. Ах да, конечно!

— Стеклянная Дверь, — сказал он, обращаясь к ним. — Стеклянная Дверь.

— Что он говорит? — Это был доктор. Да, доктор Кейв.

— «Стеклянная Дверь», — сказал Отли. — Это название его пьесы.

— А, да. Мысленно он возвращается к ней, — сказал доктор Кейв. — Так и бывает с людьми этого типа. Вот почему с ними всегда рискованно иметь дело.

Они не поняли самого главного о Стеклянной Двери. А что самое главное? Он старался вспомнить, но не мог.

— Ну, мистер Чиверел, теперь вам лучше? — Доктор говорил громким, профессионально-бодрым голосом.

— Да, спасибо, — ответил Чиверел медленно и осторожно. — Мне очень жаль. — Он попытался сесть. — Но я чувствовал себя хорошо... а потом, когда шагнул к ней, она исчезла...

Он заметил взгляд, который Отли бросил на доктора Кейва, затем увидел, как доктор покачал головой. Теперь оба они обрели обычные, разумные размеры, и хотя он все еще чувствовал, что Зеленая Комната освещена слишком ярко, в ней больше не было ничего странного.

— Это то самое зеркало? — спросил он.

— Там мы вас нашли, — сказал Отли. — Я услышал, как вы что-то кричали насчет стеклянной двери.

— Что ж, зеркало — это нечто вроде стеклянной двери, разве не так? — сказал Чиверел. Но он знал теперь, что говорить с ними бессмыслицо.

— У вас было полное затмение сознания, мистер Чиверел, — сказал ему доктор Кейв. — Что, если мы снова посадим вас в это удобное кресло? Вы сейчас можете двигаться?

Он кивнул и с некоторой их помощью снова оказался в глубоком кресле. Он улыбнулся им.

— Я не стану объяснять. Вы мне все равно не поверите. Но я очень сожалею, что причинил вам столько беспокойства,

— Не думайте об этом, — сказал доктор Кейв. — К счастью, мистер Отли зашел проводить вас с полчаса назад, и ему показалось, что у вас вид какой-то странный; вот он и позвонил мне, что с его стороны было весьма разумно.

— Очень вам признателен, — сказал он Отли.

— Не за что, мистер Чиверел. Но я, с вашего разрешения, пойду к себе. Вы можете позвонить мне по внутреннему телефону — он здесь, на столе, — если я вам понадоблюсь.

Когда Отли ушел, доктор Кейв закурил сигарету, плюхнулся на стул, который был для него маловат, и принялся весело рассматривать Чиверела.

— Я сделал вам укол корамина. Пульс у вас был ужасный. Я мог бы сделать это раньше, но у людей вашего типа всякое бывает с головой. Нет смысла заставлять вас отдыхать, если вы не готовы к отдохну, это только усилит раздражение, и вам станет еще хуже. А на корамине вы продержитесь несколько часов, если вам срочно требуется что-то сделать; но уж потом придется либо как следует отдохнуть, либо искать себе другого доктора.

Слушая доктора, Чиверел обнаружил две венци. Он был здоров — здоров как никогда — и чувствовал огромный прилив энергии и энтузиазма. Он вспомнил о множестве важных дел, которые нужно было сделать как можно скорее. Поэтому он сказал:

— Благодарю вас, доктор. Я выполню все, что вы говорите. Но кое-что мне хотелось бы сделать немедленно. Без этого я не смогу отдохнуть.

— Так я и думал. — Доктор Кейв протянул руку и, взяв со стола флакончик с таблетками, задумчиво взглянул на него. Потом он перевел взгляд на Чиверела.

— Вы прияли две?

Чиверел нахмурился.

— Да, согласно вашему предписанию!

— Вы уверены, что приняли только две?

— Хм... да! Точно помню: я принял две таблетки и залпил их водой. Хотя постойте. — Он задумался. — Нет, я принял четыре. Не нарочно. Вторые две я принял потому, что забыл о первых. Прощу прощения.

— Передо мной не надо извиняться, — сказал доктор Кейв с усмешкой на широком красном лице. — Извинитесь перед собой. Вы сами накликали беду. Случилось,

но-видимому, вот что: вы задали себе такую нагрузку, что сердце не смогло ее выдержать. — Он снова усмехнулся. — Скажите, как себя чувствуешь в двух шагах от смерти?

И тут Чиверел вспомнил.

— Еще нет, — произнес он медленно.

— Что?

— Совсем не так, как можно предположить. Должно быть, мы переходим из одного времени в другое. Добираешься до конца в одном, но затем покидаешь его, словно переходишь в другое измерение, в другой тип времени.

— Вам это приснилось?

— Сам не знаю.

Доктор в последний раз затянулся и раздавил сигарету в пепельнице.

— Если вы еще хоть немного перенагрузите свою нервную систему, дорогой сэр, вы в два счета вылетите из всякого времени окончательно и бесповоротно.

Чиверел улыбнулся.

— Откуда вы знаете, доктор?

— Я не знаю, — отозвался тот, вставая. — Моя работа — чинить тела, а ваше требует присмотра. — Он повертел в руке флакончик с таблетками. — Я, кстати, заберу это. А вы, не перенапрягаясь, займитесь тем, что, по-вашему, нельзя оставить без внимания, а потом попросите Отли или кого-нибудь из трупы проводить вас в гостиницу, лягте в постель и до моего прихода не вставайте. Я приду завтра утром. И не тревожьтесь, если сегодня вам будет спаться не очень хорошо. И не принимайте снотворного — просто лежите спокойно. Доброй ночи!

— Доброй ночи, доктор, — сказал Чиверел вслед ему. — Спасибо. Кстати, если вам попадется Отли, попросите его зайти ко мне на минуту.

Доктор уже в дверях махнул своей черной сумкой в знак согласия.

Чиверел медленно и испытующе оглядел Зеленую Комнату — два стеклянных шкафа, мебель, портреты, высокое зеркало в нише. Это была та самая комната, вид которой еще недавно наводил на него тоску. И все же это не была прежняя комната, потому что тогда она была мертвой, а теперь — полной жизни. Или он, смотревший на нее, был мертв и теперь снова вернулся к жизни. Теперь он озирался по сторонам с удивлением, и нежностью, и странной радостью. Жажда деятельности, какой он не

знал уже много лет, охватила его. Так мало времени, если мерить здешней мерой, и так много нужно сделать, сначала в этой самой комнате, а потом в огромном сверкающем мире за ее пределами, таком страшном, таком удивительном. Не так уж важно, за что человек берется, когда перед ним столько прекрасных целей, но все же Чиверелу повезло, у него есть его профессия, его мастерская, его чудесная золотая игрушка, Театр...

18

— Да, мистер Чиверел? — спросил Отли.

— У меня к вам две просьбы, если позволите. — И он замолчал.

Отли улыбнулся.

— Вам ведь уже получше, правда?

— Мне кажется, да. Так вот. Во-первых, попросите вашего секретаря дозвониться до сэра Джорджа Гэвина — его номер Риджент шесть один пятьдесят. Может быть, он еще не вернулся, но пусть ему передадут, чтобы он сразу же позвонил мне сюда, — это довольно срочно.

Отли записывал.

— Ясно... так. Что-нибудь еще, мистер Чиверел?

— Еще... помните молодую актрису, которая хотела встретиться со мной...

— Это я виноват. Она как-то проскользнула мимо нас...

— Нет, ничего страшного. — Он кашлянул. — Я отказался поговорить с ней. Я был не прав. И если она вернется, я хочу с нею встретиться.

— Хорошо, мистер Чиверел, — ответил Отли с сомнением. — Только не очень похоже, чтобы она вернулась.

Чиверел посмотрел на него невидящим взглядом.

— Я думаю, что она может вернуться, — медленно произнес он. — Уходя, она сказала — тогда мне это показалось странным: «Вы пожалеете, что сказали это». Это было после того, как я велел ей уйти. И она была совершенно права. Теперь я и в самом деле жалею.

Лицо Отли по-прежнему выражало сомнение.

— Все-таки... от этого ведь она не вернется обратно?

— Не знаю. Может быть, и вернется. И еще она сказала, чтобы я остерегался.

— Остерегались чего?

— Я думаю, привидений.

Отли засмеялся.

— А-а... вот, я же говорил вам, мистер Чиверел. Вы знаете, как они все суеверны.

— А вы?

— Нет, нет, я — нет.

— А я, по-моему, да, — сказал Чиверел медленно.

В комнату вперевалку вошел старый Альфред Лезерс.

— Я не помешаю?

— Нет, заходи, Альфред.

— У меня перерыв, — сказал Альфред с легкой одышкой, — вот я и вскарабкался поглядеть, как ты тут.

— Мы говорили о привидениях. И я как раз собирался напомнить мистеру Отли, что ведь мы сами тоже привидения.

Отли улыбнулся.

— Ну, пuh, мистер Чиверел, не надо об этом. Значит, я постараюсь поскорее дозвониться до Лондона и скажу на служебном подъезде, чтобы эту молодую особу пропустили наверх, если она вернется.

Когда Отли вышел, Альфред Лезерс подтащил стул поближе к Чиверелу и уселся, задумчиво жуя резинку. Чиверел с любовью смотрел на его помятое лицо. Им часто приходилось работать вместе, и не один раз старый Альфред вывозил финал второго акта или каверзный третий акт очередной пьесы Чиверела с помощью своей прекрасной техники и огромного опыта. И теперь, когда старый актер сидел здесь, радуясь минутной передышке, он напомнил Чиверелу кого-то виденного совсем недавно.

— Альфред, а ты веришь, что мы тоже привидения?

— Я частенько чувствую себя привидением.

— Да я не о том, старый греховодник!

— Ну, тогда я не знаю, о чём ты. — Альфред прерывисто вздохнул и уставился на мозоль, выпирающую у него из левого ботинка. — Но я то вот о чём, Мартин, малыш: слишком уж долго я играл... и, как любят говорить молодые, я выхожу в тираж.

— Чепуха, Альфред!

— Нет, нет. Послушай меня. Собственно говоря, и Театр выходит в тираж. За этот час у нас на сцене раза два-три заедало, и мы с Паулиной и Джимми Уайтфутом немножко повздорили, потрепали друг другу первы, как оно вообще бывает на последних репетициях.

И мне подумалось, что прав ты, а они ошибаются. Театр дошел до последней черты, и нам остается только лишь признать это. — И он покачал своей большой старой головой.

Чиверел тоже покачал головой.

— Он был, конечно, иным в дни твоей молодости, а? — спросил он вкрадчиво.

— Ипым? — вскричал Альфред, мгновенно расцветая. — Безусловно.

— Я думаю, тебе многое довелось повидать в Театре, Альфред? — Он словно подавал ему реплику.

— Да, Мартин. Я видел великие дни. И они уже никогда не вернутся. Не забывай, что в молодости я играл с Ирвингом, Эллен Терри, Три, миссис Пэт.

— Великие имена, Альфред!

— Да, но Театр был *Teatром* в то время, Мартин. Это было все, что имела публика, и мы старались для нее изо всех сил. Никаких ваших фильмов, радио, телевидения и всего прочего тогда не было. Был *Театр* — такой Театр, каким ему подобает быть. А нынче они пойдут куда угодно...

— Жажда глупых развлечений...

— Ты крадешь слова у меня с языка! — воскликнул Альфред. — Да, другок, жаждя глупых развлечений. И всюду деньги, деньги, деньги...

Чиверелу захотелось рассмеяться, но он продолжал подавать реплики:

— Театр умирает, хотя на твой век его, может быть, и хватит...

— Да, слава богу! Но не думаю, чтобы он памного меня пережил.

— Старое вино выдохлось, — сказал Чиверел с приворной серьезностью.

— Верно! И пьесы теперь уже не те...

— И публика не та...

— И актеры, — начал Альфред, и Чиверел договорил вместе с ним: — Не те.

— Смотри, какой дуэт получился, — прибавил Альфред.

Чиверел улыбнулся.

— Видишь ли, Альфред, я знаю эту речь об умирающем Театре. Я уже слышал ее сегодня вечером,

— Только не от меня, старина.

— Нет, но от человека, похожего на тебя, — сказал Чиверел медленно, — только он говорил это сто лет назад, и тогда были панорамы, а не фильмы, и в молодости он играл с Кином и миссис Гловер, а не с Ирвингом и Эллен Терри.

— Я что-то тебя не пойму, Мартин. Кто это говорил?

— Старый актер, которого я слышал...

— Слышал? Где?

— Здесь, в Зеленой Комнате. Самое подходящее для этого место.

Альфред вздохнул с облегчением.

— А-а, понятно... ты задремал, старина.

— Ну ладно, пусть я задремал. Но это была та же самая речь, Альфред. И я понимал, конечно, какой неправдой все это было тогда, и ты сам можешь в этом убедиться, потому что твой великий Театр девяностых годов был как-никак два поколения спустя. Но я понимаю, что это неправда и сейчас.

— Постой, Мартин. Что-то я не вижу связи.

— Логической связи тут, паверно, и нет, — согласился Чиверел. — Слухи о смерти могут быть ложными пятьдесят раз, а на пятьдесят первый могут оказаться правдой.

Альфред ударил себя по колену.

— Верно. И все доказывает...

— Что ты пожилой актер, Альфред, и что Театр умирает для тебя. Он всегда умирал для старожилов. И всегда рождался заново для тех, кто приходил на смену. И в этом не слабость его, а сила. Он живет — живет по-настоящему, не просто существует, но живет, как живет человечество, — просто потому, что он непрестанно умирает и возрождается, и всегда возрождается обновленный.

— Что это с тобой произошло? — И Альфред посмотрел на него проницательным старицким взглядом.

— Я замечтался. Но мы ошибались, говоря о Театре, Альфред, а они были правы...

Альфреда это не убедило.

— Погоди-ка. Он умирает для меня — пожалуй, но для кого он возрождается?

— Пришла мисс Сьюард, — сказал Отли из-за двери.

— Впустите ее, — отозвался Чиверел и взглянул на Альфреда. — Вот и ответ тебе.

Она не была ни высокой, ни красавицей — среднего роста, широкоскулая, с квадратными плечами и ясными темно-зелеными глазами. Она не больше походила на Дженнин, чем ее плисовые спортивные брюки — на цветастое муслиновое платье. И на первый взгляд девица Сьюард не слишком отличалась от молодых актрис, которых он десятками встречал за последние несколько лет. Что он вообразил? В ней не было ровно ничего от Дженнин. Не считая, конечно, самой молодости, сияющей, бодрой и полной надежд. Но он улыбнулся ей, и она подошла ближе, а он не без труда поднялся с кресла; они оказались лицом к лицу, и она взглянула на него в упор, и он почувствовал холодок в груди.

— А-а, мисс Сьюард! — воскликнул он довольно церемонно, стараясь собраться с мыслями. — Это мистер Альфред Лезерс.

— Здравствуйте, мисс Сьюард! — Альфред подарили ей свою удивительную стариковскую усмешку. — Вы актриса?

— Да, мистер Лезерс. — Она с трудом переводила дыхание. — Я видела вас в «Заколоченном доме» в роли этого чудесного старого официанта. Можно задать вам один вопрос? — Он кивнул и ободряюще улыбнулся ей, и она подошла ближе. — Эта мизансцена в конце первого акта, когда вы поворачиваетесь спиной к публике и стоите неподвижно, — чья это была находка, ваша или режиссера?

Альфред довольно хмыкнул:

— Моя.

— Это было замечательно! — воскликнула девушка. — Я никогда этого не забуду.

— Благодарю вас, мисс Сьюард. — Он взял ее маленькую и довольно грязную ручку в свою огромную лапу. — Очень любезно с вашей стороны, что вы упомянули об этом. Желаю удачи. — Он повернулся к Чиверелу. — Что ж, в конце концов ты, может быть, и прав. — И с широкой улыбкой сказал им обоим: — Мне пора на репетицию.

После его ухода очи некоторое время молчали. Чиверел чувствовал, что комната наблюдает за ними. Он указал на стул рядом со своим креслом и, когда она села, сел

сам. Какую-то секунду они, не отрываясь, рассматривали друг друга. Комната ждала.

— Знаете, вы были совершенно правы, — начал он тихо и как-то неуверенно.

— Насчет чего? — спросила она, но без тени удивления.

— Когда сказали, что я скоро буду жалеть, что не захотел поговорить с вами. Теперь я прошу извинить меня...

— Нет, пожалуйста, не извиняйтесь! — воскликнула она с жаром. — Вы тогда устали и вам нездоровилось, правда?

— Да. — Теперь казалось, что это было безумно давно.

— И все равно вот я здесь. — Она улыбнулась ему доверчиво, как старому другу.

— Но почему вы сказали, что я пожалею? Как вы могли знать?

— О, мне просто пришло в голову, знаете, так иногда бывает.

— А помните, вы еще сказали мне: «Берегитесь»?

Да, она помнила.

Он серьезно посмотрел на нее.

— Почему?

— Вы оставались здесь один, и я почувствовала, как комната наполняется привидениями. Так оно и было?

— Да... позже.

Последовала долгая пауза.

— Вы не хотите говорить со мной об этом, — сказала она тоном утверждения, а не вопроса.

— Я не хочу ни с кем говорить об этом, — отозвался он.

Она посмотрела на него испытующе.

— Вы переменились.

Он кивнул, она обвела комнату взглядом, снова посмотрела на него и тоже кивнула. Словно им нужно было многое сказать друг другу, но теперь они ничего не скажут, потому что в этом уже нет надобности. Комната будет хранить молчание, и им, глубоко и таинственно связанным с комнатой, тоже незачем разговаривать. Так казалось Чиверелу.

— Кстати, меня зовут Энн, — сообщила она как бы невзначай.

— И вы остановились здесь, в Бартоне?

— Да. Я была уверена, что встречусь с вами, и сказала Роберту...

— Кто это Роберт? Ваш приятель?

— Да. Он приехал со мною и ждет внизу. Бедный Роберт! Ему всегда приходится ждать.

— Он влюблен в вас?

— Да, — отвечала она торжественно. — И я в него тоже. Это тянет уже сто лет.

— Вы хотите сказать, года два?

— Около того. Но не стоит об этом говорить.

Она улыбнулся.

— Ну что же. Может быть, перейдем к делу? Виолы играли?

Она кивнула:

— Даже совсем недавно.

— Помните сцену с Оливий — монолог о шалаше?

— Попробую вспомнить. — Она поднялась и стояла в ожидании.

— Пожалуйста. — Он подал ей реплику: — Да? А что вы сделали?

Едва она начала, он вспомнил тесную гостиную, освещенную одной маленькой лампой, горевшей допоздна в туманной ночи, среди ветра и дождя.

У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взвывать к возлюбленной...

Она остановилась и виновато взглянула на него, и снова он почувствовал холодок в спине, ибо она сделала ту же ошибку, что и Дженин, и остановилась в том же самом месте.

— Нет, это было неправильно, — сказала она. — Жалко.

Он серьезно посмотрел на нее.

— Не жалейте. Я не жалею. Прошу вас: Да? А что вы сделали?

Когда она дочитала до конца и воскликнула: «Пока не скалились бы!», он стоял совсем рядом и, не отрываясь, с изумлением смотрел на нее. Закончив, она с минуту молчала и тоже смотрела на него. Казалось, оба вслушиваются в доносящуюся издалека музыку.

— Я не слишком-то хорошо прочла, — сказала она, прервав напряженное молчание. — Хотя не думаю, что на показах читают памятного лучше.

— Непамятного, — ответил он в тон ей. — Но о чем-

то показы говорят. Вы работаете в каком-то здешнем театре?

— Да, в Уонли. Я теперь там на первом положении. Но уже сыта по горло.

— Теперь вы хотите в Вест-Энд?

— Нет, не обязательно. Я хочу одного: чтобы мне дали как следует поработать с режиссером и как следует перепетировать после этих сумасшедших еженощедельных премьер в Уонли. Послушайте, мистер Чиверел, я настоящая актриса. Я не хочу просто ходить и выставлять себя напоказ. Я знаю, что Театр — это не только веселье, блеск и аплодисменты... — Она остановилась.

Чиверел старался скрыть свое волнение.

— Продолжайте, продолжайте. Что же он в таком случае?

— Ну, это тяжелый, порой надрывающий душу труд. И я знаю, что никогда мы не бываем так хороши, как нам бы хотелось. Театр — это сама жизнь, уложенная в маленький ларчик...

— Да. И как жизнь...

— Он часто пугает, часто внушает ужас, но он всегда удивителен. — Она умолкла и виновато засмеялась. — Почему я вам все это говорю? Как-то вдруг вырвалось.

— Я знал.

— И уж наверняка вы все это слыхали.

— Один раз.

Она раскрыла было рот, вопрос уже читался в ее глазах, но он торопливо остановил ее.

— Присядем, — сказал он и, пайдя сигареты, предложил ей. Он поднес ей огонь, потом сам взял сигарету, первую после таблеток, и вкус ее показался ему приятным. Они сидели и спокойно курили.

— Скажите, Энн, ваши родители играли на сцене?

— Нет. В нашей семье на сцену идут через поколение. Моя бабушка по матери была актриса, когда-то довольно известная — Маргарет Шарли.

— Я ее помню, — сказал Чиверел. — Она была хорошая актриса, хотя я думаю, что вы будете лучше.

— Она была родом из Австралии, — продолжала Энн, порозовев от удовольствия. — А ее дедушка, который уехал в Австралию году в тысяча восемьсот пятидесятом, тоже работал в Театре, хотя и не был никакой знаменитостью.

— А как звали его?

— Да вы вряд ли когда-нибудь о нем слышали. Его фамилия была Кеттл. Уолтер Кеттл. Ой, что с вами?

— Ничего. Наверное, мне не следует курить. — Он наклонился вперед, чтобы раздавить сигарету в пепельнице, и рука его дрожала. Он почувствовал ее пристальный взгляд и покосился на нее. Она смотрела на дрожащую руку, и когда он резким движением убрал ее, Энн подняла на него глаза.

— Он не вернулся, — сказала она медленно. — Я думаю, он недолго прожил.

— Да, я тоже так думаю.

— Но вы ничего не могли о нем слышать, мистер Чиверел. Он не был ни писателем, ни сколько-нибудь знаменитым актером.

— Уолтер Кеттл был режиссером, — сказал ей Чиверел. — И некогда он был режиссером вот в этом самом театре.

— Вы уверены?

Был ли он уверен? Он решил, что да.

— Да, он работал здесь за год-два до того, как уехал в Австралию. У антрепренера по фамилии Ладлоу. Тут есть книжечка, которую я пролистал, — прибавил он спешно, опасаясь, что сказал слишком много, — главным образом о молодой актрисе по имени Дженин Вильерс.

— Да, — возбужденно вскричала Энн, — тут есть ее портрет. Я видела его. Вся в локонах. И на полу лежала ее перчатка. Такая зеленая фехтовальная перчатка, отделанная красным.

Он сурово посмотрел на нее.

— Подождите. Вы бросили эту перчатку на пол? Когда я не захотел разговаривать с вами.

Она кивнула.

— Бросила. И я помню, что сказала. Я сказала: «Смотрите, перчатка опять на полу. Даже привидения за меня. Берегитесь». Вот что я сказала.

— Но почему вы сказали «опять»?

— Потому что до этого, когда я говорила с мисс Фрэзер, мы вдруг увидели перчатку на полу. И я сказала, что она сама выпрыгнула из шкафа. Мисс Фрэзер стала меня разубеждать, но только потому, что испугалась. Я как раз говорила об этой девушке с локонами — Дженин Вильерс, — и вдруг перчатка — ее перчатка — оказалась на полу. Вы здоровы, мистер Чиверел?

— Да, а что такое?

— Вы совсем белый.

— Я чувствую, что побледнел, — признался Чиверел, — но ничего страшного не случилось. Продолжайте.

— Вот и все. Не считая того, что теперь я понимаю, почему все тут с первого же взгляда показалось мне таким жутким. Понимаете, мистер Чиверел, ведь часть меня — та, что идет от Уолтера Кеттла, — уже бывала здесь раньше и хорошо все знает. Может быть, потому перчатки и выпрыгивают из шкафов. Узнали во мне частицу Уолтера Кеттла. О, я так рада, что вы рассказали мне о нем, — что он был здесь. Наверняка из-за этого я ичувствовала себя так странно. И ведь вы тоже, правда?

— Да.

— Я знала; хотя, конечно, вы не здоровы и этим, наверное, все объясняется.

— Может быть, — ответил он коротко.

Она доверительно наклонилась к нему и сказала, понизив голос:

— Вы знаете, мы как-то очень странно смотрели друг на друга, правда?

— Не знаю, как я, но вы — определенно. — Он улыбнулся ей, давая понять, что хочет переменить тему. — Теперь нельзя ли мне взглянуть на вашего Роберта?

— Конечно. Он будет в восторге. Его фамилия Пик, и он капитан авиации.

Чиверел позвонил по внутреннему телефону и сказал, чтобы кавитана азиации Пика, ожидающего у служебного входа, попросили подняться в Зеленую Комнату. Потом он посмотрел на Эни.

— Он был актером?

Она покачала головой.

— Нет, никогда не имел ничего общего с Театром. Но любит его, конечно.

— Вы в этом уверены?

— О да, — с ударением сказала она. — Если бы не любил, ничего бы у нас с ним не было. Кстати, он, наверное, будет очень робеть. Он чуть не умер от стыда и горя, когда я сказала, что меня никто не остановит и я непременно вас увижу. У них в авиации такого не бывает. Вы ему представляетесь чем-то вроде маршала авиации, который сидит тут во всем великолепии.

Чиверел улыбнулся.

— Но вам-то, надеюсь, нет?

— Нет. Вы мне не поправились... и я ужасно расстроилась, когда вы выгнали меня и даже не оглянулись. Но теперь, конечно, все совсем по-другому. Потому что и вы совсем другой. — И она доверчиво улыбнулась ему.

— Капитан авиации Пик, мистер Чиверел, — сказал Отли из-за двери.

И у Чиверела перехватило дыхание, и опять чья-то ледяная рука коснулась его спины. Ибо в комнату вошел Джуллан Напье.

20

Не сводя глаз с вошедшего, Чиверел встал и шагнул ему навстречу. Это не была галлюцинация. Если не считать формы военно-воздушных сил, более смуглого лица, коротких волос и аккуратного, подтянутого вида, это был вылитый Джуллан Напье. Сходство было поразительным. Чиверел молча перевел серьезный взгляд с него на Эни.

Молодой человек, разумеется, истолковал это по-своему.

— Простите, — сказал он, запинаясь. — Я думал... то есть... мне сказали, чтобы я поднялся...

Чиверел очнулся.

— Да, да, конечно. Все в порядке.

Эни подошла ближе.

— Это Роберт, — гордо объявила она и с улыбкой взглянула на свою замечательную собственность.

— Я, пожалуйста, поменял, — пробормотал Роберт, бросая на нее отчаянные взгляды. От смущения лицо его залилось краской и покрылось испариной.

— Нет, нет, дорогой мой, — улыбаясь, воскликнул Чиверел. — Это целиком моя вина. Прошу прощения. Я сказал, чтобы вас посыпали наверх. Просто... вы мне напомнили одного человека, вот и все. Скажите... — И он осталовился.

— Да, сэр?

— Я хотел спросить, какие еще фамилии встречались в вашем роду, кроме фамилии Пик...

— Бандите лиц, сэр...

— Впрочем, теперь это не имеет значения, благодарю вас. — Помолчав, он заговорил более серьезным тоном. — Важно то, что вот эта ваша девушкика — актриса.

— Первый сорт, сэр, можете мне поверить! — вскричал Роберт, сияя от энтузиазма.

Чиверел улыбнулся.

— Если сейчас еще не самый первый, то в будущем — наверное. Но поймите, что это значит: она не только будет работать в Театре, но говорить о Театре, питаться Театром, грезить о Театре, и все это на многие годы.

Роберт ухмыльнулся.

— Я уже понял.

— Я ведь с самого начала предупредила тебя, милый, — сказала Эни не без самодовольства.

— Это верно.

— И вы действительно понимаете, что это значит? — мягко, но настойчиво спросил Чиверел.

— Я сказал ей, сэр, — ответил Роберт почти хватливо, — и тоже в самом начале, что в отношении меня тут полный порядок, и это уж точно. Я только хочу, чтобы она делала в Театре великие дела, для которых создана, а я буду стоять в тени и заботиться о ней.

— Милый! — воскликнула Эни, порозовев от гордости.

— Не сомневаюсь в вашей искренности, — сказал Чиверел, — но это будет нелегко... а после того, как вы пожениитесь...

Но они не дали ему продолжать.

— Все равно он должен знать, — сказала Эни.

— Ну ты и говори, — сказал Роберт.

— Мы уже женаты. Целый год.

Чиверел поднял на них глаза.

— Может быть, все будет хорошо на этот раз. — Слова вырвались помимо его воли.

Молодые люди уставились на него.

— Что?

— Я хочу сказать, — произнес он с улыбкой, — что я должен принести вам обоим свои поздравления.

Когда он пожимал им руки, в комнату торопливо вошла встревоженная Паулина.

— Мартия, — начала она, — я только что узнала, что тебе было плохо и опять вызывали доктора...

— Теперь все прошло, спасибо, Паулина. Капитан авиации Пик — мисс Паулина Фрэзер. Они поженились. Это тайна, но я только что вытряс ее из них.

Паулина пожала руку Роберту.

— Очень рада! — Она прибавила бы еще что-то, но

ее прервал телефонный звонок. Она вопросительно посмотрела на Чиверела; тот кивнул и подошел к столу.

Звонил Джордж Гэвин, который первым делом спросил, как Чиверел теперь себя чувствует и как вели себя привидения.

— Мне кажется, ты кое-чем им обязан, Джордж, — сказал Чиверел и увидел, что Паулина, стоящая рядом с двумя безмолвными молодыми людьми, смотрит на него с любопытством и прислушивается. — Но теперь не беспокойся об этом. Я изменил свое решение. И если предложение остается в силе, я говорю «да».

— Конечно, остается, старик, — в восторгествовал Джордж. — Единственное, чего я хочу и хотел всегда, — это чтобы ты вошел со мной в дело, а сколько ты внесешь денег, это совершенно неважно.

— Я вложу в этот проект все свои деньги до последнего пения, Джордж, — сказал Чиверел с силой, — и отдам ему все свое время.

— Это потрясающе, старик! — сказал Джордж. — Сможем мы завтра встретиться и потолковать?

— Нет, я не могу, — сказал ему Чиверел. — Тебе придется потерпеть пару дней: я решил переписать третий акт, и тут будет уйма работы, а потом я пабросаю общий план, и тогда уж мы обо всем поговорим.

Это вызвало у Джорджа такой энтузиазм, что в трубке начался треск.

— Ну ладно, Джордж. Хватит на сегодня. Увидимся здесь на премьере. Пока!

Носяжив трубку, он в некотором смущении направился к ожидающим его Паулине, Энн и Роберту. Паулина бросилась ему навстречу; глаза ее блестели.

— Мартин, я все слышала, — сказала она. — Это правда?

— Да, и многое другое тоже. — Он улыбнулся — радостно, чуть застенчиво, чувствуя себя странно помолодевшим.

— Милый, — воскликнула Энн, обращаясь к своему Роберту, который снова не знал, куда деваться от смущения, — нам пора. — Она повернулась к Чиверелу в ожидании.

— Где, вы говорили, находится этот ваш репертуарный театр? — спросил он с улыбкой.

— В Уолли. Недалеко отсюда. Вы приедете посмотреть меня? — Она чуть не танцевала от радости.

Он кивнул.

— Как только я все здесь закончу. И тогда — тогда, я думаю, у меня найдется, что вам предложить.

— Вот здорово! — вскричала она, и этот взрыв восторга всех рассмешил. Потом она стремительно повернулась к Паулине. — Он теперь совсем другой. Что-то в самом деле произошло.

Паулина бросила на Чиверела быстрый пытливый взгляд, но он еще не был готов ответить на него. Он поспешно повернулся к Роберту и пожал ему руку.

— До свидания. Заботьтесь о ней.

— Обещаю вам. Всего доброго, сэр.

Эни протянула руку Чиверелу.

— Я очень, очень благодарна. — Она лукаво посмотрела на него. — А иначе бы я рассердилась на вас. — И, инстинктивно чувствуя эффективность своего ухода, она сразу же пошла к двери.

— Почему же? — удивился Чиверел.

Она обернулась уже у самой двери, взглянула на него в последний раз и сказала достаточно громко, чтобы он услышал:

— Потому что это разозлило бы любую женщину — вы все время смотрели на меня так, словно пытались увидеть кого-то другого.

21

Они с Паулиной были одни, совсем одни, как всего час или два назад, когда он сказал ей, что покончил с Театром, и она так рассердилась. Она вопросительно смотрела на него, и он встретил вызов ее красивых глаз и улыбнулся ей. Он любил Паулину, был ей предан. Неожиданно он понял, что она значит для него не меньше, чем он для нее. Она столько сделала для него в Театре. Они сидели рядом, два старых актера, и все их бесчисленные вест-эндские дорожные, гастрольные приключения, одни смешные, другие печальные, теснились позади них, на маленькой сцене их жизни. Но сейчас ему трудно было снова заговорить с ней после того, что с ним случилось. Они были из одного мира, они слишком давно знали друг друга, и хотя ни у кого перемена в его отношении к Театру не вызвала бы большего энтузиазма, чем у Паулины, самое ее присутствие, ее вопросительный, устремленный на него взгляд делали всякое рациональное объ-

яснение этой перемены невозможным. Размышляя о том, что ей сказать, он сомневался, и отступал, и уже пытался обмануть самого себя.

— Что означала ее последняя фраза? — спросила Паулина.

— Я не совсем понял, — ответил он осторожно. Потом решил и прибавил: — Но я знал ее родственника — некоего Уолтера Кеттла.

К его облегчению, она выслушала это без комментариев и заговорила о другом:

— И ты принимаешь предложение Джорджа Гэвина и остаешься в Театре?

— Да. И буду работать так, как давно уже не работал. То, что Джордж владеет этими театрами, дает нам потрясающие возможности. Мы попробуем создать две хорошие постоянные труппы... найти новые таланты... воспитать подающую надежду молодежь, писателей и актеров. И нам понадобится твой совет и помощь, Паулина.

Она всхихнула от удовольствия.

— Конечно, Мартин. Давай сразу после премьеры поговорим об этом. Ты ведь как будто не собираешься браться за дело прямо сейчас, судя по тому, что ты сказал Джорджу.

— Совершенно верно. Курить хочешь?

Она пристально посмотрела на него поверх пачки, которую он протягивал ей.

— Но почему ты изменил решение? Что произошло?

Пока он клал пачку на стол и подносил ей огонь, у него было несколько секунд, чтобы обдумать ответ.

— Я думал о Театре. — Он указал ей на стул рядом со своим креслом и сел сам. — О Театре, который есть жизнь в миниатюре, как всегда говорили старые писатели, особенно Шекспир.

Она нетерпеливо взглянула на него.

— Я знаю. Весь мир — театр и так далее. Каждый играет роль и тому подобное. Это довольно очевидно, я всегда так думала.

— Не знаю, — сказал он медленно, глядя, как дым вьется пальцами, рассеивается и исчезает. — Не знаю. Один человек в отпущенное ему время играет множество ролей. Человек отличен от своих ролей, и время его жизни — это та сцена, на которой он их играет. Разве это так очевидно, Паулина? Быть может, для тебя, но для меня — нет.

— Что же тут неочевидного? — Она больше не раздражалась, ибо видела теперь, что он серьезен, что тут не просто отказ ответить на ее первоначальный вопрос.

— У тебя сейчас лицо того самого Интеллигентного Зрителя, — усмехнулся он.

— Да замолчи ты! То есть нет, продолжай. И будь серьезнее, Мартин. Нехорошо: я ведь отлично знаю, что тебе на самом деле вовсе не хочется паясничать. Внутренне ты предельно серьезен. Разве нет?

Он кивнул.

— Давай посмотрим на это так. Помнишь, мы часто удивлялись, почему мы с такой серьезностью относимся к этому темному делу, к этому лицедейству. Мы отдаляем себя без остатка, превозмогаем болезни, страх перед воздушными налетами, личные катастрофы — ничто не может остановить нас. Мы говорили об этом и не понимали — почему. Ни реклама, ни деньги, ни слава, ни честолюбие не казались нам достаточной основательной причиной. Так?

— Да, конечно, я помню. Но, может быть, тут все вместе взятое? — сказала она задумчиво. — По-моему, мы так и решили, когда говорили об этом в последний раз.

— Я забыл. Хотя это, конечно, возможно. Но, может быть, есть и другая причина, совсем иная, и состоит она в том, что Театр всегда символичен и что бессознательно мы все это признаем.

— Я не сильна в символике, Мартин. Скажи как-нибудь попроще.

— Я верю теперь, — начал он серьезно, — что в нашей жизни, как и на сцене, декорации, костюмы, грим и реквизит — это только театр тепей, который складывают и уносят, когда представление окончено. А истинное, нетленное и прочное — это как раз все то, что стольким дуракам кажется прходящим и мимолетным... сокровеннейшие и глубочайшие чувства, которые честный художник отдает своей работе... корень и суть настоящего личного отношения... пламя. Да, чистое, незатухающее пламя...

Пораженная, она широко раскрыла глаза.

— Почему ты сказал это — о пламени — вот так? Мартин, что случилось?

Он пропустил вопрос мимо ушей и продолжал с большой теплотой:

— Паулина, какой бы пошлой ни казалась иногда эта мешаница из красок, холста, прожекторов и рекламы, мы, работающие в Театре просто потому, что он есть живой символ таинства жизни, — мы помогаем охранять пламя и приобщать к нему. — Он нарочно заговорил более легким тоном. — И пусть мы выглядим глупо, дорогая, мы все же служим божественной тайне.

— А когда я пыталась сказать что-то в этом роде в своей речи перед мэром, — вскричала она, — ты поднял меня на смех!

— Я был не прав. И прошу меня извинить, — добавил он, поднимаясь. — А теперь мне надо поработать.

Она тоже встала, восхищенная.

— Третий акт?

— Третий акт. У меня появились кое-какие мысли — хочу записать. Имей в виду, речь не о том, чтобы сделать его добрее и проще для публики. Я и теперь против этого, как и был до сих пор, может быть, даже больше. Но я хочу сделать его правдивее.

— Но что ты можешь сделать для своих героев? — воскликнула она. — Помнишь, что ты говорил? Ни взаимопонимания. Ни подлинного общения. Все бормочут и яростно жестикулируют за стеклянными дверьми.

— Я распахну для них некоторые из этих дверей. Я открою хотя бы одному или двоим, что общение может возникнуть, а взаимононимание стать глубже, чем... чем многие из нас осмеливаются мечтать. Я должен пойти на этот риск.

— На какой риск? О чем ты?

Он улыбнулся и сделал неопределенный жест в сторону ожидавшего его стола.

— Нет, Паулина.

— Ну, хорошо, я ухожу. Я скажу Бернарду, что сегодня третий акт не надо начинать и что, может быть, завтра у тебя будет готов новый финал.

— Спасибо, Паулина. — Он увидел, что она уходит, и сразу пошел к столу. Там лежало несколько листков с его каракулями, и он собрал их. Потом решил, что будет работать в кресле. Почему-то ему не хотелось сидеть за столом, повернувшись к комнате спиной. Он должен видеть комнату, а не показывать ей спину. Но Паулина не ушла. Она стояла уже в дверях.

— Мартин, что случилось?

Он покачал головой.

- Я принял четыре таблетки вместо двух.
- Это не все. Что-то случилось.
- Нет, дорогая, не торопи меня, — сказал он, усаживаясь. — Едва ли я могу на это ответить.
- Ты мне скажешь когда-нибудь?
- Попробую. Но это будет трудно. То, что я чувствовал, было страшно реально — вот почему я готов рискнуть открыть эти двери; но остальное... может быть, это был сон... или бред... или...
- Или что? Это не все.
- Может быть, и все. Ну, теперь хватит, Паулина.
- Ты трус, — сказала она запальчиво. Она отошла от двери и сделала несколько шагов к нему. — Ты почувствовал это, и это переменило тебя. Так или нет?
- Он ответил очень медленно, не глядя на нее:
- Общение и взаимопонимание вне нашего времени, где-то по ту сторону, где люди не так разъединены, как им представляется... нет, я не могу больше ничего сказать, дорогая.
- Ну хорошо, — сказала она тихо, — я не буду сейчас спрашивать. — И она быстро и грациозно подошла к нему, легко дотронулась до его плеча и поцеловала его. Потом строго прибавила: — Но, что бы это ни было, не возвращайся туда.
- Я и не хочу. Марш работать!
- Сейчас. Ты почти не смотришь на меня, — продолжала она, задумчиво разглядывая его, — словно ты вдруг обнаружил, что в кого-то влюблен. Я думаю, именно это хотела сказать эта Сьюард своей последней фразой.
- Тогда вы обе ошибаетесь. Все гораздо сложнее. Или, может быть, проще, — добавил он. — Влюблен в жизнь, пожалуй. Выбрался из бесплодной пустыни. Я постараюсь рассказать тебе когда-нибудь, Паулина, обещаю. Если смогу разобраться и не буду чувствовать, что дурачил самого себя.
- Почему ты должен был дурачить самого себя?
- Я не могу забыть скептической усмешки этого доктора. Он повидал людей вроде меня на своем веку.
- Доктора не всё знают. — Это было прекрасное, здравое заявление в устах Паулины, которая неслась с одного колца Харли-стрит на другой, стоило ей почувствовать легкое щекотание в горле.
- Нет, но кое-что знают. — Потом он продолжал,

понизив голос. — И у меня нет доказательств. Не может быть.

— Ты сам доказательство, — сказала она мягко. — Чего ты еще хочешь?

— Не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Поэтому я и не хочу говорить.

— Ну не раскисай, Мартин, и не делайся снова несчастным.

Когда она вышла, он был далек от того, чтобы снова чувствовать себя несчастным, но им овладело мрачное недоумение. Он положил пачку бумаги на колено, но не мог сосредоточиться на переделке третьего акта. Радуясь всякой отговорке, он сказал себе, что в комнате слишком много света. Все равно как если бы он пытался работать в каком-нибудь сверкающем огнями третьеразрядном музее. Он подошел к двери возле кабинета Оли и выключил почти весь свет, оставив ярко освещенным только свой угол. И вот он снова был в Зеленой Комнате, где все произошло. Но что именно? И откуда это идиотское чувство утраты, когда у него нет и тени доказательства, что хоть что-то вообще произошло на самом деле. О-о, надо или принять всю эту глупую историю на веру, или отбросить и покончить с нею! Но он не мог сделать ни того, ни другого и тяжело опустился в кресло, не в силах работать, колеблясь, и недоумевая, и злясь на самого себя. Но тут что-то алое с оливково-зеленым бросилось ему в глаза и заставило встать с кресла, и от недоумения, сомнения, презрения к самому себе не осталось и следа.

Перчатка снова лежала на полу.

Уильям Сароян



CITA

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Томаса Трейси был тигр. На самом деле это

была черная пантера, но это не имеет никакого значения, потому что думал он о ней как о тигре.

Зубы у тигра были белые-белые.

Откуда было взяться у Тома тигру? А вот откуда.

Когда Томасу Трейси было три года и он судил о вещах по тому, как звучали их названия, кто-то сказал при нем «тигр». И хотя Томас не знал, какой он, этот «тигр», ему очень захотелось иметь своего собственного.

Однажды он гулял с отцом по городу и увидел что-то в витрине рыбного ресторана.

— Купи мне этого тигра, — попросил он.

— Это омар, — сказал отец.

— Омара не надо.

Через несколько лет Томас и его мать пошли в зоопарк, и там он увидел настоящего тигра в клетке. Тигр был похож чем-то на свое название, на это не был *его* тигр.

Шли годы. В словарях, энциклопедиях, на картинах, в кино Тому встречались самые разнообразные животные. Среди них разгуливало много черных пантер, но ему ни разу не пришло в голову, что одна из них и есть *его* тигр.

Но как-то раз Том Трейси, уже пятнадцатилетний, прогуливался один по зоопарку, покуривая сигарету, искося поглядывая на девушек, и вдруг наткнулся на своего тигра.

Это была спящая черная пантера. Она тут же просну-

лась, подняла голову, посмотрела на него в упор, поднялась, голосом черных пантер произнесла, не раскрывая пасти, что-то вроде «айдж», подошла к самой решетке, постояла, глядя на Томаса, а потом повернулась и побрела назад, на помост, где она до этого спала; там она плюхнулась на живот и уставилась в пространство, куда-то далеко-далеко — за столько лет и миль, сколько их вообще существует.

Трейси стоял и смотрел на черную пантеру. Так оностоял пять минут, а потом отшвырнул сигарету, откашлялся, сплюнул и пошел прочь из зоопарка.

«Вот он, мой тигр», — сказал он себе.

Больше он не ходил в зоопарк смотреть на тигра: в этом не было никакой необходимости. Теперь у него был свой тигр. Он стал его тигром за те пять минут, пока Том наблюдал, как он смотрит в бесконечность с безмерной тигриной гордостью и отрешенностью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Томасу Трейси исполнился двадцать один год, они с тигром поехали в Нью-Йорк, где Томас поступил на работу к Отто Зейфанду, кофейному онтовику с конторой на Уоррен-стрит, неподалеку от Вашингтон Маркет. Большинство торговых контор в этом районе занималось поставками продовольственных товаров, так что, кроме бесплатного кофе в отделе дегустации, Томас получал также бесплатные овощи и фрукты.

За работу, которую выполнял Том, платили мало, но работа была хорошая, хотя и трудная. Сперва было очень нелегко поднять на спину мешок с кофе в сотни фунтов весом и пройти с ним пятьдесят ярдов, но уже через неделю это стало сущим пустяком, и даже тигр изумлялся легкости, с которой Томас перебрасывал мешки.

Однажды Томас Трейси попал к своему непосредственному начальнику, человеку по фамилии Валора, поговорить с ним о своем будущем.

- Я хочу стать дегустатором, — сказал Том Трейси.
- А кто тебя просил? — удивился Валора.
- Просил? О чём?
- Кто тебя просил стать дегустатором?
- Никто.
- Что ты знаешь о дегустаторском деле?
- Я люблю кофе.

— Что ты знаешь о дегустаторском деле? — снова спросил Валора.

— Я дегустировал немного — в отделе дегустации.

— Кофе с булочками ты пил в отделе дегустации, как все, кто не дегустирует профессионально.

— Когда кофе хороший, я чувствую, — сказал Томас. — Когда плохой — тоже чувствую.

— Как же ты это чувствуешь?

— На вкус.

— У нас три дегустатора: Ниммо, Пиберди и Рингерт, — сказал Валора. — Они работают у «Отто Зейфанг» двадцать пять, тридцать три, сорок два года. А ты?

— Две недели.

— И хочешь быть дегустатором?

— Да, сэр.

— И хочешь за две недели взобраться на самый верх лестницы?

— Да, сэр.

— И не хочешь ждать своей очереди?

— Нет, сэр.

И тут в кабинет Валоры вошел сам Отто Зейфанг. Валора вскочил со стула, но семидесятилетнему Отто Зейфангу это не нравилось, и он сказал:

— Садитесь, Валора. Продолжайте.

— Продолжать? — удивился Валора.

— Да, с того места, на котором я вас прервал, и не прикидывайтесь дурачком! — сказал Отто Зейфанг.

— Мы тут говорили о том, что этот новенький хочет работать дегустатором.

— Продолжайте.

— Он у нас две недели и уже хочет работать дегустатором.

— Продолжайте ваш разговор, — сказал Отто Зейфанг.

— Да, сэр, — ответил Валора и повернулся к Трейси.

— После каких-то двух недель, — сказал он, — ты хочешь получить работу, которую Ниммо, Пиберди и Рингерт получили, проработав в фирме двадцать, двадцать пять, тридцать лет? Правильно?

— Да, сэр, — ответил Том Трейси.

— Хочешь так вот запросто прийти к «Отто Зейфанг» и с ходу получить самую лучшую работу?

— Да, сэр.

— В дегустации кофе ты, конечно, большой специалист?

— Да, сэр.

— Какой вкус у хорошего кофе?

— Вкус кофе.

— Какой вкус у самого лучшего кофе?

— Вкус хорошего кофе.

— Чем хороший кофе отличается от лучшего?

— Рекламой, — ответил Томас Трейси.

Валора повернулся к Отто Зейфангу, словно говоря: «Ну что ты будешь делать с таким вот умником, невесть откуда взявшимся?» Но Отто Зейфанг ни единым словом не подбодрил его. Он ждал, что еще скажет Валора.

— В отделе дегустации пять вакансий, — сказал Валора.

— А когда будут? — спросил Том.

— Как только Ниммо умрет, — ответил Валора. — Но до тебя на это место тридцать девять кандидатов.

— Ниммо умрет не скоро, — сказал Томас.

— А я велю ему поторопиться.

— Я не хочу, чтобы Ниммо торопился.

— Но ты хочешь на его место?

— Нет, сэр, я хочу, чтобы в отделе дегустации работало четверо.

— И чтобы четвертым был ты? Но Шайвли первый в очереди.

— В какой очереди?

— В очереди дегустаторов кофе, — сказал Валора. — Так ты, значит, хочешь занять место Шайвли?

— Я не хочу занять место Шайвли, — ответил Трейси, — я хочу стать четвертым в отделе дегустации, потому что умею дегустировать кофе и знаю, когда он хороший.

— Знаешь?

— Да, сэр.

— Откуда ты взялся?

— Из Сан-Франциско.

— А почему бы тебе туда не вернуться?

И Валора обратился к Отто Зейфангу:

— Картина ясная, не правда ли, сэр?

Валора, а вместе с ним и Отто Зейфанг думали, что с ними говорит Том Трейси. На самом деле это был его тигр.

В первый момент Отто Зейфанг подумал: а не стоит

ли всем на удивление совершить неожиданный поступок, такой, какой он видел однажды в театре, на сцене? То есть неожиданный для Валоры, а может, даже и для Трейси. Но потом решил: здесь не сцена, здесь его, Отто Зейфалга, контора по импорту кофе, и одно дело — искусство, и совсем другое — импорт кофе. Трейси воображает, что он, Отто Зейфанг, возьмет четвертого дегустатора, и не кого-нибудь, а именно его, Трейси, только потому, что у него, этого Трейси, хватило духу подойти к Валоре и сказать ему правду: что он, Трейси, может отличить хороший кофе от плохого; а заодно показать, что он, Трейси, тоже кое-что соображает — по части рекламы, например. (До чего забавная штука искусство, если разобраться как следует, подумал Отто Зейфанг. Только потому, что какой-то мальчишка из Калифорнии быстро находит ответы на идиотские вопросы, ты, с точки зрения искусства, должен дать этому мальчишке то, что он просит, и сделать из него человека. Но что такое этот мальчишка на самом деле? Что он, собаку съел на кофе? Только им живет и дышит? Да ничего подобного: самый обыкновенный высокочка.)

И Отто Зейфанг решил: никаких неожиданных поступков совершать он не будет.

— Что ты делаешь? — спросил он у Тома Трейси.

— Йиши слова для песен, — ответил Томас.

— Да нет, я спрашиваю, что ты делаешь у «Отто Зейфанга»? Ты знаешь, кто я?

— Нет, не знаю, сэр. А кто вы?

— Отто Зейфанг.

— А кто я, вы знаете?

— Кто ты?

— Томас Трейси.

(У меня есть эта фирма, — подумал Отто Зейфанг. — Она у меня уже сорок пять лет. А что есть у тебя?)

(У меня есть тигр, — мысленно ответил ему Том Трейси.)

И, обменявшиеся этими мыслями, они возобновили разговор.

— Что ты делаешь у «Отто Зейфанга»? — спросил его старик.

— Я перетаскиваю мешки с кофе, — ответил Том.

— Ты хочешь продолжать работать? — спросил Отто Зейфанг.

Том Трейси знал, что собирается сказать его тигр, и

с нетерпением ждал, чтобы тигр сказал это, когда вдруг обнаружил, что тигр от скуки заснул. И Том услышал свой голос:

— Да, сэр, хочу.

— Тогда, черт тебя побери, марш на свое место! И если еще хоть раз придешь отнимать у Валоры время своей дурацкой болтовней, я тебя уволю. Валора и без твоей помощи умеет тратить время попусту — верно, Валора?

— Да, сэр, — ответил Валора.

Том Трейси пошел на свое место, оставив тигра крепко спать под конторкой у Валоры.

Когда тигр выспался и вернулся к Тому Трейси, Том не хотел с ним даже разговаривать.

— Айидж, — сказал тигр, желая, по-видимому, сломать лед.

— Пошел ты к черту со своим «айидж»! — огрызнулся Том. — Сыграть с другом такую шутку! Я думал, ты возмутишься. Мне в голову не приходило, что ты можешь заснуть. Думал — когда он спросил: «Ты хочешь продолжать работать?» — что ты скажешь что-нибудь дельное. А еще называется тигр!

— Мойл, — промямлил тигр.

— Мойл, — передразнил его Томас Трейси. — Пошел прочь!

Остаток этого дня Трейси перетаскивал мешки с кофе. Он сердито молчал, потому что никогда прежде не слушалось, чтобы тигр заснул и упустил такой удобный случай проявить свои дурные манеры. Тому Трейси это очень не понравилось. Его ужасно обеспокоила мысль о том, что в родословной тигра могут быть сомнительные звенья.

До метро в тот день Том Трейси шел после работы вместе с Ниммо. Ниммо был очень первый оттого, что целыми днями дегустировал кофе. Ему было почти столько же лет, сколько Отто Зейфанг, и у него не было тигра, и он даже не знал, что у человека может быть тигр. Ниммо просто стоял на дороге у Шайвли, а Шайвли стоял на дороге у тридцати восьми других кандидатов в отдел дегустации импортной конторы Отто Зейфанга.

Да, Том проработал целый день, но за это же самое время он сочинил три строчки новой песни. Он порабочает у Отто Зейфанга, пока тигр не стряхнет с себя оцепенение, но сам тем временем не будет становиться ни на чьей дороге, ни в какую очередь.

Когда Том Трейси вышел из метро на Бродвей, он решил выпить где-нибудь чашку кофе — и выпил ее. Он знал, что он квалифицированный дегустатор, однако ему не хотелось ждать тридцать пять лет, чтобы доказать это. Квалифицированно дегустируя, он выпил вторую чашку, потом третью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Время от времени глаза тигра начинали блуждать в надежде увидеть где-нибудь молодую тигрицу с хорошими манерами; к чему такая встреча может привести, он не задумывался. Но куда бы ни смотрел тигр, он почти нигде не видел тигриц, а лишь молодых бездомных кошек. В тех немногих случаях, когда тигрицы ему встречались, тигр Тома Трейси спешил по делам, и у него хватало времени только на то, чтобы обернуться, не останавливаясь, и посмотреть вслед. Огорчительное положение, и тигр об этом так и сказал:

- Люп.
- Что это значит?
- Алюп.
- Не понимаю.
- Аа, люп.
- Это еще что такое?
- Люналюп.
- Все равно ничего не понимаю.
- Аа, люналюп, — терпеливо сказал тигр.
- Если хочешь что-то объяснить, говори по-английски.
- Ля, — сказал тигр.
- Это скорее по-французски. Говори по-английски: ты же знаешь, что я не знаю французского.
- Соля.
- Соляр?
- Со, — сказал тигр.
- Не сокращай слова, а удлиняй, тогда я пойму.
- С, — проговорил тигр.
- Ты ведь можешь разговаривать как следует. Говори как следует или молчи.

Тигр замолчал.

Том Трейси стал думать, что же такое сказал тигр, и вдруг понял.

Случилось это во время ленча. Светило солнце, Том

Трейси стоял на ступеньках перед входом к «Отто Зейфанг» и слушал, как Ниммо, Пиберди и Рингерт говорят о высоком положении, которого они достигли в кофейном мире благодаря старательной дегустации. Том Трейси много раз пытался вставить хоть одно словечко о песне, которую он пишет, но это ему никак не удавалось.

Раздумывая над тем, что же хотел сказать тигр, он вдруг увидел, как по Уоррен-стрит идет девушка в облегающем желтом вязаном платье. У нее были роскошные ниспадающие на спину черные волосы. Они были такие густые, что казалось, это у нее грива. Они дышали жизнью и потрескивали электрическими искорками. Все мускулы тигра напряглись, точеная голова потянулась к девушке, хвост выпрямился, замер, дрожа еле заметной дрожью, и тигр, не раскрывая пасти, тихо, но пылко прорычал:

— Айидж.

Изумленные дегустаторы все, как один, повернулись к Тому: такого странного звука они не слышали никогда.

— Ах вот оно что, — сказал Том Трейси тигру, — теперь я попля.

— Айидж, — прорычал тигр страдальческим голосом и еще больше вытянул шею, а глаза Тома совсем неожиданно для него вдруг потонули в глазах молодой леди. Тигр прорычал и глаза потонули в одно и то же мгновение. Девушка услыхала рычание, дала потонуть глазам Тома в своих, чуть не остановилась, чуть не улыбнулась, желтое вязаное платье обтянуло ее еще туже, и она пошла танцующей походкой дальше, а тигр, глядя на нее, тихо застонал.

— Это так в Калифорнии говорят? — спросил Ниммо.

— Айидж, — сказал Том.

— Повтори еще раз, — сказал Пиберди.

Не спуская глаз с девушки, не спуская глаз с тигра, который вприпрыжку понесся следом за ней, Том повторил еще раз.

— Слышали, Рингерт? — спросил Пиберди. — Вот как, оказывается, говорят в Калифорнии, завидев красавицу.

— Слышал, не беспокойтесь, — ответил Рингерт.

— Слышать вы слышали, — сказал Ниммо, — а сами-то вы можете так?

— Конечно, не могу, — отозвался Рингерт, — но и из вас, старых дегустаторов, тоже никто так не может.

Дегустаторы согласились: и вправду не могут, к свое-

му большому сожалению. А потом они пошли на свои рабочие места, и тигр Трейси вприпрыжку побежал вслед за Трейси к штабелю мешков с кофе в дальнем конце склада, откуда был виден двор. Всю вторую половину дня Том перебрасывал мешки с такой легкостью, будто это детские погремушки.

— Я не знаю, кто эта девушка, — сказал он тигру, — но работает она где-то поблизости. Я постараюсь увидеть ее завтра во время ленча и послезавтра тоже, а после послезавтра приглашу ее на ленч.

Всю вторую половину этого дня Том Трейси пытался поговорить с тигром, но тигр в ответ только тихо рычал, не открывая пасти. Время от времени это рычанье слышали остальные рабочие. Все они были молодые, и все пробовали подражать его рычанию, но рычанье было неподражаемым: для этого надо было иметь собственного тигра. Одному из них, молодому человеку по имени Калани, почти удалось, и он отважился заявить Тому Трейси: все, что по плечу калифорнийцу, ему, техасцу, тем более под силу.

— Завтра, послезавтра, посленаполеонавтра, — сказал Том тигру. — Тогда я и приглашу ее на ленч.

Так все и получилось, и теперь они сидят друг против друга за одним столиком в кафе «О'кэй» и едят, а тигр ходит вокруг, стараясь не зарычать и даже не фыркнуть.

— Меня зовут Том Трейси, — сказал Том.

— Я знаю, — сказала она, — вы мне говорили.

— Я забыл.

— Вижу. Вы говорили мне три раза. Конечно, вы хотели сказать не Том, а Томас?

— Да, Томас Трейси. Так меня зовут, по это только мое имя. А имя человека — это еще не весь человек.

— А нет у вас еще какого-нибудь имени?

— Нет, только Томас Трейси — Том, если хотите короче.

— Я этого не хочу.

— Нет? — спросил Том, потому что в этих ее словах ему почудился огромный смысл. Одно предположение о том, в чем этот смысл состоит, привело его в трепет — трепет слишком сильный, чтобы он мог увидеть, что тигр глядит на что-то во все глаза, глядит в таком возбуждении, что все его тигриное тело выбирает как патинутая струна. Наконец Том посмотрел, на что же такое уставился тигр, и увидел: на молодую тигрицу.

— Нет? — снова спросил он.

— Нет, — ответила девушка. — Имя Томас Трейси нравится мне как оно есть. А вы не хотите узнать, как зовут меня?

— Как? — тихо спросил Том.

— Лора Люти.

— О, — простонал Том, — о, Лора Люти.

— Вам нравится? — спросила Лора Люти.

— Нравится ли мне? О, Лора, Лора Люти!

Лора Люти и Томас Трейси ели, а тигр и тигрица, резвясь, носились вокруг; и они продолжали носиться, когда те поднялись из-за стола и пошли к кассе и Том опустил в ящик восемьдесят пять центов за двоих.

Что значили для него деньги?

На улице Том взял Лору под руку и пошел с ней мимо «Отто Зейфенга», мимо Ниммо, Пиберди и Рингерта, стоявших у входа. Тигр и тигрица чинно шли рядом. Том проводил Лору до конторы, где она работала стенографисткой, через два квартала по Уоррен-стрит, недалеко от доков.

— Завтра? — спросил он, сам не зная, что он хочет этим сказать, но надеясь, что Лора знает.

— Да, — сказала Лора.

Тигр Тома Трейси пегромко заурчал. Тигрица Лоры улыбнулась едва заметно, опустила голову и отвернулась.

Томас Трейси пошел назад, к «Отто Зейфенгу», к дегустаторам, стоявшим у входа.

— Трейси, — сказал Ниммо, — падеюсь, я доживу до того, чтобы увидеть, что из этого получится.

— Доживете, — уверил его Том гневно и убежден-но, — доживете, Ниммо, — надо, чтобы вы дожили.

Тигр стоял посреди тротуара, глядя в пространство.

Когда Том после работы вышел на улицу, он обнаружил, что тигр стоит все на том же месте, посреди тротуара, и тоже остановился там, загораживая дорогу людям, возвращающимся с работы. Он долго стоял рядом с тигром, а потом повернулся и зашагал к метро, и тигр нехотя поплелся следом за ним.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лора Люти жила в Фар-Рокауэе. Субботы и воскресенья она проводила дома, с матерью.

Мать Лоры была, пожалуй, красивей самой Лоры, и зеркала у них в доме, как и их замечания о мужчинах —

киноактерах, актерах сцены, соседях и прихожанах, — отражали незаметное для посторонних глаз, но ни на миг не прекращающееся соперничество. (Церковь была напротив, через дорогу, и разглядывать мужчин было очень удобно. По субботам и воскресеньям они разглядывали их вместе, а в остальные дни мать Лоры или смотрела на них одна, или, имея возможность разглядывать их сколько душе угодно, возможностью этой не пользовалась. Временами, правда, ее взгляд — чисто случайно, разумеется, — останавливался на красивом, стройном мужчине, приходившем к вечеру в церковь исповедаться или собрать пожертвования.)

Соперничество между матерью и дочерью не ослабевало и не прекращалось даже несмотря на то, что каждый вечер со службы в Мапхэттене приходил домой отец Лоры, Оливэр Лютти, вот уже двадцать четыре года спавший в одной постели с миссис Лютти, которую звали Виолой.

Мистер Лютти служил по финансовой части. По финансовой части стал он служить с тех пор, как лег в одну постель с миссис Лютти. Она-то и направила его на этот путь, твердо заявив, что гораздо приличнее иметь дело с финансами, нежели с перевозками, — а именно с перевозками он имел дело до женитьбы. Если немного уточнить, то он был экспедитором, но Виола предпочитала говорить, что он имеет дело с перевозками, потому что, говоря так, ей часто удавалось убедить себя, что речь идет о перевозках скота или тракторов, а может, даже и кораблей. Подчас ей казалось, что мимолетное впечатление такого рода, развеять которое она, кстати сказать, не слишком торопилась, возникает и у других. Правда, впечатление это достаточно скоро развеивалось, но этому всегда предшествовал краткий миг пусть сомнительной, но столь желанной славы.

В доме Лютти передко можно было встретить весьма приятных людей далеко не избранныго круга. В них было что-то притягательное. В отличие от людей, о которых читалась в столбцах светской хроники, они казались ничтожествами — и, однако, по мере того как они, отвечая на любезные вопросы Виолы, раскрывали свою истинную сущность, все меньше и меньше казалось, что они ничтожества, и все больше и больше — что они, если бы им повезло, могли преуспеть на театральных подмостках.

Посещения эти планировались заранее и приходились обычно на воскресные вечера. Однажды — кроме Виолы,

об этом так никто никогда и не узнал — человек по фамилии Глеар, выйдя из ванной в переднюю и столкнувшись нос к носу с Виолой, возвращавшейся из спальни со старым номером «Ридерс дайджест» (ей хотелось показать в нем мистеру Глеару статью о перевозках), внезапно схватил ее в объятья и запечатлев на ее лице нечто более или менее напоминающее поцелуй. Ей запомнилось, что его дыхание пахло сен-сеном и что в кино он был бы конторщиком, — то есть в самих картинах, на экране, случись ему сняться. Узнав то, что она теперь знала — какое впечатление она произвела на энергичного мужчину, который мог бы стать киноактером, — Виола изменилась, и в последующие два года мистеру Люти пришлось с ней довольно трудно. Внешность мистера Глеара она за это время забыла и уже думала о нем не как о Глеаре, а как о Шермане — бог знает почему.

— Что стало с тем интересным мужчиной, Шерманом? — спросила она как-то мужа, и тот ответил, что теперь он стал статуей в парке города Саванны.

В один воскресный день дом Люти в Фар-Рокауэе посетил и Том Трейси.

Всю дорогу тигр был как на иголках — ему ужасно не терпелось увидеть тигрицу Лоры. И стоило Тому Трейси войти с тигром в дом, как там начали происходить преудивительнейшие вещи.

Том Трейси обратил внимание на мать Лоры, Виолу, а Виола обратила внимание на Тома Трейси. Это произошло не случайно. Не было ничего удивительного в том, что Томас обратил внимание на Виолу, так как в ней было много такого, на что не обратить внимание было просто невозможно. В ней была вся Лора, и притом ничуть не раздавшаяся от времени вширь, а только приобретшая из-за наскучившего целомудрия некоторую склонность к дурным поступкам.

Лора заметила, что Том и ее мать обратили внимание друг на друга, а потом она сама обратила внимание на отца, который заметил, что в церкви напротив происходит что-то необычное. Виола послала его за мороженым, чему он очень обрадовался, потому что церковь была как раз по пути к лавке, а ему хотелось заглянуть в нее и узнать, что же такое там происходит.

Когда он вышел, Виола принесла коробку шоколадных конфет и довольно многозначительно предложила Тому угощаться. Лора, делая вид, будто очень рада, что Том Трей-

си и ее мать так легко нашли общий язык, попросила извинить ее: она пойдет поищет свидетельство об окончании школы стенографии, где вместо Лютти по ошибке написано Лютти.

И Лора весело выпорхнула из комнаты, а Том Трейси и его тигр остались наедине с миссис Лютти и коробкой шоколадных конфет.

Каждый раз как Виола предлагала Тому конфету, Том ее принимал. Это повторилось шесть раз, после чего (произошло это совершенно безотчетно) Том вдруг встал — и принял все разом.

К своему изумлению, он обнаружил, что этого ждали. Он, как когда-то до него Глеар, тоже заключил невинную особу в объятья и тоже занечатлел на ее лице нечто напоминающее поцелуй — только его дыхание, как сразу заметила миссис Лютти, нахло острymi зубами. Томас Трейси отскочил в сторону как раз вовремя, чтобы дать дорогу тигру, и снова отскочил, когда разъяренный тигр мчался назад. После этого он решил подвергнуть теорию поцелуя еще одной экспериментальной проверке.

За этим занятием и застала его Лора Лютти, когда вошла в комнату.

Том попытался выдать то, что он делал, за что-то другое, хотя совершенно не представлял себе, чем это другое могло бы быть.

Рядом с Лорой он увидел тигрицу Лоры, она глядела на него с изумлением и ненавистью. Он посмотрел, где его тигр, но того и след простыл.

Том Трейси взял шляпу и вышел на улицу.

Он увидел, как из-за церкви показался мистер Лютти с мороженым, и заспешил прочь.

И только на Бродвее, в толпе гуляющих, тигр разыскал Тома и вошел с ним рядом.

— Больше никогда так не делай, — сказал Том.

Весь час ленча на следующий день Том Трейси простоял перед входом к «Отто Зейфантгу» в надежде увидеть Лору Лютти, но Лора Лютти так и не появилась.

Не появилась она также и ни в один из последующих дней недели.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Ну как, что-нибудь получается? — спросил Ниммо у Тома Трейси в пятницу в полдень.

— С песней? — спросил Том.

— Нет, — ответил Ниммо. — Кого интересует какая-то песня? Я спрашиваю, получается ли что-нибудь с черноволосой красавицей в ярком желтом платье?

— Айдже, — грустно сказал Том Трейси.

— Как это понимать? — спросил Ниммо.

— В прошлое воскресенье я был у них дома в Фар-Рокауэе и познакомился с ее матерью. Ее мать принесла коробку шоколадных конфет, и шесть из них я съел. Я не люблю шоколадные конфеты, но она все совала мне коробку, и я все ел и ел их одну за другой. Бояюсь, что все складывается не очень удачно.

— Почему?

— Потому что... я съел все эти конфеты, отец пошел за мороженым, дочь пошла за своим дипломом стенографистки, и тогда я обнял и поцеловал мать.

— Не может быть!

— Может.

Дегустатор начал громко икать.

— Что с вами? — спросил Том.

— Не знаю, — ответил Ниммо.

— Может, вам лучше пойти домой и лечь?

— Нет, все в порядке. Расскажите мне точно, что случилось, — мне надо знать.

— Я уже все сказал. Наверно, это конфеты ударили мне в голову.

— Что вы думаете делать?

— Добиваться, чтобы все как-то уладилось.

— Как добиваться?

— Как-нибудь в другой раз я буду стоять здесь, перед входом к «Отто Зейфандгу», во время лепча, и по Уорренстрит будет идти девушка, похожая на Лору Люти, и на этот раз, когда я пойду к ней в гости и познакомлюсь с ее матерью, я больше не стану есть шоколадные конфеты — вот и все.

— Таких девушек больше нет, — сказал Ниммо. — Пожалуй, я пойду подегустирую.

— У вас еще двадцать минут до конца перерыва.

— Нет, я пойду. Что толку торчать здесь? Что толку ждать?

Ниммо уже входил в здание, когда услышал стон Тома Трейси. Он обернулся и увидел проходящую мимо черноволосую красавицу, только теперь с ней шел незнакомый молодой человек, явно не из Калифорнии и, судя по всему, бухгалтер.

Возмущенный Ниммо отвернулся, а Том Трейси смотрел — и не верил своим глазам.

Он попробовал улыбнуться — и не мог.

Лора Лютти прошла, даже не удостоив его взглядом.

А Ниммо все икал и икал, и его раньше времени отпустили домой. На следующий день он не вышел на работу, а в понедельник утром в отделе дегустации появился на конец Шайвли в воскресном костюме из синей саржи, потому что Ниммо умер.

Некоторые говорят, что он умер от икоты, но это люди, подобные тем, кто говорит, что Камилл* умер от катара...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О сердца, что разбились в давние дни, о сердца, разбивающиеся теперь, о сердца, которые будут разбиты, Ниммо нет, Лора Лютти потеряна, Шайвли стал дегустатором, Пиберди и Рингерт обращаются с пим как с собакой, сомневаются в его дегустаторских способностях, многозначительно переглядываются...

Три строки песни Тома Трейси оказались, как это часто бывает, никуда не годными. Песня растаяла как дым, клочок бумаги, на котором Томас так старательно записывал слова, потерялся, мелодия позабылась.

В один из воскресных дней Томас Трейси и его тигр, повинуясь смутному зову какой-то древней безымянной религии, казавшейся им почему-то живой и новой, пошли, одинокие, каждый своим, человечьим или звериным, одиночеством, в церковь св. Патрика на Пятой авеню.

Они вошли и принялись все рассматривать.

А в следующую субботу Том бросил работу у «Отто Зейфандга» и уехал на родину — в Сан-Франциско.

Прошло несколько лет.

А потом вдруг Томасу Трейси исполнилось двадцать семь, и он снова был в Нью-Йорке и шел по его улицам, как ходил по ним шесть лет тому назад.

Он свернулся с Бродвея на Уоррен-стрит и направился к «Отто Зейфандгу», но теперь там висела вывеска «Товарный склад Кейни».

Значит, не повезло и кофейной kontоре? Ниммо, Пиберди, Рингерту, Шайвли, Зейфандгу — всем?

* Камилл — древнеримский полководец и государственный деятель, умерший от чумы. (Прим. перев.)

Когда тигр увидел знакомый вход, все его мышцы напряглись, потому что именно здесь простоял он однажды полдня, глядя туда, куда ушла Лора Люти.

Томас Трейси поспешил уйти от «Товарного склада Кейни». Он остановил такси, сел в него и вышел только у Публичной библиотеки.

Оттуда Том с тигром снова пошли по Пятой авеню. На улице было полно воскресного люда — мужчин, женщин и детей.

Том Трейси еще не нашел ту, которая могла бы занять место Лоры Люти. Ниммо предсказал, что ему вообще не пойти такую — и, в конце концов, может, Ниммо был прав?

Том остановился на углу за квартал от церкви св. Патрика и стал смотреть, как мальчики с сестренкой переходят улицу. Тигр остановился рядом, и Том положил руку ему на голову.

— Могли быть мои, — сказал Томас.

— Айидж, — сказал тигр.

Том побрел дальше. Рядом, не отставая ни на шаг, шел тигр — и Томас страшно изумился, когда увидел, что прохожие торопливо перебегают с его стороны улицы на противоположную. Он посмотрел туда — на ту сторону — и увидел целые толпы людей. Все они смотрели на него, некоторые — через фотоаппараты.

Без всякого злого умысла Том Трейси решил было перейти на другую сторону и выяснить, что произошло; но едва он сошел с тротуара на мостовую, как люди на другой стороне улицы бросились врассыпную, причем некоторые с криками, а женщины — с визгом.

Том повернулся к тигру и снова на него посмотрел.

Да-а-а... Тигр у него был большую часть его жизни, но ничего подобного до сих пор не случалось.

До сих пор тигра никто, кроме него, не видел.

Возможно ли, чтобы теперь тигра увидели и другие люди — все вообще?

Залаяли, затявкали и начали рваться с поводков собаки — такого тоже раньше не бывало. Томас Трейси остановился посреди Пятой авеню, чтобы пропустить автобус, и снова был ошеломлен, на этот раз — лицами водителя и пассажиров.

— Нет, ты подумай только! — сказал Томас Трейси тигру. — Похоже, что они тебя видят! Похоже, что они видят тебя по-настоящему, как вижу я почти всю свою

жизнь, но ты только посмотри на них: они от ужаса потеряли голову, они перепуганы до смерти! Боже, как они не поймут, что бояться абсолютно нечего?

— Айидж, — сказал тигр.

— Вот именно, — подтвердил Томас. — Я не слыхал, чтобы ты так хорошо говорил, с тех самых пор, как мы с тобой стояли у «Отто Зейфенга», а по Уоррен-стрит танцующей походкой шла Лора Люти.

Том Трейси и его тигр зашагали дальше по Пятой авеню ишли до тех пор, пока не оказались напротив церкви св. Патрика. Том решил зайти туда, как заходил с тигром шесть лет тому назад, и начал переходить улицу; но когда несколько человек, стоявших у церкви, это увидели, их словно ветром сдуло. И как раз в это время начали выходить на улицу люди из церкви. К службе Томас и его тигр опоздали, но зайти в церковь им все равно хотелось, хотелось снова пройтись по проходу посередине и снова посмотреть на все, что там есть красивого, — на прекрасную светлую высоту, на витражи, стройные колонны, горящие свечи.

Люди выходили из церкви тихими и умиротворенными, но на улице состояние их резко менялось, и они бросались бежать кто куда: в боковые улицы, в оба конца Пятой авеню, а некоторые назад, в церковь, спрятаться.

— Мне ужасно неприятно, — сказал Том. — Ничего похожего до сих пор не случалось, да ты и сам это знаешь.

— Айидж, — сказал тигр.

— В церковь мы все равно зайдем, — сказал Том.

Он положил руку тигру на голову, и они пошли вместе к ступеням входа, поднялись по ним и вошли внутрь — туда, где все радовало глаз.

Но если церковь внутри радовала глаз, то о поведении находившихся там людей, включая нескольких в сутанах, сказать этого было никак нельзя: уход их был быстр и неприлично поспешен.

Том Трейси и его тигр медленно пошли по центральному проходу. То тут, то там приоткрывались двери, на миг появлялись испуганные глаза, а потом двери захлопывались, и было слышно, как их запирают изнутри на ключ или на засов.

— Красиво, ничего не скажешь, — заметил Том, — но, помнишь, когда мы пришли сюда шесть лет назад, все было по-другому. Тогда было полным-полно пароду, муж-

чиц, женщин и детей, и все они чему-то радовались, не то что теперь — до смерти перепуганы, разбегаются без оглядки, прячутся за дверьми. Что произошло? Чего они испугались?

— Айдж, — сказал тигр.

Том Трейси и его тигр вышли из церкви через боковую дверь на Пятидесятую улицу; но едва они оказались на улице, как Томас увидел прямо перед собой броневик, нацеливший в них стволы пулеметов. Он посмотрел в сторону Мэдисон-авеню — и увидел другой броневик, а на углу Пятой авеню — еще два. За ними толпилось много людей с испуганными лицами, они будто ждали драки и хотели узнать, чем она кончится.

Человек, сидевший на месте водителя первого броневика, поспешил поднять окончик, чтобы падежней запираться от тигра.

— Что случилось? — удивился Том.

— Боже мой, — сказал водитель, — вы что, не видите животное рядом с вами?

— Конечно, вижу.

— Да ведь это пантера, сбежавшая из цирка!

— Что за глупости, — сказал Том. — Она и близко около цирка не бывала! И это вовсе не пантера, а тигр.

— Отойди, сейчас в нее будут стрелять.

— Стрелять? — удивился Том. — Да вы в своем уме?

И он запагал по Пятидесятой улице к Мэдисон-авеню. Водитель броневика включил мотор и медленно поехал рядом, уговаривая Тома отступить в сторону и дать застрелить тигра.

— Отойди в сторону, я тебе говорю!

— Проезжай мимо, — сказал Том. — Отведи свой броневик в гараж, в банк или где там ему полагается быть.

— Отойди, стрелять будем в любом случае!

— Не посмеете, — сказал Том.

— Ну что ж, сам напросился.

Том Трейси услышал звук выстрела. Посмотрел, не попало ли в тигра. Не попало, но тигр понесся к Мэдисон-авеню.

Тигр оказался необыкновенно быстрым, быстрей даже, чем предполагал Том. Когда он поравнялся со вторым броневиком, раздался новый выстрел; тигр подпрыгнул и упал, а когда вскочил и побежал снова, Том увидел, что бежит он на трех лапах, не касаясь земли передней пра-

вой. Добежав до Мэдисон-авеню, тигр исчез за углом; вслед за ним, во всю свою медленную мочь, загромыхал ближайший броневик.

Чтобы догнать тигра, Томас перешел на рысь.

Его остановили на углу трое в форме. Они втолкнули его во второй броневик, и броневик тронулся.

— За что вы хотите убить моего тигра? — спросил Том водителя.

— Вчера вечером животное сбежало из цирка, покалечив перед этим служителя.

— О чём вы говорите? — спросил Том.

— Ты слышал о чём.

— Этот тигр у меня почти всю жизнь.

— Не тигр у тебя почти всю жизнь, а что-то другое, — ответил водитель, — и скоро мы выясним, что именно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Томас Трейси сидел в кресле с высокой спинкой посередине огромной комнаты, где без устали сновали газетчики, фотографы, полицейские, дрессировщики зверей и множество другого народу.

Если этот тигр и в самом деле не был *его* тигром, то *его* тигр был сейчас где угодно, только не с ним.

Томас Трейси сидел один-одинешенек.

У его ног, на полу, не было никакого тигра.

В этом кресле он сидел уже больше часа.

Вдруг в комнату вошел кто-то еще.

— Доктор Пингицер, — услышал Томас чьи-то слова.

Том Трейси увидел маленького улыбающегося человечка лет семидесяти.

— Так, — обратился человечек к публике, — что есть это?

Несколько экспертов мгновенно окружили доктора, отвели его в сторону и объяснили ему, «что есть это».

— Ах-ха, — сказал доктор и направился к Тому Трейси.

— Мой мальчик, — сказал он, — я есть Рудольф Пингицер.

Том встал и пожал руку Рудольфу Пингицеру.

— Томас Трейси.

— Ах-ха, Томас Трейси, — и доктор Пингицер повернулся к присутствующим. — Такой же кресло для меня есть, а?

Тотчас принесли другое кресло с высокой спинкой — для доктора.

Он сел и весело сказал:

— Мне семьдесят два лет.

— Мне — двадцать семь, — ответил ему Том Трейси.

Доктор Пингицер начал набивать трубку, просыпал много табаку и не потрудился стряхнуть его с одежды, потратил семь спичек, чтобы закурить трубку, сделал дюжину затяжек и, не вынимая трубки изо рта, сказал:

— Я имею жена, шестьдесят девять лет, мальчик, сорок пять лет, психиатр, мальчик сорок два лет, психиатр, мальчик тридцать девять лет, психиатр, девочка тридцать шесть лет, говорит тридцать один, психиатр, девочка тридцать один лет, говорит двадцать шесть, психиатр, квартира, мебель, фотограф, пианино, телевизор, пишущий машин, но машин имеет расстройство.

— А почему вы ее не почините? — спросил Том.

— Ах да, — сказал доктор Пингицер. — Пишущий машин не употребляй. Есть для внук. Утиль. Вот что у меня есть — много психиатр.

— А деньги у вас есть?

— Нет. Так много психиатр есть отшен дорого. Имей книги. Имей также — ах да, кровать. Для сон. Ночь. Я ложусь. Сплю. Некоторый перемен.

— А друзья у вас есть?

— Много, — ответил доктор Пингицер. — Конечно, когда я говорю — друзей... — руки доктора Пингицера за-двигались быстро-быстро, и он стал издавать какие-то негромкие звуки, очень странные, — ви понимайт, что я хочу говорить, — снова странные звуки, — конечно. Кто знает?

— А в церковь вы ходите? — спросил Том.

— Ах, — сказал доктор Пингицер. — Да. Сентиментен. Люблю. Отшен мило.

Какой-то газетчик вышел вперед и сказал:

— А сами вы, доктор, вопросы задавать не собираетесь?

— Ах-ха? — отозвался доктор. — Если быть бесед с доктор Пингицер, комната быть пустой.

Капитан полиции — его звали Хьюзинга, он здесь был самый главный — громко сказал:

— Все слышали? Освободить помещение!

Газетчики было запротестовали, но Хьюзинга и его люди выпроводили всех в коридор. Когда комната опусте-

ла, доктор, мирно попыхивая трубкой, улыбнулся Тому — задремал. Том и сам изрядно утомился и поэтому тоже задремал. Старик похрапывал, а Том — нет.

Внезапно дверь распахнулась, и фотограф молниеносно снял двух мужчин, спящих в креслах с высокими спинками.

Тогда Хьюзинга вошел и разбудил доктора.

— Ах-ха, — сказал доктор.

Хьюзинга хотело разбудить и Тома, но доктор сказал:

— Нет. Отшепен нужно.

— Хорошо, доктор, — сказал Хьюзинга и вышел на цыпочках из комнаты.

Старичок стал смотреть, какое выражение лица у спящего Тома, но Том через секунду открыл глаза.

— Мне снится я в Вена, — сказал доктор.

— Когда вы были там в последний раз? — спросил Том.

— Двадцать лет назад, — ответил доктор Пингицер. — Давным-давно. Я люблю отшепен много мороженый. Ваниль.

— А кофе любите? — спросил Том.

— Кофе? Я из Вена, я кофе жив. Ах-ха.

И он крикнул громко — так, чтобы его услышали за дверью:

— Кофе, пошалуста!

Хьюзинга велел одному из своих подчиненных принести кофе и две чашки.

— Он знает, — сказал Хьюзинга. — Он знает, что делает.

— Будем пить кофе, — объявил старичок. — Что-то есть случилось. Я не знаю.

— Они ранили моего тигра.

— Отшепен шаль.

— Мы с ним зашли, как несть лет назад, в церковь святого Патрика, но, когда мы оттуда вышли, нас ждал броневик, а дальше по Пятидесятой улице — другой. Стали в нас стрелять, в первый раз промахнулись, но тигр испугался и побежал, и, когда он добежал до второго броневика, его ранили в ногу.

— Этот тигр — он есть ваш тигр?

— Мой.

— Потщему?

— Он со мной большую часть моей жизни.

— Ах-ха, — сказал старичок. — Он есть тигр как собака есть собак?

— Вы хотите знать, взаправдашний ли это тигр — ну, как в джунглях или в цирке?

— Именно.

— Нет, не взаправдашний. Точнее, был невзаправдашний до сегодняшнего дня, но сегодня он был взаправдашний — и в то же время этот тигр был мой тигр.

— Потому говорят, что тигр есть бежаль из цирка?

— Не знаю.

— Такой возможно?

— Я думаю, да. Любое животное при первой возможности постараётся убежать из клетки.

— Ви не боитесь этот тигр? — спросил доктор Пингицер. — У нас тут где-то есть много фото, снятый газетный фотограф. Мой молодой дочь одно время имел хобби фотографиен. Снимки, снимки — и все снимки папа. Я!

Он повернулся к двери и громко сказал:

— Фотографий, пошалуста!

Хьюзинга вошел, взял со стола дюжину фотографий и протянул их доктору, и тот быстро-быстро их просмотрел, ни на одной не задерживаясь; его глаза и руки двигались с необычайной скоростью.

— Ви не боитесь этот зверь, — сказал он опять скоро-говоркой, — этот тигр? Это есть черный пантер.

— Да, я знаю, но все равно это мой тигр.

— Ви иметь это название, «тигр», для этот животный?

— Да. Я знаю, что это черная пантера, но я всегда думал о ней как о тигре.

— Ваш тигр?

— Да.

— Вы не боитесь этот тигр?

— Нет.

— Все боятся тигр.

— Все много чего боятся.

— Я боюсь ночь, — сказал доктор Пингицер. — В Вена ночь я иду, когда я молодой человек, где есть много огня, много свет. Тогда я не боюсь ночь.

Хьюзинга, для которого доктор Пингицер был чем-то вроде божества, принес и налил кофе.

— Теперь мы дегустирен кофе, — сказал доктор.

— Когда-то я хотел быть профессиональным дегустатором, — сказал Том Трейси.

— Ах да? Давайте будем сейчас выпивать кофе. Иметь удовольствий. Наш жизнь отшеп короткий.

Он показал рукой в сторону двери:

— Много... много... много...

Он скорчил гримасу, по так и не смог найти нужные слова.

— Да, — подтвердил Том.

И они стали молча пить кофе, и Томас Трейси старательно дегустировал, как дегустировал, сидя с Ниммо, Пиберди и Рингертом, шесть лет тому назад у «Отто Зейфанта».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда они продегустировали по три чашки, доктор Пингицер сказал:

— Ах-ха. Работать. Не люблю работать. Не люблю психиатрия. Всегда не люблю работать. Люблю смех, игра, фантазия, фокус.

— Почему же вы тогда работаете? — удивился Том.

— Потшему? Недоразумений, — и доктор на мгновение задумался. — В Вена я видел эта девушка, Эльза. Это есть Эльза Варсхок. Ах-ха. Эльза есть жеша, есть мать, есть сказаль: «Где для еда деньги?» Так? Я работай.

— Вы разбираетесь в психиатрии? — спросил Том.

— Психиатрия — нет. Люди — мало-мало. Мало-мало-мало. Каждый год, каждый день — меньше, меньше, меньше, меньше. Потшему? Люди есть трудный. Люди есть люди. Люди есть смех, игра, фантазия, фокус. Ах-ха. Люди есть больной, люди есть помешан, люди есть обижен, люди есть обижать люди, есть убить, есть убить себя. Где есть смех, где есть игра, где есть фантазия, где есть фокус? Психиатрия — не люблю. Люди — люблю. Помешанный люди, прекрасный люди, обиженный люди, больной люди, разбитый люди — люблю, люблю. Потшему? Потшему люди терял смех, игра, фантазия, фокус? Для чего? Ах-ха. Деньги? — Он улыбнулся. — Я думаю, да. Деньги. Любовь есть деньги. Красота есть деньги. Смех есть деньги. Где есть деньги? Я не знаю. Больше нет смех. Работать теперь. Работать. Тигр. Тигр.

— Вы знаете стихотворение?

— Есть стихотворений?

— Конечно.

— Какой? — спросил доктор Пингицер.

Тигр, о тигр, светло горящий, —
начал Том, —

В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой? *

- Ах-ха. Есть больше?
- Да, и порядочно, если только я не забыл.
- Пошалуста, — сказал доктор Пингицер.

В небесах или глубинах, —
продолжал Том,

Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

- Хо-хо. Такой стихотворений я не слышал семьдесят два лет! Кто делал этот стихотворений?

— Уильям Блейк.

- Браво, Уильям Блейк! — воскликнул доктор Пингицер. — Есть больше?

— Да. Минутку... Вот:

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы?
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?

- Больше? — спросил доктор.

— Кажется, вспомнил все:

Что за гори пред ним пытал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной,
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила
И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!

* Перевод С. Маршака. (Прим. перев.)

Чьей бессмертною рукой
Создан грозный облик твой?

Томас Трейси умолк, а потом сказал:

— Вот и все стихотворение.

— Ах-ха. Спасибо. Теперь: ви знайт этот стихотворение с ребенка. Да?

— Да, — ответил Том, — я начал читать его наизусть, когда мне было три года.

— Вы по и майт этот стихотворений?

— Ничего я не понимаю — просто оно мне нравится.

— Ах-ха. Так.

Старик повернулся к двери:

— Много... много... много... Теперь: два вопрос. Один. Ваш тигр есть чей?

— Мой.

— Два, — продолжал доктор Пингицер. — Тигр на улице есть чей?

— Мм... Наверно, и в самом деле вчера вечером черная пантера покалечила служителя и убежала из цирка — такое бывает. И наверно, раненая черная пантера разгуливает сейчас по улицам Нью-Йорка. Из одного только страха она может убить кого-нибудь, если решит, что так нужно. Но эта же черная пантера, разгуливающая по городу, — также и мой тигр.

— Так?

— Так.

— Потшему? — спросил доктор Пингицер.

— Не знаю — знаю только, что он ходил со мной по Пятой авеню, и мы зашли с ним в церковь святого Патрика. Ни на кого он не бросался. Не отходил от меня ни на шаг. Не побежал, пока в него не начали стрелять. Если бы в вас начали стрелять, разве бы вы не побежали?

— Отщен быстро, — подтвердил доктор Пингицер. — Семьдесят два лет, но отщен быстро.

Он помолчал, представляя себе, как он в свои семьдесят два года очень быстро бежит, а потом сказал:

— Полиция, они убьют этот животный.

— Постараются убить.

— Убьют.

— Постараются, — сказал Том, — но не убьют, потому что не смогут.

— Потшему? Они не смогут?

— Этого тигра нельзя убить.

— Один тигр? Нельзя убивать? Потшему?

— Нельзя — и все.
— Но сам тигр будет убить?
— Если нужно.
— Это есть справедливо?
— Не знаю. А по-вашему как?
— Я тоже не знай, — ответил доктор. — Я знай отшен мало. Отшен, отшен, отшен мало. Ах-ха. Вопрос психиатрия: ви есть сумасшедший?
— Да, конечно.

Старичок посмотрел на дверь и приложил палец к губам.

— Тихо, — прошептал он.
— Я сумасшедший оттого, что они ранили тигра, — продолжал Том, — оттого, что еще раньше они посадили его в клетку, оттого, что его отдали в цирк. Но, кроме того, я сумасшедший от рождения.

— Я тоже, но это есть информация не сказать. — Доктор Пингицер снова посмотрел на дверь. Вдруг он встал. — Я говорю так: этот человек есть здоров. Это они понимайт. Ах-ха! Работа копец.

Он громко сказал:
— О'кэй, пошалуста!
Первым вошел Хьюзипга, а вслед за ним и остальные.
Доктор Пингицер обвел взглядом лица и стал ждать тишины. А потом он сказал:

— Ах-ха! Этот человек есть здоров.
Какой-то мужчина, совсем не похожий на доктора Пингицера, вышел вперед и сказал:
— Доктор Пингицер, я доктор Скаттер, главный психиатр острова Маухэттен. Могу я узнать, каким путем вы пришли к такому заключению?

— Нет, — ответил доктор Пингицер и повернулся к Тому Трейси. — До свиданья, мой мальчик.

— До свиданья, — ответил Том.
Доктор Пингицер оглядел присутствующих и пошел к двери.

Пока он шел, его сфотографировали газетные фотографы, и один из них спросил:

— Как насчет черной пантеры, доктор Пингицер? Действительно ли она его, как он говорит?

— Я имел обследовать его, а не черный пантер, — ответил доктор.

К доктору Пингицеру шагнул другой репортер:
— Доктор, почему черная пантера его не тронула?

— Не злай, — ответил доктор Пингицер.

— Неужели из разговора с ним вы ничего об этом не узнали? — не отставал репортер.

— Ничего, — ответил доктор Пингицер.

— Ну, а как быть, если черная пантера свободно разгуливает по городу? — спросил репортер.

— Это не есть проблема психиатрия, — ответил доктор.

— А какая же?

— Откуда есть этот черный пантер?

— Из цирка.

— Цирковой проблем, — сказал доктор Пингицер и вышел из комнаты.

Все окружили доктора Скаттера, которого совсем не удовлетворили ни заключение доктора Пингицера, ни его манеры.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Томас Трейси, прогуливаясь по улице с тигром, не нарушил этим никакого закона.

Однако то, что он сделал, настолько выходило за рамки обычного, было так неправдоподобно, что казалось всем противозаконным и уж, во всяком случае, дерзким, опрометчивым и бесактным.

И конечно, всем и каждому было ясно, что Том безумен. Чтобы нормальный человек расхаживал по улицам с черной пантерой, сбежавшей из цирка, как будто между ним и животным полное взаимопонимание, — да такого просто не бывает!

Поэтому после ухода доктора Пингицера Томаса Трейси решил обследовать доктор Скаттер, который не мог противостоять искушению дать ответам Тома такое истолкование, которое соответствовало бы его, доктора Скаттера, воспитанию и предрассудкам.

Доктор Скаттер без всякого труда доказал, что Томас Трейси сумасшедший. Сделать это очень легко, это можно сделать с кем хочешь.

— Далее, — сказал доктор Скаттер, обращаясь ко всем, в том числе и к капитану полиции Эрлу Хьюзинге, который, единственный среди присутствующих, отказывался верить заключению доктора Скаттера и упорствовал в своем почтительном отношении к заключению доктора Пингицера, — когда обследуемого спросили, как бы он отнесся к пребыванию в течение неопределенного времени

в «Бельвию» * для более полного и длительного психиатрического обследования, он ответил, что предпочел бы уехать домой, но если ему все же придется пробыть сколько-то времени в «Бельвию», он постараётся провести это время наилучшим образом и постараётся чувствовать себя там как дома, не хуже, чем в любом другом месте, а если можно, то и лучше. Такая реакция с его стороны наводит на мысль, что, помимо ранее выявленных симптомов, у обследуемого налицо также комплекс мученичества; кроме того, реакция эта свидетельствует о психотическом высокомерии и пренебрежении к интеллектуальным возможностям общества. Обследуемый явно находится во власти бредовых идей, считает, что законы, определяющие поведение остальных членов общества, в его случае не имеют силы. В основе такой уверенности лежит длительное общение с неким воображаемым тигром, который, как заявляет обследуемый, принадлежит исключительно ему и, по его признанию, обладает даром речи — иными словами, способен общаться только с Томом Трейси. По-моему, ни у кого не может быть сомнений в том, что его необходимо отправить в «Бельвию» для обследования и лечения.

Вот как Томаса Трейси в одно прекрасное октябрьское воскресенье отправили в психиатрическую больницу «Бельвию».

Том обнаружил, что люди там совсем сумасшедшие. И еще обнаружил, что у каждого из них есть тигр — очень большой, очень рассерженный, где-то глубоко раненый тигр, утративший чувство юмора, любовь к свободе, радость, фантазию и надежду.

Был там сын Ниммо с поинкшим, умирающим тигром; дочь Ниберди с тигром, напуганным до смерти, который искался без остановки взад-вперед; Рингерт собственной персоной с тигром, похожим на усталого старого пса.

И Лора Люти, чья некогда прекрасная тигрица была теперь загнанной, истощенной и жалкой.

Без тигра был один Томас Трейси.

Тигр Тома Трейси скрывался в подвале похоронного бюро Руша, Рубелинга и Райана, что на Мэдисон-авеню, между Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой улицами. Там было темно и таинственно, и все напоминало о смерти. Тигр скрывался под комнатой, где Руш, Рубелинг и Райан украшали мертвцевов пурпурой, румянами и улыбками.

* Психиатрическая больница в Нью-Йорке. (Прим. перев.)

Там и лежал его тигр в страхе и одиночестве, тоскующий и павший духом, и было у него только одно желание — умереть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Стоит ли говорить, как повлияла на жителей Нью-Йорка история Тома Трейси и его тигра, расписанная на первых полосах всех газет; раздутая до еще больших размеров известными и неизвестными комментаторами радио и телевидения; дополненная кадрами кинохроники, где Томас Трейси и его тигр шли вместе по Пятой авеню, заходили в церковь и выходили из церкви; подтверждавшаяся фотографиями, где Том Трейси пил кофе с доктором Пингацером в обществе полицейских, психиатров, газетчиков и других?

Повлияла самым обычным образом.

Простодушные собаки, направлявшиеся в укромное место облегчиться, сталкивались с мужчинами, которые, увидев их, падали как подкошенные; женщины визжали при виде любой тени и шлепали детей, просившихся на улицу погулять.

В воскресенье вечером все сидели по домам, а многие — и в понедельник утром, так как тигр был все еще на свободе, а Томас Трейси — в «Бельвио».

Томаса Трейси много обследовали.

Он, в свою очередь, тоже нашел своих обследователей небезынтересными.

В свободное время Томас навещал Лору Лютти, которая никак не могла его вспомнить. Он завел разговор о воскресном визите в Фар-Рокауэй, но Лора, бледная и поблекшая, ничего не помнила.

— Я съел тогда шесть шоколадных конфет, — напомнил Том.

— Надо было съесть семь, — сказала Лора.

— Зачем?

— Тогда бы была одна про запас. Всегда хорошо иметь про запас. Я всегда была такого мнения.

— Иметь про запас шоколадные конфеты? — спросил Том.

— Все вообще, — ответила Лора. — Мать, отца, жизнь, удачу. Шесть хорошо, но с одной про запас еще лучше. Одна, одна, еще одна, должна же быть еще одна.

— Неужели вы не помните? — спросил Том. — Ваш отец еще пошел за мороженым.

— Мороженое тает. В этом секрет мороженого — оно тает.

— Лора, — сказал Том, — посмотрите на меня, послушайте меня.

— Ничего нет печальней тающего мороженого, — сказала Лора.

— И вовсе это не печально, — возразил Том. — Мороженое должно таять.

— Правда?

— Конечно!

— А я не знала. Я так плакала, когда увидела, как тает мороженое.

— Какое мороженое, Лора?

— Девочка из мороженого, мальчик из мороженого, — ответила Лора. — А я не знала. Столько слез, и все зря. Я плакала, пока тоже не растаяла. Вы точно знаете про мороженое?

— Нет, — сказал Том, — не точно. Я не знаю, что произошло, но это и неважно. Послушайте меня, Лора: однажды, шесть лет тому назад, я стоял перед входом к «Отто Зейфанду».

— Почему вы там стояли?

— Я там работал. Я стоял и разговаривал с дегустаторами кофе — Ниммо, Ниберди и Рингертом.

— Где они теперь?

— Ниммо умер, Рингерт здесь, а где Ниберди — я не знаю. Так вот: я там стоял и увидел, что по Уоррен-стрит идет прекрасная девушки.

— Прекрасная?

— Самая прекрасная девушка в мире.

— И кто же она была?

— Вы, Лора.

— Я? Самая прекрасная девушка в мире? Должно быть, вы ошибаетесь.

— Нет. Это были вы, Лора.

— Ну а теперь уж я наверняка не самая прекрасная девушка в мире.

— Вот об этом я и хочу поговорить.

— Хорошо, поговорите.

— Я хочу, чтобы вы снова прошли по Уоррен-стрит.

— Вы хотите?

— Да.

- Почему?
- Не знаю, как это выразить... Я люблю вас.
- Что вы хотите этим сказать?
- Не знаю. Наверно, я хочу этим сказать... что вы по-прежнему самая прекрасная девушка в мире.
- Вот уж ист.
- Да — для меня.
- Нет, — сказала Лора. — Это так самоиздевлино — быть прекрасной. Это просто дурной вкус. И это вызывает жалость куда большую, чем когда ты лежишь и знаешь, что ты мертвая.
- Вы не мертвая, Лора.
- О нет, мертвая.
- Лора, ради бога, я люблю вас, Лора.
- Извините, очень прошу извинить меня, но я все-таки хочу быть мертвой.

Томас Трейси не знал, что и думать. Неужели она и в самом деле сумасшедшая?

Как и доктор Пингицер, он не знал.

Так или иначе, она была в «Бельви».

До этого она много месяцев лежала в горячке и, по мнению специалистов, скоро должна была умереть.

Они знали, что потом все они тоже умрут, по это их не тревожило, потому что они надеялись умереть в здравом уме и твердой памяти.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Беснокойная для Нью-Йорка неделя миновала.

Тигр был по-прежнему на свободе, то есть, попросту говоря, умирал от голода и страха под комнатой, где Руш, Рубеллинг и Райан бальзамировали мертвцевов.

Однако, по сведениям из газет, в понедельник утром тигра видели в трех разных местах в Гарлеме, в двух — в Гринвич-Виллидж и в шести — в Бруклине; а в Фресно, штат Калифорния, мальчик убил из ружья двадцать второго калибра черную кошку, чье сходство с тигром Тома Трейси было достаточно велико, чтобы стоило заняться ею. Фотография мальчика, который гордо держит за хвост убитую кошку, обошла все газеты страны.

Фамилия его была Бенинтенди, имя — Сальваторе.

К вечеру во вторник тигра уже видели самые разные люди во всех концах страны.

Какой-то лондонец увидел его в Сохо и послал в

«Таймс» письмо, где объяснял, как эта, говоря его словами, «тварь» могла попасть туда. Объяснение было очень интересное, и симпатии автора были целиком на стороне «твари», как это бывает иногда с симпатиями англичан — во всяком случае, добродушных английских чудаков.

Букмекер в Сиэтле, избитый людьми из шайки соперничающего букмекера, сообщил полиции, что на него напал «Тигр Тома Трейси».

Хозяин одного чикагского салуна стал рекламировать новый коктейль «Тигр Тома Трейси», двадцать пять центов порция.

Владелец фабрики игрушек в Толедо, штат Огайо, созвал своих художников и коммивояжеров, и уже к утру субботы у него на столе были: черный бархатный «Тигр Тома Трейси», которого дети могут брать с собой в постель, образец свитера с отштампованным изображением тигра и его кличкой, резиновые надувные «Тигры Тома Трейси» различной величины и коробочка, из которой «Тигр Тома Трейси» прыгает на ваших близких.

У самого же зверя была простуда, быстро переходившая в плеврит. Его глаза потеряли блеск, из них все время выделялась желтая слизь. Нос у него был заложен. Белые зубы покрыл налет, у которого был вкус близкой смерти.

Томас Трейси по-прежнему находился под наблюдением врачей, результаты которого вместе с другими не менее сенсационными новостями ежедневно сообщались стране и миру.

Дюжина, а то и больше психиатров и газетчиков благодаря Тому Трейси и его тигру стали знаменитостями.

Какой-то пропырливый репортер обнаружил преданность Тома Лоре Лют и потряс мир газетной шапкой:

ТОМАС ЛЮБИТ ЛОРУ ХОЗЯИН ТИГРА УВЛЕЧЕН КРАСОТКОЙ «БЕЛЬВЮ»

«Миррор», которой не очень везло с материалами о Томе Трейси и его тигре, взяла реванш у других газет, потребовав немедленного расследования работы нью-йоркской полиции и смещения, если нужно, ее начальника, Огаста Блэя, ибо раз он не в состоянии поймать или застрелить хромого тигра, какую помощь получат от него граждане Нью-Йорка, если на город будет сброшена бомба?

Эта тема была подхвачена людьми, с готовностью подхватывающими самые разнообразные темы.

«Миррор» спросила напрямик начальника нью-йоркской полиции: «Когда вы сможете гарантировать населению самого большого города в мире, что тигр Трейси будет уничтожен или пойман и люди снова получат возможность спать спокойно?»

Этот вопрос был задан ему по телеграфу.

Шеф полиции Блай созвал самых умных своих подчиненных и попросил их ответить на телеграмму. Получилась дюжина разных ответов, но ни один не годился, потому что никто не знал, когда же тигр будет пойман или уничтожен.

«Я и сам не знаю», — хотел ответить шеф полиции, но не посмел.

Вместо этого был написан и отправлен в газету «Миррор» — тоже по телеграфу — ответ из пятисот слов. Он был напечатан на первой полосе под заголовком: «Позор нью-йоркской полиции». «Миррор» потребовала, чтобы Блай подал в отставку. Газета также предложила награду в пять тысяч долларов тому мужчине, женщине или ребенку независимо от пола, цвета кожи и вероисповедания, который доставит «Тигра Тома Трейси» живым или мертвым в редакцию газеты «Миррор».

На следующий день какой-то человек привел в редакцию «Миррор» черную пантеру с простреленной павлиновой головой, и «Миррор» получила паконец сенсационный материал, которого ей так не хватало.

Материал о том, как был убит «Тигр Тома Трейси», разослали по всей стране и по всему миру.

Несколько часов подряд в редакции не умолкали телефонные звонки. Звонили герою дня, Арту Плайли, и в основном женщины. Некоторые из них предлагали себя в невесты. В редакции уже рассматривался вопрос о покупке ему приличного костюма, чтобы Арта Плайли можно было показать в рубрике «Знаменитости наших дней», когда полиция доставила туда Тома Трейси — посмотреть на убитого тигра.

Все прочие газеты прислали на всякий случай по репортеру и по фотографу. Пожалуй, шеф полиции шел на чудовищный риск, но проверить и разобраться все-таки следовало.

«Миррор», однако, не захотела показать тигра Тому Трейси.

Арта Плайли попросили сфотографироваться пожимающим руку Тому Трейси, но он уже знал, что к чему, и заявил:

— Меньше чем за пять не могу.

— Пять чего? — спросили Арта Плайли.

— Сотен, — ответил он. — «Миррор» может снимать меня задаром, так написано в контракте. Но другая газета — только за пять сотен.

— Это школьная газета, — пошутил фотограф, и Арт Плайли, никогда не учившийся в школе, счел своим долгом пожать руку Тома Трейси бесплатно, за что главный редактор «Миррор» строго его отчитал.

Что касается Тома Трейси, то он пожимал руки всем и каждому, думая, что все ему искренне сочувствуют, или же просто потому, что ничего другого ему не оставалось делать.

«Ньюс» обвинила «Миррор» в том, что эта последняя ввела в заблуждение жителей Нью-Йорка и что мертвый тигр, находящийся в распоряжении вышеупомянутой газеты, вовсе не «Тигр Тома Трейси».

Разгоревшиеся соперничество и зависть привели к тому, что через два дня в торжественной обстановке состоялся официальный осмотр тигра газеты «Миррор» Томасом Трейси и дрессировщиком зверя, сбежавшего из цирка, а также полудюжины людей, готовых ради саморекламы на все.

Церемония была непродолжительной. Трейси посмотрел на мертвую черную пантеру, лежавшую возле специально изготовленного гроба, в котором «Миррор» собирались похоронить ее, — посмотрел издали, с противоположного конца комнаты. И тут же, не дожидаясь никаких вопросов, заговорил, не оставив камня на камне от задуманной церемонии.

— Это не мой тигр, — сказал он. — Это даже не черная пантера. Это пума, у которой мех выкрашен в черный цвет.

Чтобы подвести черту под аферой, Арта Плайли арестовали, деньги с его банковского счета вернули газете «Миррор», а самого его посадили в тюрьму. Там, однако, его посетил главный редактор газеты «Ньюс», и состоялась новая сделка: если Плайли предоставит газете «Ньюс» исключительное право на публикацию своих признаний, газета «Ньюс» заплатит ему шесть тысяч долларов. Плайли признавался в течение трех дней, в резуль-

тате чего заработал немалый срок. Случилось это потому, что в своих признаниях он старался не пропустить ничего, и таким образом всплыли многие другие его ловкие проделки. Он объяснил, что ему всегда хотелось приобрести известность, и теперь, когда он ее наконец приобретает, нет смысла останавливаться на полпути.

Было бы скучно входить в детали его признаний. Ему хотелось прославиться — вот и все.

На девятый день пребывания под похоронным бюро Руша, Рубелинга и Райана тигру Тома Трейси стало совсем худо. И тогда поздним вечером, дрожащий и отчаявшийся, он выполз из своего убежища к открытому мусорному баку, где обнаружил кости, остатки мяса и овощную ботву. Все это он стал понемногу перетаскивать к себе в убежище.

Маленький мальчик, проснувшись от кашля в два часа ночи и дожидавшийся, пока мать принесет лекарство, сказал, когда она подошла к нему:

— Мама, посмотри, какая большая кошка около мусорного бака!

Мама посмотрела и разбудила папу. Ружья у папы не было, но зато он был фотолюбителем и у него был аппарат со вспышкой.

Папа просидел у окна три минуты, дожидаясь, пока тигр вернется к мусорному баку. Когда тигр вернулся, на папу напал столбняк, и он даже не смог щелкнуть затвором.

Мама сердито вырвала фотоаппарат у папы из рук и протянула его восьмилетнему мальчику. Мальчик как мог навел па резкость, тигр увидел вспышку и метнулся в свое убежище.

Папа оделся и в темной комнате проявил пленку. На снимке обозначился тигриний зад.

Со снимком тигриного зада отец пошел в полицию. В течение часа его допрашивали, а в четыре утра большой тигр услышал голоса и увидел свет карманных фонариков. Затаившись, он смотрел и слушал.

Когда все успокоилось, тигр вылез наружу и побрел к центру города.

Фотография и рассказ о том, как удалось ее получить, были, как и следовало ожидать, напечатаны вместе с фотографиями большого мальчика, который расхврался еще сильнее.

Специальные картографы вычертят план района, в котором жил мальчик. Высказывались разные предположения о том, где именно может прятаться тигр.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Капитан полиции Эрл Хьюзинга много раз беседовал в «Бельвю» наедине с Томом Трейси и в конце концов решил, что ему следует пойти прямо к самому шефу Блаю и кое-что сказать, даже если он, Хьюзинга, лишится из-за этого работы.

— Трейси может отыскать для нас тигра, — сказал капитан Хьюзинга шефу.

— Как? — спросил Блай.

— На первый взгляд это кажется сложным, но мы с ним много разговаривали, и оказалось, что ничего сложного тут нет. Я знаю — он это может.

— Как? — опять спросил Блай.

— Прежде всего он не хочет, чтобы об этом знали — никакой гласности.

— Можем провернуть все втихую, — пробурчал шеф. Эта история так ему осточертела, что он уже начал чувствовать себя старше своих шестидесяти шести лет.

— На Уоррен-стрит есть здание, где помещалась когда-то контора по импорту кофе, принадлежавшая Отто Зейфанду. Конторы больше нет, а дом остался, и сейчас в нем товарный склад. Трейси нужно, чтобы снова сделали вывеску «Отто Зейфанд», совсем как прежде, и повесили ее на прежнее место. Нужно, чтобы был восстановлен отдел дегустации и чтобы человек по имени Пиберди, человек по имени Рингерт и человек по имени Шайвли сидели там и дегустировали кофе. Пиберди живет в меблированной комнате, Рингерт — в «Бельвю», Шайвли — вместе с дочерью в Броунсе.

— Зачем ему вся эта чушь? — спросил Блай.

— Я знаю, выглядит это глупо, но я знаю также: тигра он найдет. Ему нужен только один день, обязатель но воскресенье. Это и нам очень подходит, потому что в середине дня по воскресеньям на Уоррен-стрит не бывает ни души, разве что один-два пьяницы.

— Вы так долго проторчали в «Бельвю», — сказал шеф Блай, — что и сами немного тронулись. Но валяйте дальше, выкладывайте все до конца.

— Еще ему нужно, чтобы в кладовой было не меньше ста мешков кофе.

— Это еще зачем?

— Он раньше там работал, — начал объяснять Хьюзинга. — В это воскресенье он придет туда к восьми утра и примется перетаскивать мешки. Пиберди, Рингерт и Шайвли будут в это время в отделе дегустации дегустировать кофе. Время от времени Трейси будет заходить к ним и тоже дегустировать. В полдень, когда у него начнется перерыв на ленч, он выйдет на улицу и станет у входа. В полпервого на Уоррен-стрит появится девушка по имени Лора Люти. Она остановится перед входом к «Отто Зейфанду».

— Остановитесь, стало быть?

— Да, остановитесь.

— Ну и что?

— В тот же миг там появится тигр Тома Трейси. Трейси возьмет девушку под руку и пойдет с ней по Уоррен-стрит. Через три подъезда от «Отто Зейфандга» будет пустой склад. Он войдет туда с девушкой и с тигром. Внутри склада будет клетка. Тигр войдет в эту клетку, Трейси клетку запрет. После этого они с девушкой уйдут из склада.

— Уйдут, стало быть?

— Да, уйдут.

— Валяйте дальше, — сказал шеф, — расскажите мне еще что-нибудь.

— Мы должны обещать ему две вещи. Первое: никакой огласки. Никаких фотографий даже для наших архивов. Мы с вами сможем наблюдать все из здания напротив. Второе: мы можем держать тигра в клетке, но должны обещать, что никто об этом не узнает. Если тигр болен, мы должны обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь. Особое внимание надо обратить на его раненную ногу — переднюю правую.

— Вы, кажется, действительно верите этому психу?

— Так точно, сэр.

— Почему?

— Вы поручили мне вести это дело десять дней тому назад. Все десять дней я провел с Томасом Трейси. То, что в газетах писали про Лору Люти, вовсе не утка. Врачи говорили, что она умирает, и достаточно было взглянуть на нее, чтобы убедиться в этом. Ну так вот: теперь она не умирает. Пингицер проводит в «Бельви» целые дни,

беседует с ними обоими, старается понять, что же такое произошло. Он говорит: все больные в «Бельвю» — это люди, которые где-то, когда-то потеряли любовь. Заболевают те, для кого любовь главное всего, и многие из них умирают, причем довольно быстро. Трейси не сумасшедший.

— А как насчет доктора Скаттера и всех прочих специалистов, которые считают его сумасшедшим?

— Я не знаю. Их заключения тоже выглядят убедительно. Похоже, что к таким вещам можно подходить по-разному. Пингицер изучает сейчас подход Тома Трейси. Пингицер говорит, что это подход, в который сам он всегда верил, особенно если вовремя пачать, но он никогда не видел, чтобы этот подход давал результаты в запущенном случае — таком, как Лора Люти. Он говорит, что с людьми нужно быть терпеливым, готовым учиться, потому что возможно всякое, особенно когда дело связано с любовью. Ведь вы не поверите, если я скажу, что в «Бельвю» смеются?

— Нет — или, во всяком случае, это нездоровий смех.

— Так вот смеются же, и чертовски здоровым смехом! Скаттера и прочих это задевает за живое. Они пытаются положить этому конец, каждый день вводят новые правила, но ничего не могут сделать. Они злятся, что больные не оправдывают их ожиданий. Больные встают с кроватей, навещают друг друга, помогают друг другу, рассказывают истории, поют, танцуют — и делают это совсем не как сумасшедшие. Они делают это естественно, достойно, доброжелательно. Правда, большинство из них грустит, но немногим больше, чем остальные люди. — Хьюзинга на секунду умолк. — Томас Трейси отыщет для нас тигра. Когда это произойдет, мы хоть будем знать, на каком мы свете, пусть даже не сможем об этом никому рассказать. Так или иначе, недели через две вся эта история позабудется. Ну как?

— Нет, — ответил Блай. — Это глупо. Пойдут разговоры, надо мной будет смеяться весь Нью-Йорк.

— Сегодня среда. Через четыре дня мы бы уже все звали. Разрешите мне взять это на себя. Не удастся — виноват буду я. Скажу, что идея моя. Что действовал я по собственной инициативе. Пингицер со мной согласен. Он хочет наблюдать.

Шеф стал размышлять надо всем этим. Он думал долго-долго.

— Ладно, — сказал он наконец. — Ладно, я тоже буду наблюдать.

— И мы должны сдержать свои обещания, — напомнил Хьюзинга.

— Ладно, — сказал шеф. — Приступайте.

И капитан, довольный и преисполненный веры в благополучный исход, хотя и испытывая в душе какой-то страх, приступил.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Солнечным воскресным утром Томас Трейси, поднявшись по ступеням метро, вышел на поверхность земли.

Он остановился, освещенный лучами солнца, и огляделся, как шесть лет тому назад. Вокруг мало что изменилось.

Через Боулинг Грин Парк он прошел на Уоррен-стрит и, глянув на свои часы, заспешил, как в прежние времена, потому что часы показывали без пяти восемь.

На Уоррен-стрит не видно было ни души. Она, как большинство улиц в воскресные дни, казалась улицей, которая синится.

Томас Трейси увидел, что в доме снова коптора Отто Зейфанга. Он поспешил к двери, и из здания напротив капитан Хьюзинга и шеф Блей видели, как он вошел туда.

До этого они видели, как туда вошли Пиберди, Рингерт и Шайвли.

— Ну, — сказал Блей, — не знаю, как по-вашему, а по-моему, Трейси свихнулся больше, чем даже думают. А по-вашему как?

— Пока рано судить, — ответил Хьюзинга. — Насколько мне известно, в половине первого по Уоррен-стрит пройдет Лора Люти, как шесть лет назад.

— Все это очень мило. Но вот эта работа, которой он думает там заняться, она должна выманить тигра из убежища, где он прячется, и привести его к «Отто Зейфанг» — правильно?

— Правильно.

Их прервало полицейское радио. Оно сообщило, что все спокойно.

- Давайте повторим заново, — сказал Блай. — Девушка будет в желтом вязаном платье, правильно?
- Правильно.
- Опа появится около половины первого — правильно?
- Правильно.
- Трейси будет стоять у дома напротив, на ступеньках — правильно?
- Правильно.
- Когда девушка увидит Трейси, она остановится, правильно?
- Правильно.
- В этот момент появится тигр — правильно?
- Правильно.
- Трейси возьмет девушку под руку и пойдет с ней по Уоррен-стрит, а тигр пойдет с ними рядом — правильно?
- Правильно.
- Через три подъезда, вон в том пустом складе, где сейчас на стенах висят картины с изображениями животных, будет стоять клетка — правильно?
- Правильно.
- Кстати, где вы раздобыли картины? — спросил Блай.
- У «Реймонда и Реймонда», — объяснил Хьюзинга. — Это репродукции самых известных картин с изображениями животных.
- Тигр войдет в клетку, а Трейси клетку закроет — правильно?
- Правильно.
- На антресолях склада спрятались двое наших молодых полицейских, Слу и Слэйсер, которые потом расскажут нам обо всем, что увидят, — правильно?
- Правильно. Они уже там.
- Свяжитесь с ними.
- Хьюзинга связался. Ему ответил Слу, и Хьюзинга поговорил с ним немного.
- Оли ждут, — сказал Хьюзинга Блаю.
- Что вы запретили ему делать? — спросил Блай.
- Он спрашивал, можно ли ему сделать несколько снимков. Слу не знает, что он увидит, но фотоаппарат с ним.
- А не думаете ли вы, что сделать несколько снимков было бы совсем пеплохо?

— Мы обещали не делать.

— Мы нолиция — мы могли наобещать что угодно.

— И все равно мне кажется, что никаких снимков нам делать не следует.

— О'кэй. Если мы все не сняли и Трейси действительно приведет тигра в клетку, то после этого он выйдет с девушкой из склада и они пойдут по Уоррен-стрит — правильно?

— Правильно.

— Куда они пойдут?

— Нас это не касается — паверно, погулять.

— Как только они выйдут из склада, мы отправляемся туда принять рапорт от Слу и Сплайсера — правильно?

— Правильно.

— В глубине склада стоит автофургон. В него погружен клетку с тигром. При первой возможности тигра осмотрят врачи, он получит необходимую помощь, а потом его выпустят на свободу там, где он никому не сможет причинить вреда, — правильно?

— Правильно.

— Так где же это будет?

— Дрессировщик животного говорит, что животное родилось в неволе. Место рождения — Мэдисон Сквер Гарден. Трейси просил, чтобы тигра выпустили на свободу в ближайших к Нью-Йорку горах.

— Кто может поручиться, что там он будет в безопасности?

— В ближайших диких горах, — уточнил Хьюзинга, — где никто не живет.

— Я ни о ком и не беспокоюсь, я думаю только о тигре. Как он там будет жить? Нарвется на охотника — и конец ему.

— Но все-таки там у него будет надежда уцелеть.

— Это если все пойдет так, как вам с Трейси хотелось бы. А что мы будем делать, если тигр не появится?

Младший поднял глаза на старшего:

— Тогда вам придется меня уволить, и поэтому я сам подам в отставку — не дожидаясь увольнения.

— Никто, кроме нас, ни о чем не знает — правильно?

— Никто, кроме нас с вами, но если все провалится, я обязательно подам в отставку.

— А что будет с Трейси и девушкой, если все провалится?

— Я дал доктору Скаттеру слово, что привезу их позад в «Бельвю».

— Доктор Скаттер обо всем знает?

— Нет, для него я сочинил другую историю, а вот Пингицер знает. То есть знает, что Лора Люти должна встретиться с Томасом Трейси в половине первого дня у входа к «Отто Зейфандгу». Больше он ничего не знает.

— Где он сейчас?

— Трейси попросил, чтобы доктор Пингицер тоже сидел в отделе дегустации. Я видел, как доктор вошел туда за несколько минут до вашего прибытия.

— Что он там делает?

— Трейси хочет, чтобы он просто там был.

— Известно ли Трейси, что, если все провалится, они с девушкой должны будут вернуться в «Бельвю»?

— Нет, — ответил Хьюзинга, — и это меня мучает. Это я от него утаил. Я думал, что так лучше, но все равно на душе у меня кошки скребут.

В половине девятого им опять сообщали по радио, что все спокойно. Шеф позвонил секретарю:

— Мы уже два раза слышали, что все спокойно. Я хочу знать, что произошло, что бы это ни было. Перезвоните мне.

Секретарь перезвонил и сказал:

— Все участки сообщают, что никаких происшествий нет.

— Вы уверены?

— Так точно.

— Бывало когда-нибудь, чтобы в Нью-Йорке в течение целого часа не было ни одного происшествия?

— Никогда, поскольку мне известно, — ответил секретарь.

— Нет, — сказал Блай Хьюзинге, — что-то случилось. Никаких происшествий — ни одного пьяницы, ни одного семейного скандала, ни одной мелкой кражи, ни одного нарушения общественного порядка — в Нью-Йорке в течение целого часа!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Томас Трейси приступил к прежней своей работе. Он взял мешок с кофе на плечо, пронес его пятьдесят ярдов и сбросил на пол — только проделать все это оказалось нелегко.

Том Трейси перенес другой мешок из дальнего конца склада к отделу дегустации, а за ним третий. Каждый раз, когда он сбрасывал мешок, ему хотелось зайти в отдел дегустации и подегустировать кофе вместе с Пиберди, Рингертом, Шайвли и Пингицером, потому что он слышал, как они разговаривают, хотя разобрать, о чем они говорят, не мог. Однако он чувствовал, что ему не стоит заходить к ним, пока он снова не научился справляться с работой так же легко, как прежде, пока не начал получать от нее удовольствие.

После каждого мешка он чувствовал себя очень усталым. Вес, давивший на плечо, казался огромным. Несколько раз поги подкашивались, и ему казалось, что он вот-вот упадет. Он не мог понять почему: ведь каких-нибудь шесть лет назад он так легко справлялся с этой работой! Он дышал прерывисто, и каждый раз, когда он поднимал мешок, сердце начинало бешено колотиться.

Наконец он остановился у заднего окна — отдохнуть, подумать о теперешнем своем состоянии, посмотреть, что там, во дворе.

А там все было прежним: асфальт, кирпичи и камни, потемневшие доски, мусорные баки, хлам и отбросы повсюду, упрямое старое дерево, кое-где сорняки, низкая арка ворот в кирпичное здания на противоположной стороне двора. Несколько кирпичей выпало, два до сих пор валялись на асфальте.

Отдыхать пришлось долго, и он глядел и глядел на эту щемящую сердце картину. Когда-то все здесь было новое, вселяющее надежду, светлое, чистое, но теперь все это выглядело жалким.

И однако, неся следующий мешок, он почувствовал страстное желание увидеть все снова — так любящий испытывает страстное желание видеть возлюбленную, когда она, больная, лежит в постели.

Когда после пятого мешка он еще раз посмотрел в окно, он уже видел во всем этом красоту, и следующий поднятый на плечо мешок был первым, не вызвавшим у него стона.

Его и нести оказалось легче. А когда Томас сбросил мешок, он услышал, как Пингицер и остальные смеются.

И когда Том снова посмотрел в окно, он увидел, что дерево прекрасно. Он улыбнулся при мысли о том, сколько лет оно здесь стоит — наверняка больше шести, ведь оно стояло уже тогда. Его листья не были зелеными,

но только потому, что их покрыл своей пылью город. Оно не выросло большим, потому что ему не хватало земли для корней и простора для веток; но сколько выросло, столько выросло, и стало деревом. По всей вероятности, терпение его время от времени вознаграждалось появлением какой-нибудь птицы, которая приветствовала его и улетала, а может, даже оставалась и свивала на нем гнездо. Дерево есть — сомневаться в этом не приходилось. Оно было тогда, и оно по-прежнему есть. Ствол, изрезанный и ободранный, утратил гибкость, но пока еще крепок.

Поднять и перенести мешок к отделу дегустации раз от раза становилось все легче и легче. Девятый он поднял как перышко.

Было уже почти девять, до двенадцати предстояло сделать еще очень много, но Томас Трейси решил, что теперь ему можно зайти в отдел дегустации.

Дегустаторы сидели за круглым столом, перед каждым стоял серебряный кофейник, Пингицер из своего цедил кофе.

— Ax-ха, — сказал он, — как раз время. Вот есть кофе, мой собственный мысль, из Вена, отшел старый.

Он налил чашку, протянул ее Томасу, тот взял и начал дегустировать. Дегустировал он не спеша.

— Хороший, — сказал он.

— Мой собственный мысль, — сказал Пингицер, — Вена.

Как шесть лет назад, Томас Трейси слушал их разговоры и прохаживался по комнате. Когда его чашка опустела, он протянул ее Шайли, и тот налил из своего кофейника. Его кофе тоже был хороший.

— Ну, пора снова приниматься за работу, — сказал Том, — у меня ее выше головы.

— Ax-ха, — сказал Пингицер, — это есть молодость. Это есть заблуждений молодость, это есть прекрасный заблуждений. Был время в Вена, когда Пингицер имел этот молодость и этот заблуждений. Это был прекрасный время, прекрасный молодость, прекрасный заблуждений. Ax-ха. Вот есть Пингицер семьдесят два, нет желаний работать, нет прекрасный заблуждений.

— Я еще зайду, — сказал Трейси и вышел.

Он пошел прямо к окну — еще раз увидеть двор. Да, ему было о чем подумать, только пачать думать хотелось как можно позже, но все же — в ближай-

шие час или два. Время всегда изумляло Тома. Он знал, что не понимает его, но знал также: все, что к тебе приходит, все хоть сколько-нибудь стоящее — любая мысль, любая истина — приходит сразу. Хочешь, можешь ждать хоть до бесконечности или перестать ждать, или можешь начать двигаться, двигаться вместе со временем и в глубь времени, работать над мыслью, которая должна появиться; и вдруг благодаря тому, что ты двигался вместе со временем и в глубь времени, и благодаря тому, что ты работал над мыслью, — она приходит к тебе наконец, приходит полностью, приходит ясная, приходит сразу.

Но чтобы для новоприбывшей нашлось место, нужно где-то внутри себя двигаться очень медленно. Надо нестись во весь опор — и в то же время почти не трогаться с места.

Трейси было о чем подумать, было что сделать, и начать надо было с работы. То, что предстояло сделать — а сделать надо было много, — нужно было начать с выполнения простой работы: перетаскивания мешков с кофе.

Трейси простоял минуту, улыбаясь жалкой, но в то же время прекрасной картине за окном и огромности предстоящей работы, припоминая — неторопливо, без спешки — все с нею связанное, между тем как взгляд его устремился к низкой арке ворот старого дома на другой стороне двора.

Он перенес еще с полдюжины мешков, прежде чем снова остановился взглянуть на эту картину, и сейчас он только взглянул, потому что работа теперь доставляла удовольствие и ему хотелось ее продолжать. Но в ту секунду, когда он бросил взгляд в окно, ему что-то почудилось. Он уже пел следующий мешок, когда вдруг спросил себя: а что же такое ему почудилось? Или просто ему пригрезилось то, что было когда-то, давным-давно, в столь богатое возможностями время?

Он решил перенести еще с полдюжины мешков и тогда уже снова остановиться передохнуть. На этот раз он пойдет к задней двери, откроет ее, выйдет на крыльцо и посмотрит оттуда.

Когда он вышел на крыльцо и окинул двор взглядом, ни на чем его особенно не задерживая, ему снова почудилось, что он видит это, и его охватила глубокая радость. Что бы это ни было, оно было рядом. Где-то рядом. Сомневаться в этом не приходило.

Он снова принялся за работу, перенес еще три мешка, а потом опять зашел на минутку в отдел дегустации.

— Ну как оно, после шестилетнего перерыва? — спросил Рингерт.

— Теперь легче, почти как раньше, — ответил Трейси. — А как ваши дела, Рингерт?

— О, — ответил Рингерт, — теперь уж я не скачу и не брыкаюсь.

— Ах-ха, — сказал Пингицер, — это брыкайся — это есть два? Один — двигать ног, два — делать жалоба? Не может двигать ног? Не может делать жалоба?

— Я не знаю, — ответил Рингерт. — Ногой я могу двинуть, хотя и не так, как прежде. И жаловаться могу, хотя тоже не так, как прежде. Прежде я мог жаловаться на что угодно, и мне это очень нравилось. Теперь у меня остался только один повод для жалоб, но у меня даже нет желания им пользоваться.

— Какой есть этот повод? — спросил доктор Пингицер.

— Конец Рингерта, — ответил Рингерт.

— Ах-ха. Какой есть вкус Рингерта кофе?

— Хороший, — ответил Том Трейси.

— Пожалуста, — сказал Пингицер, протягивая чашку через стол Рингерту, и тот налил ее до краев. Доктор Пингицер попробовал. — Ах-ха. Караш.

Том Трейси перенес еще три мешка, остановился у окна, прислонившись к нему спиной, и прислушался. Он простоял долго, может быть, целых три минуты. Во дворе было тихо. Он не был уверен в том, что действительно что-то слышал, и, поняв, что не уверен в этом, снова взялся за работу. Возвращаясь за каждым новым мешком, он останавливался и прислушивался. После того как он перенес еще шесть мешков и прислушался еще шесть раз, он сел на мешок — не ради отдыха, а для него, чтобы отдаваться чувству благодарности, приблизиться ко всему, к сути всего, и радоваться тому, к чему приблизился.

Когда, в конце концов, у него исчезли последние сомнения в том, что слышит это, он не испытал удивления, не вскочил на ноги, не обернулся, а только тихо-тихо повторил услышанное. Через секунду он услышал то же самое снова, и тогда он медленно-медленно встал, взвалил мешок на плечо и понес его.

Когда Том опустил мешок, выпрямился и обернулся, он увидел тигра.

Даже издали бросалось в глаза, какой у него жалкий вид. Он был раненый, больной, худой и слабый. Скользнув по нему взглядом, Том Трейси пошел назад, к штабелию мешков, поднял новый и понес его. А тигр тем временем вскарабкался на самый верх штабеля и улегся там отдохнуть и смотреть.

Том Трейси и тигр стали разговаривать, на этот раз без слов, даже без звуков, но оба понимали все.

Стремительная мысль достигла наконец места назначения.

Когда он перенес последний мешок, была четверть первого. Дегустаторы уже ушли на ленч. Тигр стал около Тома, и они вместе спустились па два лестничных марша ниже — к выходу на улицу. При виде входной двери тигр испугался и попятился. Том постоял секунду, а потом молча вышел и стал на ступеньках, и дверь за ним захлопнулась.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Капитан Хьюзингта и шеф Блай наблюдали из окна комнаты третьего этажа в доме напротив.

Томас Трейси вышел и теперь стоял перед входом к «Отто Зейфанг» точно в назначеннное время.

— Сколько сейчас? — спросил Блай.

— Полпервого, — ответил Хьюзингта. — Вы верите, что это... произойдет?

— Что-то уже произошло — вы слышали, какие сводки поступают каждые полчаса?

— Да, слышал.

— Четыре часа подряд все спокойно!

— Да. Так вы верите, что это произойдет?

— Ну а если даже нет? Посмотрите на него: разве он сумасшедший?

— Самый настоящий, — неожиданно сказал Хьюзингта. — Такой же, как вся эта затея. Я ошибся. Я ничего не понял. Вон мы повесили вывеску — «Отто Зейфанг». Отто Зейфанг уже три года как умер. В доме товарный склад, а не контора по импорту кофе. Сейчас и шесть лет назад — совсем не одно и то же. Он — сумасшедший, самый настоящий, но все равно не такой сумасшедший, как я. Поверить, чтобы кто-нибудь мог вернуть прошлое,

победить то, что от начала времен разбивает человеческие сердца! Это невозможно сделать. Невозможно, и все. Мне жаль его, он безумен. Он не знает, но он должен будет вернуться в «Бельвю», и девушки тоже. Ничего не произойдет, шеф. Простите меня. Я уйду в отставку. Я искренне верил, что он это сделает, но поверить в это было чистым безумием. Ничего не произойдет.

— Ну а как быть с тем, что уже произошло? — спросил Блай.

— Случайное совпадение, — ответил Хьюзинга. — А потом, такое бывало и раньше. Я поднимал архивы: в декабре 1882 года было семь часов, в течение которых тоже ничего не произошло. В марте 1896-го — одиннадцать часов, в июле 1901-го — пять, в августе 1908-го — девять. Такое бывало.

— Правильно, — сказал Блай. — Но откуда вы знаете, что одновременно не происходило что-то другое — такое, о чем никто не знает? Что-то другое оставшееся незамеченным.

— То есть, по-вашему, что-то должно еще произойти?

— По-моему, уже произошло, и... послушайте: не возвращайте их в «Бельвю».

— Я дал слово доктору Скаттеру. Через несколько минут я повезу их назад, а потом сразу же подам в отставку.

— Вам не надо подавать в отставку. Неужели мы не сможем как-нибудь замять эту историю? Мы уже делали это не один раз. Ваше место остается за вами, вам не о чем беспокоиться. Допустим, все провалится — кому до этого дело?

— Мне, — ответил Хьюзинга.

И тут они увидели на Уоррен-стрит Лору Люти.

Они увидели, как Томас и Лора встретились. Увидели, как они улыбаются друг другу. Увидели, как двигаются их губы. Увидели, как Лора поднимается к Тому по ступенькам. Увидели, как он обнимает ее. Увидели, как ее руки обвивают его шею. Увидели, как стоят и смотрят на это Пиберди, Рингерт, Шайвли и Пингицер. Увидели, как Томас Трейси, собираясь идти, взял Лору под руку и приоткрыл входную дверь.

Не распахнул, а чуть-чуть приоткрыл ее.

И тогда они увидели, как тигр Тома Трейси вышел и стал рядом с Лорой Люти.

Это была черная пантера, прихрамывающая на правую переднюю ногу. Если бы не хромота, это была бы самая красивая черная пантера, которую кому-либо доводилось видеть.

Они увидели, как Том Трейси, Лора Люти и тигр Тома Трейси вместе пошли по Уоррен-стрит. Увидели, как они вошли в складское помещение, на стенах которого висели теперь картины с изображениями животных.

А через некоторое время они увидели, как Томас Трейси и Лора Люти вышли оттуда и направились к докам в конце Уоррен-стрит.

И еще они увидели, что тигра с ними нет.

Блай и Хьюзинга сбежали вниз по лестнице, выскочили на улицу, пересекли ее и побежали в здание, из которого только что выплыли Том и Лора. Слу и Сплайсер стояли и ждали их.

— Который из вас Слу? — спросил Блай.

— Я, сэр, — ответил один из них.

— Прекрасно, — сказал Блай. — Расскажите мне, что вы сейчас видели.

— Я видел, как молодой человек и девушка вошли сюда и осмотрели все картины на стенах, — сказал Слу, — а потом ушли.

— А еще что? — спросил Блай.

— Больше ничего, сэр.

— Теперь вы, Сплайсер, расскажите подробно, что вы видели.

— Я видел то же самое, сэр.

— Вы уверены?

— Так точно, сэр.

— Возвращайтесь на свои участки.

Двое молодых полицейских ушли.

— Ну, — спросил Блай Хьюзингу, — что вы на это скажете?

— Просто не знаю, что сказать. Вы ведь видели тигра, правда?

— Я видел тигра.

— Вы ведь не просто... говорите это? Вы видели, как Трейси открыл дверь? Видели, как тигр вышел и стал рядом с Лорой, — правда?

— Да, я все это видел.

— Но Слу и Сплайсер не видели тигра.

- Да, не видели.
- И тигр исчез.
- Да, исчез.
- Куда делся тигр?
- Я не знаю, — ответил Блай.
- Если вы не против, я хотел бы получить на остаток дня увольнительную.
- Вы выполнили свою работу. Чем думаете сейчас заняться? Пойдете на бейсбол?
- Нет, — ответил Хьюзинга, — пожалуй, схожу недолго в церковь святого Патрика. А потом, пожалуй, домой. Мне не терпится увидеть жену и малышей.
- Да, — сказал Блай. — Идите.

Хьюзинга обошел помещение, рассматривая одну картину за другой, а потом вышел и зашагал к церкви святого Патрика. Теперь картины стал рассматривать Блай. Посмотрев все, он вернулся бросить еще один, последний взгляд на картину, где был изображен спящий в пустыне араб, над которым стоит лев.

После этого он вышел на улицу и направился в церковь святого Патрика.

Такова история Томаса Трейси, Лоры Лютти и тигра, имя которому — любовь.

Роберт Янг



CITA

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

B

последнюю минуту перед подъемом Стронг повернул древолифт с таким расчетом, чтобы оказаться спиной к стволу. Чем меньше он будет сейчас смотреть на дерево, тем лучше. Но лифт был немногим сложнее треугольной стальной рамы, подвешенной за один из углов на тонком, как нить, тросе, и поэтому, не пройдя и ста футов, он вернулся в исходное положение. Нравилось это Стронгу или нет, но дерево с самого начала решило павязать ему свое общество.

Ствол находился от него футах в пятнадцати. Более всего он напоминал Стронгу скалу, огромную живую скалу с буграми коры длиной от восьми до десяти футов и с трещинами глубиной до четырех — этакую древесную стену, уходящую ввысь, в величественное зеленое облако листвы.

Он не собирался смотреть вверх, но взгляд его сам собой поднялся вдоль ствола. Он быстро опустил глаза. Чтобы обрести внутреннее равновесие, он взглянул вниз, туда, где на постепенно уменьшавшейся деревенской площади виднелись знакомые фигуры трех его компаний.

Сухр и Блюскиз, покуривая свои первые утренние сигареты, стояли на древнем могильном холме. Стронг находился слишком высоко, чтобы рассмотреть выражение их лиц, но он почти не сомневался, что тупые черты Сухра дышат упрямством и злобой, а Блюскиз клокочет от бессильной ярости, как затравленный буйвол. Райт стоял примерно в ста футах от подножия дерева, у пуль-

та управления лебедки. Лицо его наверняка оставалось таким же, как всегда, разве что чуточку напряглось от волнения, по-прежнему выражая, однако, свойственную ему странную смесь доброты и решительности, — лицо, по которому безошибочно угадывался руководитель.

Стронг перевел взгляд на окружавшие площадь домики. Сверху они выглядели еще очаровательнее. В золотисто-багровом сиянии Омикрона Сети яркими красками переливались коньки крыши, многоцветные зайчики танцевали на пряничных фасадах. В ближайших домиках сейчас, конечно, никого не было — деревня в радиусе трехсот футов от подножия дерева опустела, и эту часть ее огородили веревкой. Но когда Стронг взглянул на домики, ему вдруг пришла в голову фантастическая мысль: ночью в них поселились феи и теперь хозяйничают там вовсю.

Эта мысль развлекла его, но недолго. Ее спугнула процессия огромных транспортировщиков древесины, которые, въехав на площадь, выстроились в длинную очередь.

Перед ним вновь было дерево. Сейчас он поднялся еще выше, и стволу уже пора было уменьшиться в объеме. Но ствол не стал тоньше — во всяком случае, этого не было заметно. Он все еще напоминал огромную скалу, и Стронг чувствовал себя скорее альпинистом, чем древорубом. Взглянув вверх, он увидел первую ветвь. Ее можно было сравнить с секвойей, растущей параллельно земле на вертикальном склоне древовидного Эвереста.

Из приемника радиосвязи «земля — дерево», который вместе с миниатюрными батарейками был прикреплен к мочке левого уха Стронга, раздался твердый голос Райта:

— Уже видели дриаду?

Стронг включил языкок прикрепленный к его нижней губе крохотный передатчик.

— Пока нет.

— Если увидите, дайте мне знать.

— Черта с два! Вы разве забыли, что я вытащил длинную травинку, которая дала мне исключительные права на дерево? Что бы я здесь ни нашел, все принадлежит мне одному.

Райт рассмеялся.

— Я только хотел вам помочь.

— Благодарю, в помощи я не нуждаюсь. На какой я сейчас высоте?

Пауза. Стронгу была хорошо видна маленькая, как сигарета, фигурка Райта, который склонился над контрольной панелью лебедки. И спустя немного:

— Сто шестьдесят семь футов. Еще сто двадцать, и вы поравняетесь с первой ветвью... Как вы себя чувствуете?

— Вполне прилично.

— Хорошо. Сообщите, если возникнут какие-нибудь неполадки. Даже самые незначительные.

— Обязательно.

Стронг выключил передатчик.

Становилось все сумрачнее. Нет, не сумрачнее. Зеленее. Чем выше он поднимался, тем глубже становился оттенок бледного хлорофиллового сияния, в которое, с трудом просачиваясь сквозь бесчисленные наслоения листвы, превращался солнечный свет. В нем шевельнулся страх дерева, но он поборол его, прибегнув к способу, которому его научили еще в школе древорубов. Способ этот был очень прост: «Займитесь чем-нибудь, чем угодно». И он произвел инвентаризацию оборудования, прикрепленного к металлической полосе основания лифта: древоколья, древорациоп, одеяла; древоналатка, обогревательный прибор, молоток для забивания колышев; тросомет, резак, санитарная сумка; пояс альпиниста, веревочное седло, шнур для ветвей (к основанию лифта был прикреплен только конец шнура с кольцом, сам же шнур спускался вниз, к подножию дерева, где лежал постепенно уменьшавшийся моток); агрегат Тимкина, древощипцы, фляжка...

Наконец лифт втянул его в нижние слои листвы. Он ожидал, что листья будут огромными, но они оказались маленькими и изящными и напомнили ему листья красивого сахарного клена, который когда-то в изобилии произрастал на Земле. Вскоре перед ним возникла первая ветвь, и стайка алых птиц-хохотушек встретила его прибытие жутким издевательским смехом. Несколько раз они облетели вокруг Стронга, бесцеремонно разглядывая его своими серповидными глазками, потом спиралью взились к верхним ветвям и исчезли.

Эта ветвь была подобна хребту, который, вырвавшись из горной цепи, навис над деревней. Ее боковые отростки сами по себе были настоящими деревьями, и каждое из

них, упав, могло бы разрушить, по крайней мере, один из этих домиков, столь милых сердцу колонистов.

В который уже раз Стронг с недоумением спросил себя, почему коренные обитатели 18-й планеты Омикрона Сети строили свои деревни вокруг основания подобных древесных чудовищ. Разведывательный Отряд в своем докладе отметил, что местные жители, несмотря на умение строить красивые здания, на самом деле были очень примитивны. Но даже если так, все равно они должны были знать, какую потенциальную опасность таили эти гигантские деревья во время гроз; и прежде всего они должны были понимать, что избыток тепла ведет к сырости, а сырость — предвестник гибели.

Совершенно очевидно, что они до этого не додумались. Потому что из всех построенных ими в свое время деревень только одна эта не сгнила и не превратилась в отвратительные зловонные развалины; так же, как это дерево было единственным, не заболевшим той странной болезнью, от которой, как предполагали, засохли и погибли все остальные.

Разведывательный Отряд утверждал, что местные жители строили свои селения вблизи деревьев потому, что деревья эти являлись для них объектами религиозного поклонения. И хотя эта гипотеза, несомненно, подтверждалась тем, что, когда деревья начали умирать, местные жители, все без исключения, ушли в «пещеры смерти», расположенные в северных пустынях, Стронг все же не мог до конца согласиться с ней. Судя по архитектуре домов,aborигены отличались практичностью и большим художественным вкусом, а практические мыслящие существа вряд ли пошли бы на массовое самоуничтожение только потому, что их религиозные символы оказались подверженными болезням. К тому же Стронгу приходилось и раньше рубить деревья на многих заново открытых планетах, и он неоднократно убеждался, что Разведывательный Отряд достаточно часто ошибается.

Листва окружала его со всех сторон. Он находился теперь в совершенно обособленном, туманном, золотисто-зеленом мире, усыпанном цветами (на Омикроне Сети-18 этот месяц соответствовал июню, и дерево было в цвету), в мире, единственным обитателем которого был он сам, птицы-хохотушки да насекомые. Иногда сквозь ажурные

просветы между листьями он видел кусочки площади внизу, но ничего больше.

Когда до ветви, на которую он, еще будучи на земле, забросил трос, оставалось около пятнадцати футов, он попросил Райта остановить лебедку. Отцепив от основания лифта тросомет, он прижал приклад к плечу и принялся раскачивать лифт взад и вперед. Стронг выбрал самую верхнюю из видимых ему отсюда ветвей, которая нависала над ним примерно в восьмидесяти футах, и во время одного из взлетов лифта, в тот момент, когда он находился в самой крайней точке амплитуды, прицелился и спустил курок.

Тросомет, словно паук, выплюнул бесконечно длинную нить. Тонкий, как осенняя паутина, трос взметнулся вверх, и его конец с грузилом, захлестнув намеченную ветвь, полетел вниз сквозь листья и цветы и закачался в нескольких дюймах от протянутой руки Стронга. Он поймал его во время следующего взлета и, продолжая раскачиваться, прижал трос к вершине треугольной рамы лифта. Он опустил трос только тогда, когда его микроскопические волокна проникли в сталь, срослись с ней. Теперь можно было подниматься выше.

Стронг попросил Райта снова пустить в ход лебедку. Покрытый тончайшим слоем Тимкина нитевидный трос заскользил через «новую» ветвь, и подъем возобновился. Стронг откинулся назад, насколько позволял спасательный пояс, закурил сигарету...

И увидел дриаду.

Или ему это почудилось...

Дело в том, что все их разговоры о дриадах были обычной шуткой. Одной из тех шуток, которые стихийно рождаются в беседах между мужчинами, когда их общение с женщинами ограничено короткими перерывами в работе.

Вы убеждали себя, что это не более чем шутка; вам было чертовски хорошо известно, что никогда ни на каком дереве, ни на какой планете не спустится к вам по устланной листьями тропе прекрасная фея. И хотя вы не престанно повторяли себе, что этому никогда не бывать, в самом дальнем, темном уголке вашего сознания, к которому не отваживался приблизиться здравый смысл, постоянно жила мысль о том, что, быть может, это все-таки когда-нибудь произойдет.

Этой шуткой они перебрасывались во время полета

с Земли и пока ехали из космопорта в деревню. Если верить болтовне Сухра, Блюскиза, Райта... и его собственной, на последнем гигантском дереве Омикрона Сети-18 должна жить, по крайней мере, одна дриада. И вот будет потеря, когда они ее поймают!

Что ж, подумал Стронг. Ты ее увидел. А теперь посмотрим, как ты ее поймаешь.

Видение мелькнуло и исчезло — лишь слабый намек на контуры тела, вспышку красок, волшебное лицо, — и вслед за растаявшим образом постепенно растаяла и его уверенность в том, что он видел ее. К тому времени, когда лифт внес его в шатер из листьев, где, как ему казалось, она только что была, он уже не сомневался, что ее там не будет. Ее не было.

Он заметил, что у него дрожат руки. Усилием воли он вернул им твердость. Смешно так волноваться из-за причуд солнечного света на листьях и ветвях, сказал он себе.

А на 475-м футе подъема ему показалось, что он ее увидел снова. Только что выяснив у Райга, на какой он находится высоте, Стронг случайно взглянул в сторону ствола. Она стояла там, прислонившись спиной к коре, и ее длинные стройные поги опирались на ветвь, с которой он в этот момент поравнялся. Тонкая фигура, сказочное лицо феи, золото волос. До нее было не более двадцати футов.

— Выключите лебедку, — тихо сказал он Райту.

Когда лифт остановился, он расстегнул спасательный пояс и ступил на ветвь. Дриада не шелохнулась.

Он медленно направился к ней. Она по-прежнему была неподвижна. Он протер глаза, втайне надеясь, что она не исчезнет. Она стояла на том же месте, застывшая подобно статуе, спиной к стволу, и ее длинные поги опирались на ветвь. На ней была короткая, сотканная из листьев туника, которая держалась на перекинутой через плечо ленте; изящные сандалии, тоже из листьев, оплели ее ноги до середины икр. Ему начало казаться, что она действительно существует. И в этот самый миг она вдруг угасла.

Никакое другое слово не могло передать того, что произошло. Она не ушла, не убежала и не улетела. Странно говоря, она даже не исчезла. Просто она там была, а в следующую секунду ее там не стало.

Стронг остановился. Усилие, потраченное им на то,

чтобы взобраться на ветвь и пройти по ней несколько шагов, было ничтожно мало, однако он весь покрылся испариной. Он ощущал пот на щеках, на лбу и шее; он ощущал его на груди и спине, он ощущал влажное прикосновение взмокшей от пота древорубашки.

Он достал носовой платок и вытер лицо. Сделал шаг назад. Другой. Дриада не материализовалась. Там, где она только что стояла, была лишь густая листва. И солнечный блик.

Из приемника раздался голос Райта:

— У вас все в порядке?

Стронг секунду колебался.

— Все отлично, — наконец проговорил он. — Произвожу небольшую разведку.

— Как она выглядит?

— Она... — Стронг вовремя сообразил, что Райт спросил о ветви. Он снова вытер лицо, скомкал платок и засунул его в карман.

— Она огромна, — ответил он, когда уже смог положиться на свой голос. — В самом деле огромна.

— Ничего, мы его одолеем, это дерево. Нам и раньше попадались не маленькие.

— Но не такие гиганты, как это.

— И все-таки мы с ним справимся.

— С ним справлюсь я один, — заявил Стронг.

Райт усмехнулся.

— Не сомневаюсь. И все же мы будем поблизости на тот случай, если... Вы готовы к подъему?

— Одну минуту.

Стронг поспешил к лифту.

— Пускайте, — сказал он.

На пятисотфутовой высоте ему снова пришлось забросить трос, потом еще раз, когда он поднялся до пятисот девяноста. В шестистах пятидесяти футах от земли листва поредела, и он смог метнуть трос более чем на сто пятьдесят. Он уселся поудобнее, чтобы насладиться подъемом.

На высоте около семисот футов он оставил на одной из особенно толстых ветвей древопалатку, одеяла и обогревательный прибор и все это крепко к цей привязал. Всегда лучше почевать на больших ветвях. По мере того как он поднимался, ему лишь изредка удавалось видеть деревню. Основную часть ее скрывала листва, но порой перед его взором возникали крайние домики, за которыми

до самого горизонта простирались обогащенные химикатами поля. Растительность едва только пробивалась, и поля были покрыты золотистой щетиной крохотных стебельков недавно посевянной пшеницы — эндемической разновидности, которая росла только на Омикроне Сети-48 и нигде больше во всей галактике. К середине лета пшеница созреет, и колонисты снимут еще одни из тех сказочно обильных урожаев, которые постепенно превращали первое поколение поселенцев в миллионеров.

Он мог разглядеть спящие на задних двориках крохотные фигурки домохозяек и жуками ползущие по улицам жирокары. Он мог разглядеть детей, которые казались отсюда величиной с головастиков, — они плавали в одном из бассейнов. Для полноты картины не хватало только мальяра, красящего дом, или чинящего крышу кровельщика. Их отсутствие объяснялось очень просто: эти домики никогда не требовали ремонта.

Во всяком случае, так было до сегодняшнего дня.

Дерево, которое пошло на их строительство, и качество работы не имели себе равных. Стронг побывал только в одном из домов — в местной церкви, которую колонисты превратили в отель, — но хозяин отеля (он же мэр деревни) заверил его, что, в сущности, отель представляет собой лишь увеличенную и чуть богаче декорированную копию других зданий. Нигде раньше Стронг не видел такой безукоризненной отделки дерева, такой совершенной панельной обшивки. Все было идеально продумано и сливалось в единый ансамбль, так что невозможно было определить границу между фундаментом и полом, между опорными балками и стенами.

Стены переходили в окна, окна переходили в стены. Лестницы не просто спускались: они словно струились окрашенными под дерево потоками. Что же касается искусственного освещения, то свет исpusкало само дерево.

Разведывательный Отряд, признав аборигенов примитивными, основывал это заключение главным образом на том (и это, по мнению Стронга, было в корне ошибочно), что они научились обрабатывать металлы только на позднем этапе своего существования. Но пыл, с которым колонисты мечтали сохранить эту единственную уделевшую деревню (на что было получено разрешение Департамента Галактических Земель), красноречиво свидетельствовал о том, что неумение местных жителей творить чудеса

из железа и меди с лихвой возмешалось их способностью творить чудеса из дерева.

Перед тем как покинуть лифт, Стронг еще три раза забрасывал трос, и теперь, стоя на ветви, он надел пояс верхолаза и с помощью специальных замков-защелок прикрепил к нему нужные инструменты. Потом он отцепил от основания лифта конец шнура и защелкнул карабин у правого бедра.

Он находился сейчас примерно в девяностах семидесяти футах от земли, и дерево уже уменьшилось до размеров стройной американской сосны.

Стронг прицепил к концу шнура с кольцом древощипцы. Покончив с этим, он огляделся, отыскивая глазами подходящую для седла развилку. Он нашел ее почти сразу. Она находилась над ним в пятнадцати футах, и ее положение обещало ему удобный доступ к интересующей его сейчас части дерева — к последним девяноста футам.

Забросив веревку, он поймал другой ее конец, змеей скользнувший вниз, и связал седло.

Стронг сел в седло не сразу. Он устроил себе десятиминутную передышку. Откинувшись назад в развилке, через которую проходил шнур, он закрыл глаза; но сквозь веки все равно проникало солнце, солнце, и листья, и цветы, и ярко-голубые кусочки неба.

С расположенной выше развилки, слегка колыхаясь в порывах утреннего ветерка, точно серебристая лиана, свисала седельная веревка. Развилка находилась на двадцать футов ниже самой верхней точки дерева и более чем в тысяче футов от земли.

Эта цифра не укладывалась в сознании. Ему не раз приходилось подниматься на высокие деревья; некоторые из них достигали даже пятисот футов. Но по сравнению с этим они казались пигмеями. Это возвышалось над землей более чем на тысячу.

Тысяча футов.

Седельная веревка приобрела новое значение. Он потянулся к ней и коснулся рукой ее неровной поверхности. Проглядел глазами вдоль ее двух серебристых полосок. И, еще до конца не осознав, что он делает, полез вверх. Переполнивший его восторг умножил силы; горячими волнами разливалась по телу кровь; цело все его существо. Поднимался он неторопливо и уверенно. До-

бравшись до развилки, он влез на ветку и посмотрел вверх.

До последнего разветвления оставалось каких-нибудь десять футов. Нажав маленькие кнопки, он освободил вмонтированные в подошвы древоботинок стальные шипы и, распрымившись, приложил ладони к темно-серой коре. На этой высоте диаметр ствола был меньше фута, и поверхность его была гладкой, как шея женщины. Стронг поднял левую ногу и опустил ее под углом к стволу. Надавил. Шипы глубоко вонзились в дерево. Он перенес тяжесть на левую ногу, наступил правой.

И полез вверх.

Даже закрыв глаза, вы безошибочно можете определить, что приближаетесь к вершине дерева. Любой дерева. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее раскачивается ствол, который под вашими руками становится все тоньше; по мере того как вокруг редеет листва, все ярче светит солнце; все быстрее и быстрее бьется ваше сердце...

Добравшись до последней развилки, Стронг уселся верхом на ветку и посмотрел вниз, на раскинувшийся перед ним мир.

Отсюда листва еще больше паломинала зеленое облако — огромное зеленое облако, которое скрывало почти всю деревню. За его кружевными краями были видны только самые дальние домики. А за пими бесшумно катилось к горизонту Великое Пшеничное Море, как он мысленно называл поля.

Хотя более уместным здесь было бы слово «архицелаг». Потому что, куда бы он ни бросил взгляд, повсюду виднелись острова. Острова сгнивших деревень; одни — увенчанные зловещими серыми маяками мертвых деревьев, другие — заваленные серыми обломками упавших. Острова контейнеров с отбросами из прочной стальной фольги, острова ангаров из того же материала, в которых стояли селянки-геликонтеры и облегченные комбайны, взятые колонистами в аренду у Департамента Галактических Земель.

Вблизи деревни виднелись острова поменьше: завод по обеззараживанию сточных вод, мусоросжигательная печь, крематорий. И наконец еще один, новенький, с иголочки, остров — лесопильный завод, на котором колонисты собирались обработать древесину этого дерева.

В некотором смысле дерево уподоблялось урожаю, потому что на Омикроне Сети-18 высоко ценилась древеси-

на — почти так же, как на Земле. Но даром они ее не получат, подумал Стронг; им таки придется раскошелиться и отвалить компании «Убийцы деревьев, инкорпорейтед» кругленькую сумму.

Стронг расхохотался. Он не очень-то симпатизировал колонистам. Как и Блюскиз, он отлично понимал, что они творят с почвой и как будет выглядеть Омикрон Сети-18 через пятьдесят лет. Временами он их ненавидел...

Но не сейчас. Сейчас, когда утренний ветерок вздувал его древорубашку и утреннее солнце касалось его лица, когда над его головой рас простерлось необъятное небо, а у ног раскинулся весь мир, в его душе не было места для ненависти.

Он зажег и выкурил сигарету. На вершине мира, под чужим ветром и солнцем, она показалась ему особенно приятной. Он докурил ее до основания, пока она не обожгла ему пальцы, потом загасил окурок о подошву ботинка.

Когда он поднял руку, на его указательном и большом пальцах была кровь.

Сперва он решил, что порезался, но когда стер кровь, на руке не оказалось ни малейшего пореза, ни царапины. Он пахнулся. Быть может, он поранил себе ногу? Он наклонился... и увидел окровавленную подошву ботинка и кровь, каплями стекавшую с шипов. Он наклонился еще ниже... и увидел кровавый след, оставленный шипами на гладкой серой поверхности ствола. Наконец он понял, в чем дело. Кровь была не его. Это была кровь дерева.

Искрилась на солнце дрожавшая под ветром листва, и лениво качался из стороны в сторону ствол. Из стороны в сторону, из стороны в сторону...

Сок!

Ему уже начало казаться, что этому слову никогда не отстоять своих прав и что его сознанием навеки завладел его ложный синоним — кровь.

Сок...

Ведь ему совсем не обязательно быть прозрачным. При наличии соответствующих пигментов он мог быть любого цвета, любого цвета под солнцем. Пурпурного. Зеленого. Коричневого. Красного...

Кроваво-красного...

Ведь из того, что обычные деревья обладали определенными особенностями, вовсе не следовало, что те же особенности должны быть свойственны и этому дереву. Нет такого закона, по которому сок дерева обязательно должен быть бесцветным.

Ему стало немного легче. Красный сок, подумал он. Надо поскорее сообщить Райту!

Но когда через минуту Райт связался с ним, он не сказал ему об этом ни слова.

— Вы готовы? — спросил Райт.

— Нет... не совсем. Произвожу небольшую разведку.

— Как я погляжу, это сегодня ваше любимое занятие.

— Отчасти.

— Ладно, раз уж вы решили оставить дриад себе, не буду вам мешать. Тем более что вы слишком высоко, и такому немолодому древорубу, как я, взобраться к вам не под силу. Я хотел только вам сказать, что мы собираемся устроить перерыв и немножко закусить. Советую вам сделать то же самое.

— Слушаюсь, — сказал Стронг.

Но есть он не стал. Лежавший у него в кармане древорациоп не возбуждал аппетита. Посидев еще немножко на развилке, он выкурил вторую сигарету и спустился по стволу до ветви, через которую проходила седельная веревка. Руки его обагрились кровью, и ему пришлось вытереть их носовым платком.

Убрав щипцы, он обвил ногами веревку и «слетел» вниз на развилку, через которую проходил шнур. Пробыв там ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы сесть в седло, он молниеносно спустился к концу шнура и прикрепил к поясу щипцы. Первая стоящая ветвь находилась под ним футах в двадцати. Увлекая за собой шнур, он в секунду преодолел это расстояние и стал на ветвь. Пройдя две трети ее длины, он приладил к ветви щипцы таким образом, чтобы, когда шнур натягнется, они глубоко вгрызлись в дерево. Эта работа подействовала на него успокаивающе, и, включив языкок передатчик, он машинально заговорил в том щутливо-официальном тоне, в котором они с Райтом иногда беседовали по линии «земля — дерево».

— Теперь дело за вами, мистер Райт. Я готов.

Молчание. И наконец:

— Вас, мистер Стронг, не очень-то устраивают длинные обеденные перерывы, а?

— Во всяком случае, не тогда, когда у меня под носом маячит такое огромное дерево.

— Включаю лебедку. Дайте знать, когда шнур начнется.

— Слушаюсь, мистер Райт.

Заработала лебедка, шнур приподнялся и повис дугой... дуга начала сглаживаться... превратилась в прямую линию. Ветвь вздрогнула, затрещала...

— Выключите лебедку, мистер Райт.

Стронг направился к стволу, устроился в седле и достал резак, с виду похожий на пистолет. Настроив резак на десятифутовый луч, он направил дуло на основание ветви. Он уже совсем было собрался нажать курок, когда у самой границы его поля зрения мелькнули контуры тела и цветовое пятно. Он перевел взгляд туда, где отягощенные листьями боковые ветки ласково гладили полуденное небо...

И увидел дриаду.

— Мы ждем вашей команды, мистер Стронг.

Стронг судорожно глотнул. Выступивший на лбу пот тек вниз и залил ему глаза. Он вытер их рукавом рубашки. Дриада не исчезла.

Опершись на локоть, она полумежкала на ветке, спицом тонкой, чтобы выдержать ее тяжесть, а ее легкое платье настолько слилось с окружающей листвой, что, если бы не волшебное лицо, не золотистые руки и ноги и не пушистая копна желтых волос, он мог бы поклясться, что она ему почудилась; но, даже разглядев ее, он все равно почти готов был поклясться, что ее там нет, ибо лицо ее могло быть только что распустившимся цветком, ее руки и ноги — золотистой пчелицей, проглядывавшей через просветы в листве, а волосы — горстью солнечного света.

Он снова протер глаза. Но она не желала исчезать. Чувствуя себя дураком, он помахал ей рукой. Она даже не шевельнулась. Он опять помахал ей, чувствуя себя уже полнейшим идиотом. Потом выключил передатчик.

— Уйди оттуда! — крикнул он.

Она и глазом не моргнула.

— Почему задерживаетесь, Стронг?

Тон Райта и его отказ от насмешливо-официального обращения «мистер» говорили о его нетерпении.

«Послушай, — сказал себе Стронг, — ведь до этого ты взбирался на сотни деревьев и ни на одном из них не видел ни одной дриады. Ни одной. На свете вообще нет никаких дриад. Никогда не было. И никогда не будет. Ни на этом дереве, и ни на каком другом. И сидящая на той ветке дриада не более реальна, чем шампанское в твоей фляжке!»

Он с трудом перевел взгляд на нижнюю часть ветви, куда все еще был нацелен резак, и заставил себя нажать курок. Дерево рассекла узкая щель; он почувствовал почти физическую боль. Стронг включил передатчик.

— Поднимайтесь, — произнес он.

Струной зазвенел натянувшийся шнур; вздохнула ветвь. Он углубил разрез.

— Поднимайтесь, — повторил он.

На этот раз ветвь приподнялась уже заметно.

— А теперь тяните шнур равномерно, мистер Райт, — сказал он и медленно поднял невидимый луч резака, вонзая его в ткань ветви, дюйм за дюймом замораживая молекулярную структуру древесины. Ветвь поднялась и откинулась назад, отделяясь от своего основания. Когда он отрезал ее полностью, она повисла параллельно стволу, готовая к спуску.

— Принимайте ее, мистер Райт!

— Слушаюсь, мистер Стронг!

Он остался на прежнем месте, и пока ветвь проходила мимо него, срезал ее самые большие боковые ветки, чтобы она не застряла по дороге. Когда с ним поравнялся ее последний отрезок, он внимательно осмотрел его. Но дриады не было и в помине.

Он заметил, что у него снова дрожат руки, а, взглянув на ствол, увидел такое, от чего они задрожали еще сильнее: луч на некоторое время заморозил поверхность среза, но сейчас, когда на срез упало солнце, из раны начала сочиться кровь...

Нет, не кровь. Сок. Красный сок! Господи боже, что это с ним происходит? Однако, несмотря ни на что, он продолжал следить глазами за шнуром, чтобы успеть предупредить Райта, если ветвь застрянет. Но ветвь оказалась очень покладистой: она беспрепятственно прошла сквозь нижние ветки, и вскоре он услышал голос Райта:

— Она уже внизу, мистер Стронг. Я возвращаю вам шнур. — И тут же испуганное: — Том, вы что, порезались?

— Нет, — ответил Стронг. — Это сок дерева.

— Сок! Будь я проклят! — и немного погодя: — Сухр говорит, что он кажется ему розовым. Но Блюскиз утверждает, что он темно-красный. А каким видите его вы, Стронг?

— Он похож на кровь, — ответил Стронг.

А потом вниз отправилась вторая ветвь, и он снова увидел «кровь», сочившуюся из новой раны, и ему опять стало плохо. Но не так плохо, как прежде: он уже начал привыкать.

До того, как понадобилось переместить лебедку, ему удалось срезать восемь ветвей. А когда лебедку установили с другой стороны дерева, он снял еще восемь.

Когда подошло время кончать работу, Райт сделал ему традиционное предложение:

— Хотите провести ночь на земле?

И Стронг ответил традиционным отказом:

— Черт с два!

— Обычай не покидать дерево, пока с ним не покончено, может не соблюдаться, если имеешь дело с таким великаном.

— И тем не менее я не нарушу его, — возразил Стронг. — Что там на ужин?

— Мэр посыпает вам особое блюдо, приготовленное специально для вас. Я перенесу его наверх. А пока сядитесь в лифт. Как только мы поменим трос, вы сможете спуститься до ветви, на которой оставили древонаалатку.

— Слушаюсь.

— Мы собираемся переночевать в отеле. Я не стану выключать свой приемник — вдруг вам что-нибудь понадобится.

Мэр появился только через полчаса, но блюдо, которое он привез, стоило времени, потраченного на его ожидание. Стронг успел установить палатку и теперь сидел перед ней, поджав по-турецки ноги, и ел. Солнце скрылось, и листву алыми узорами расцветили птицы-хокотушки, хрипло крича вслед уходящему дню.

В воздухе заметно похолодало, и, покончив с едой, он сразу же достал и включил обогревательный прибор. Фабриканты обогревательных приборов, предназначенных для пользования под открытым небом, учитывали не только удобства выезжающего за город потребителя, но и его настроение. Прибор Стронга был выполнен в виде небольшого костра, и с помощью регулятора можно было за-

ставить искусственные дрова гореть ярко-желтым, темно-оранжевым или вишневым светом. Стронг выбрал вишневый, и бодрящее тепло, заструившееся из крохотных атомных батареек, отчасти разогнало его одиночество.

Вскоре начали восходить луны — у Омикрона Сети-18 их было три, и непрерывно меняющийся узор лунных бликов на листьях ветви и цветах действовал усыпляюще. В своем новом обличье дерево было прекрасно. Птицы-хохотушки на ночь угомонились, а так как proximity не было никаких поющих насекомых, стояла полная тишина.

Становилось все холоднее. Когда похолодало настолько, что изо рта у него пошел пар, Стронг забрался в палатку и втащил в нее через треугольный вход свой «костер». Так он и сидел там в вишневом одиночестве, поджав под себя ноги. Он очень устал. За костром, сверкая серебристыми узорами, простиралась ветвь, и в безветрии ночи неподвижно висели резные серебряные листья...

Вначале он увидел только отдельные штрихи: сияющую белизну ног, нежное мерцание рук; тьму, где ее тело скрывала туника; расплывчатое серебристое пятно лица. Наконец все это соединилось, и она возникла там во всей своей бледной призрачной красоте. Она вышла из мрака и села по другую сторону костра. Сейчас лицо ее виделось гораздо отчетливей, чем днем, — очаровательное сказочное миниатюрностью черт и яркой синевой глаз.

Она долго хранила молчание, молчал и он, и они тихо сидели по обе стороны костра, а вокруг была ночь, серебряная, безмолвная и черная. И наконец он произнес:

— Это ты была там, на ветви, правда?.. И в шатре из листьев тоже была ты, и это ты стояла, прислонившись к стволу.

— В некотором смысле, — сказала она, — в некотором смысле это была я.

— И ты живешь на этом дереве...

— В некотором смысле, — повторила она. — В некотором смысле я живу на нем. — И потом: — Почему земляне убивают деревья?

Он на мгновение призадумался.

— По очень многим причинам, — сказал он. — Если ты — Блюскиз, ты убиваешь их потому, что это дает

тебе возможность проявить одну из тех немногих унаследованных тобою черт, которую белый человек не смог отнять у твоей расы, — презрение к высоте. Но сколько бы ты ни убивал их, твоя душа, душа американского индейца, корчится от ненависти к самому себе, ибо, по сути дела, ты причиняешь другим землям то же самое, что белый человек причинил твоей собственной. Если же ты Сухр, ты убиваешь их потому, что был рожден с душой обезьяны и, умерщвляя деревья, ты испытываешь такое же удовлетворение, какое художнику приносит живопись, писателю — литературное творчество, композитору — создание музыкального произведения.

— А если ты — это ты?

Он почувствовал, что не сможет солгать.

— Тогда ты убиваешь их потому, что тебе не дано стать взрослым, — произнес он. — Ты убиваешь их потому, что тебе нравится поклонение обывателей, тебе нравится, когда они хлопают тебя по спине и угощают выпивкой. Потому, что тебе приятно, когда на улице хорошеные девушки оборачиваются и глядят тебе вслед. Ты убиваешь их потому, что хитроумные компании вроде «Убийц деревьев, инкорпорейтед» отлично понимают твою незрелость и незрелость сотен других таких, как ты, и они соблазняют тебя красивой зеленою униформой, соблазняют тебя тем, что посыпают в школу дрекорубов и воспитывают там в надуманных традициях; тем, что сохраняют примитивные способы уничтожения деревьев, — ведь благодаря этим примитивным способам ты кажешься почти полубогом тому, кто наблюдает снизу, и почти мужчиной самому себе.

— Так сорвите же нас, земляне, — произнесла она, — маленькие земляне, которые губят виноградники; ведь наши виноградники в цвету.

— Ты похитила это из моего сознания, — сказал он. — Но ты обмолвилась. Там говорится «лисы», а не «земляне».

— Лисы не переживают крушения надежд. Я сказала так, как нужно.

— ...Да, — согласился он. — Ты сказала так, как нужно.

— А теперь мне пора идти. Я должна подготовиться к завтрашнему дню. Я буду на каждой ветви, которую ты срезаешь. Каждый упавший лист будет казаться тебе моей рукой, каждый умирающий цветок — моим лицом.

— Мне очень жаль, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Но та часть твоей души, которая испытывает жалость, живет только ночью. Она всегда умирает на рассвете.

— Я устал, — произнес он. — Я ужасно устал. Мне нужно выспаться.

— Так спи, маленький землянин, у своего маленького игрушечного костра, в своей маленькой игрушечной палатке... Ложись, маленький землянин, и свернись калачиком в своей теплой уютной постели...

Спи...

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Его разбудило пение птиц-хохотушек, и, выбравшись из палатки, он увидел, как они порхают под древесными сводами, проносятся по зеленым коридорам, стремительно вырываются наружу сквозь ажурные отверстия в листве, розовые в свете зари.

Стоя на ветви, он выпрямился во весь рост, потянулся и полной грудью вдохнул прохладный утренний воздух. Потом включил передатчик.

— Что у вас на завтрак, мистер Райт?

Райт отозвался немедленно.

— Оладьи, мистер Стронг. Мы сейчас уничтожаем их, как голодные волки. Но пусть это вас не волнует: жена мэра уже готовит изрядную порцию специально для вас... Хорошо выспались?

— Неплохо.

— Рад это слышать. Сегодня вам придется попотеть. Ведь вам достанутся ветви побольше. Уже заарканили какую-нибудь симпатичную дриаду?

— Нет. Забудьте о дриадах, мистер Райт; давайте-ка лучше сюда оладьи.

— Слушаюсь, мистер Стронг.

После завтрака он свернулся лагерь и убрал в лифт палатку, одеяла и обогревательный прибор. Покончив с этим, он поднялся на лифте к тому месту, где прервал работу накануне.

Он отмерил шагами десяносто футов и, опустившись на колени, закрепил щипцы. Потом попросил Райта натянуть шнур. Далеко внизу виднелись домики и задние дворы. На краю площади выстроилась длинная очередь транспортировщиков древесины, готовых везти на лесопильный завод новый дневной урожай.

Когда шнур патянулся, Стронг попросил Райта приостановить лебедку, пошел назад к стволу и, сев в седло, приготовился срезать ветвь. Поднял резак, прицелился. Прикоснулся к курку.

Я буду на каждой ветви...

В сознании его вдруг вспыхнули видения прошлой ночи и на какой-то миг парализовали его волю. Он взглянул на конец ветви, где, поблескивая на солнце, трепетали под ветром убранные листьями тонкие боковые ветки. На этот раз он даже удивился, не увидев там дриады.

Прошла не одна минута, пока он наконец заставил себя перевести взгляд туда, куда ему сейчас положено было смотреть. И заново нацелил резак. «Возлюбленных все убивают», — подумал он и нажал курок. — Так повелось в веках».

— Поднимайте ее, мистер Райт.

Когда ветвь стала спускаться, он отодвинулся в сторону и, пока она проходила мимо, срезал самые длинные боковые ветки. Большая часть этих веток все равно застrevала в нижних слоях листвы, но, по мере того как сам он будет спускаться, все они в конце концов упадут на землю. Последние веточки были очень коротки и не вызывали беспокойства, и он отвернулся, чтобы осмотреть следующую ветвь. В ту же секунду он почувствовал на щеке теплое прикосновение листа.

Его лица словно коснулась рука женщины. Он отпринул и с яростью потер щеку.

Отведя руку, он увидел на пальцах красную влагу.

Он не сразу сообразил, что кровь, нет, не кровь, сок был на них еще до того, как он потер щеку; однако он был настолько потрясен, что даже когда понял это, ему стало немногим легче; но и от этого минутного облегчения не осталось и следа, когда он повернулся, чтобы проверить, плавно ли идет шнур, и увидел струившуюся из свежего среза кровь.

Обезумев, какое-то мгновение он видел там только обрубок женской руки.

Немного погодя до него дошло, что в его мозгу уже давно звучит чей-то голос.

— Том, — настойчиво повторял голос. — Том! У вас все в порядке?

Он наконец понял, что голос принадлежит Райту и звучит не в мозгу его, а доносится из приемника.

— Что такое?

— Я спрашиваю, все ли у вас в порядке?

— Да... у меня все в порядке.

— Слишком уж долго вы не отвечали! Я хотел вам сказать, что только что пришло сообщение от директора лесонильного завода, — по его словам, древесина всех ветвей, которые мы срезали, наполовину сгнила. Он боится, что им не удастся спасти ни кусочка. Поэтому передвигайтесь с осторожностью и, прежде чем перебросить шнур, хорошенько проверяйте прочность развилок.

— Лично мне дерево кажется вполне здоровым, — возразил Стронг.

— Как бы там ни было, не доверяйтесь ему в тех случаях, когда можно без этого обойтись. Как ни крути, а конец тут один. Я отослал несколько проб сока в местную лабораторию. Они там утверждают, что в соке нет никакого красящего пигмента, наличием которого можно было бы объяснить его странный цвет. Так что, возможно, нам только кажется, что мы видим кровь.

— А может, это само дерево заставляет нас видеть кровь?

Райт расхохотался.

— На вас, видно, здорово подействовало общение с дриадами, мистер Стронг. Теперь смотрите в оба!

— Слушаюсь, — сказал Стронг, выключая передатчик.

Он с облегчением перевел дух. По крайней мере, эта «кровь» встревожила не его одного. Срезая следующую ветвь, он уже чувствовал себя намного спокойнее, хотя новый обрубок «кровоточил» еще обильнее. Он слетел на следующую ветвь и, повернувшись спиной к стволу, пошел к ее противоположному концу. Внезапно он почувствовал под ногой что-то мягкое. Опустив глаза, он увидел, что наступил на цветок, упавший не то с верхушки дерева, не то с одной из только что срезанных им веток. Он нагнулся и поднял его. Цветок был раздавлен, стебель его сломан, но, даже умирая, он каким-то необъяснимым образом мучительно напоминал женское лицо.

Он набросился на дерево, надеясь, что усталость притупит чувства.

Работал он с остервенением. Сок обагрил его руки, запятнал одежду, но Стронг заставил себя не думать об

этом. Он заставил себя не думать о цветах, о листьях, которые порой ласково касались его лица. К полудню он уже спустился ниже той ветви, на которой провел ночь, и над ним уходила ввысь, в листву вершины, трехсотфутовая колонна изувеченного ствола.

Достав свой древоракцион, он пасек перекусил и снова взялся за работу. Солнце налило нещадно, и сейчас он остро ощущал отсутствие ветвей и листьев, которые давали ему тень вчера. Своими размерами нижние ветви внушили ему благоговейный страх. Даже если точно знаешь, что шнур, которым пользуешься, никогда, ни при каких условиях не разорвется, ты все равно не можешь спокойно наблюдать, как такая тонкая нить поднимает в вертикальное положение двухсот- или трехсотфутовую ветвь и, приняв на себя всю ее тяжесть, плавно опускает на землю.

Чем ниже он спускался, тем сильнее кровоточило дерево. Кровь, сочившаяся из обрубков, каплями стекала вниз, заливая ветви и листья и превращая его работу в какой-то кошмар из окровавленных пальцев и пропитанной красным одежду. Временами у него совсем уже опускались руки, но каждый раз он напоминал себе, что, если он не доведет работу до конца, его место займет Сухр, который вытянул вторую по длине травинку; и почему-то мысль о жестоких руках Сухра, воиззающих в дерево луч резака, была для него еще невыносимее, чем этот кровавый потоп. Поэтому он с упорством продолжал делать свое дело, и когда кончился день, ему уже осталось пройти меньше двухсот футов.

Он установил палатку на самой верхней из оставшихся ветвей и попросил Райта прислать ему воду, мыло и полотенца. Когда Райт выполнил его просьбу, он разделся догола, хорошенько намылился и смыв пену водой. Вытервшись насухо, он в остатке воды выстирал свою одежду и развесил ее над костром. Ему стало легче. Когда Райт прислал ему ужин — еще одно блюдо, специально для него приготовленное женой мэра, — он набросил на плечи одеяло и, усевшись по-турецки у костра, принял за еду. К тому времени, как он покончил с ужином, платье его уже высохло, и он оделся. На небе высвечивали звезды.

Он открыл чайную-термос, которую ему прислали вместе с едой, и, потягивая кофе, выкурил сигарету.

Он думал о том, придет ли она сегодня ночью.

Становилось все холоднее. Наконец поднялась первая луна, и вскоре к ней присоединились две ее серебристые сестры. Их белоснежное сияние преобразило дерево. Ветви, в том числе и та, на которой он сидел, казались лепестками огромного цветка. Но иллюзия эта вмиг развеялась, когда его взгляд упал на поднимавшийся из самой середины этого цветка изуродованный, весь в обрубках ствол.

Но он не отвел глаз. Встав во весь рост, он повернулся лицом к стволу и взглянул вверх на эту беспощадную карикатуру, созданную его собственными руками. Выше и выше поднимался его взгляд, все выше и выше, туда, где прекрасная, как волосы женщины, блестела в темноте шапка вершины... Он вдруг заметил, что к волосам этим был приколот цветок, одинокий цветок, слабо мерцающий в лунном свете.

Он протер глаза и снова посмотрел туда. Цветок не исчез. Это был какой-то странный цветок, не похожий на остальные: он цвел над самым близким к вершине обрубком ветви — над тем самым обрубком, где он впервые увидел кровь дерева.

Лунный свет становился все ярче. Он нашел глазами развилку, через которую проходил шнур, и скользнул по шнуре взглядом вниз, до того места, где укрепил его, покончив с дневной работой. Протянув руку, он коснулся шнура: прикосновение это было приятным, и через мгновение, облитый лунным светом, он уже лез наверх.

Выше и выше поднимался он, играя узлами бицепсов, натягивая напрягшимися мускулами спины рубашку. Все выше и выше, к лунному свету, к волшебству. А ветви под ним постепенно уменьшались, сливаясь в сплошную серебристую массу. Добравшись до развилки, через которую проходила седельная веревка, он снял ее, смотал и перебросил через плечо. Дыхание его было ровным и легким, он не чувствовал никакой усталости. И лишь когда он добрался до развилки, через которую проходил шнур, он начал задыхаться, и утомлением налились его руки. Сделав на конце веревки петлю, он сложил ее витками и забросил на обрубок ветви, торчавший над ним примерно футах в пятнадцати. Так он забрасывал ее еще восемь раз, пока наконец не достиг развилки, через которую вчера впервые перебросил седельную веревку. Грудь его стеснило, вздувшиеся мускулы содрогались от боли. Он выпустил щипы и подез

вверх, преодолевая последние футы ствола. Добравшись до самой высокой развилки, он поднял голову и увидел ее, сидящую на суку; и цветок был ее лицом.

Она подвинулась, освобождая для него место, и он сел рядом с ней, а далеко внизу, подобно гигантскому перевернутому зонтику, раскинулись нижние ветви дерева и, обрамляя его убранные листьями края, словно многоцветные капли дождя, мерцали огоньки деревни. Он увидел, что она стала еще тоньше, еще бледнее и в глазах ее была грусть.

— Ты пыталась убить меня, правда? — отышавшись, спросил он. — Ведь ты не верила, что я смогу взобраться сюда.

— Я знала, что ты с этим справишься, — сказала она. — Это завтра я убью тебя. Не сегодня.

— А как ты сделаешь это?

— Я... я не знаю.

— Но почему тебе захотелось убить меня? Есть же на свете другие деревья — если не здесь, то где-нибудь в иных землях.

— Для меня существует только одно-единственное, — ответила она.

— Приады были нашей выдумкой, шуткой, — произнес он. — Мой и остальных. И как это ни странно, никому из нас никогда не приходило в голову, что если бы они и впрямь существовали, то по логике вещей из всего населения галактики они должны были бы ненавидеть именно нас.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она.

— Нет, понимаю. Ведь я могу представить, что бы я чувствовал, если бы меня был свой дом и в один прекрасный день кто-нибудь пришелся разрушать его.

— Это совсем не то, — сказала она.

— Но почему же? Разве дерево — не твой дом? Ты живешь на нем одна?

— ...Да, — ответила она. — Я одинока.

— Я тоже одинок, — сказал он.

— Но не сейчас, — возразила она. — Сейчас ты не одинок.

— Нет. Сейчас нет.

Лунный свет, стекая с листьев, осыпал их плечи брызгами серебристых капель. Из золотого серебряным

стало Великое Ишеничное Море, и серебряной мачтой затонувшего корабля казалось видневшееся вдали мертвое дерево с голыми перекладинами мертвых ветвей, за которых когда-то вздувались паруса листвы; искрясь на солнце, они полоскались под теплыми летними ветрами, трепетали весной в порывах предрассветного бриза, дрожали осенними вечерами от холодного дыхания первых заморозков...

«Интересно, что происходит с дриадой, когда умирает ее дерево?» — подумал он.

— Она тоже умирает, — ответила она, прежде чем он успел спросить это вслух.

— А почему?

— Ты этого не поймешь.

— Прошлой ночью мне показалось, что ты мне приснилась, — помолчав немного, сказал он. — А сегодня утром, проснувшись, я уже не сомневался, что видел тебя во сне.

— Ты ведь не мог думать иначе, — сказала она. — И завтра ты вновь будешь думать, что я тебе приснилась еще раз.

— Нет, — возразил он.

— Да, — сказала она. — Ты опять будешь считать меня сновидением, потому что у тебя нет другого выхода. Ведь иначе ты не сможешь убить дерево. Иначе ты не выдержишь вида крови и самому себе покажешься безумцем.

— Может быть, ты и права.

— Я знаю, что я права, — произнесла она. — Как это ни ужасно. Завтра ты спросишь себя, а может ли вообще существовать на свете дриада, да еще такая, которая говорит по-английски, да еще такая, которая читирует стихи, прочтя их в твоих мыслях; да еще такая, которая силой своих чар способна заставить тебя преодолеть почти пятьсот футов ствола для того только, чтобы поболтать с тобой, сидя на залитой лунным светом ветке.

— А если и вправду вдуматься, разве может быть такое на самом деле? — спросил он.

— Вот видишь? Еще не наступило утро, а ты уже сомневаешься. Тебе снова начинает казаться, что я — это всего лишь игра света на листьях и ветвях; что я — это всего лишь романтический образ, рожденный твоим одиночеством.

— Есть способ проверить это, — сказал он и, протя-

пув руку, попытался коснуться ее. Но она выскользнула из-под его руки и отодвинулась к краю суха. Он последовал за ней и тут же почувствовал, как сук под ним согнулся.

— Не нужно, — попросила она. — Не нужно.

Она отодвинулась еще дальше, такая тонкая и бледная, что он едва мог различить ее сейчас на фоне затканий звездами небесной тьмы.

— Я знал, что ты мне только привиделась, — сказал он. — Ты не можешь быть настоящей.

Она не отозвалась. Он напряг глаза — и увидел лишь листья, и тени, и лунный свет. Он начал медленно двигаться обратно к стволу, как вдруг почувствовал, что сук под ним гнетется все больше, и услышал треск ломающейся древесины. Но сук обломился не сразу. Вначале он пригнулся к дереву, и за какую-нибудь секунду до того, как сук сломался окончательно, Стронг успел обхватить руками ствол и, прильнув к нему всем телом, повис так, пока ему не удалось вонзить в дерево шипы.

Долгое время он не шевелился. Он слышал, как постепенно замирает свист рассеченного падающим суком воздуха, слышал, как далеко внизу запелестела листва, через которую он пробивал себе путь, и слабый стук его надежд о землю.

Наконец Стронг двинулся вниз. Сиуск был каким-то совершенно нереальным. Казалось, ему не будет конца.

Он вполз в палатку и втащил за собой костер. Солнечным пчелиным роем жужжала в его мозгу усталость. Он исступленно мечтал отдалиться от дерева. Пропади она пропадом, эта традиция, подумал он. Он только срезает ветви, а потом пусть его место займет Сухр.

Но он знал, что бесстыдно лжет самому себе, что никогда не допустит, чтобы Сухр коснулся лучом резака хоть одной ветки. Это дерево не для обезьяны. Это дерево должен срубить человек.

Вскоре он заснул с мыслью о последней ветви.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

И именно последняя ветвь едва не убила его.

Когда он срезал все остальные, наступил полдень, и он приостановил работу, чтобы позавтракать. Есть ему не хотелось. Его мучило от одного вида дерева, гладкого и стройного на протяжении первых двухсот восьмидесяти

ти семи футов, чудовищно искалеченного на протяжении следующих шестисот сорока пяти и симметричного там, где еще зеленели нетронутые девяносто футов вершины. Только представляя себе, как к тем умирающим ветвям взирается не он, а Сухр, Стронг находил в себе силы продолжать работу. Если вашей любимой суждено быть убитой, пусть уж лучше она погибнет от вашей собственной руки: ибо если в убийстве может крыться какое-то милосердие, разве не естественно, что право даровать его в первую очередь принадлежит возлюбленному?

И вот наступил момент, когда первая ветвь стала последней и ее пятьсот футов пелено пависли над площадью и деревней.

В том месте, где он стоял, относительно небольшая толщина ветви позволяла ему заглянуть через ее край. Он собрал солидную аудиторию: там внизу были, конечно, Райт, Сухр, и Блюскиз, и водители транспортировщиков древесины; а на улицах, за веревочным заграждением толпились сотни колонистов, которые, задрав головы, с жаждым любопытством смотрели в его сторону. Но сейчас их присутствие почему-то не вызвало в нем того волнующего вдохновения, которое он обычно испытывал, работая на глазах у зрителей. Он вдруг поймал себя на мысли о том, что бы они стали делать, если б он нечаянно уронил отрезанную ветвь. Она вполне могла бы разрушить не менее двадцати домиков, а если бы ее удалось еще и подтолкнуть, число это возросло бы в полтора раза.

Внезапно осознав, что это мысли предателя, он поспешил включить передатчик:

Поднимайте ее, мистер Райт.

Того пятинаутый шнур придавал сейчас ветви сходство с висячим мостом, держащимся на одном-единственном тросе. Стронг направился обратно к стволу и, дойдя до него, приготовился срезать ветвь. Поднял и нацепил резак. Едва он нажал курок, из листвы на другом конце ветви выпорхнула стайка птиц-хочотушек.

— А теперь еще выше, мистер Райт.

Застонав, ветвь слегка приподнялась. Птицы-хочотушки трижды облетели вокруг ствола, молниеносно взмыли к вершине и исчезли из виду. Он резанул снова. Эта сторона дерева была обращена к солнцу; и из образовавшейся щели выступил сок и тонкими струйками по-

тек вниз по стволу. Стронг внутренне содрогнулся, но резанул еще.

— Не ослабляйте натяжения, мистер Райт.

Ветвь постепенно поднималась все выше, дюйм за дюймом, фут за футом, внушая ужас своей чудовищностью. Среди ранее срезанных им ветвей попадались настоящие гиганты, но рядом с этой они выглядели карликами.

— Чуть быстрее, мистер Райт.

Ветвь стала подниматься, равномерно откидываясь назад к стволу. Он бросил быстрый взгляд вниз. Сухи и Блюскиз, разрезав последнюю из посланных Стронгом ветвей на части, по величине подходившие для погрузки на транспортировщики, следили за ним с напряженным вниманием. Райт стоял у главной лебедки, не спуская глаз с поднимавшейся ветви. Плещащая отливалась красным. Как и одежда стоявших внизу мужчин.

Стронг вытер лицо окровавленным рукавом рубашки, снова взглянул на срез и постарался сконцентрировать на нем все внимание. Ветвь уже стояла почти вертикально — наступил критический момент. Он опять вытер лицо. Господи, как же палило солнце! И никакой тени, чтобы укрыться от его жгучих лучей. Ни малейшей тени. Ни клочка, ни пятнышка, ни самой ничтожной крупицы тени...

Его вдруг заинтересовало, во какой бы цене пла тень дерева, если б в галактике обнаружилась ее острая нехватка. И как бы вы ее продавали, если б она у вас была? Кубическими футами? В зависимости от температуры? Качества?

Доброе утро, мадам. Мой бизнес — тени деревьев. Я специалист по продаже всевозможных редких теней: к примеру, я торгуя тенями плакучей ивы, дуба, яблоневого дерева, клена и многих, многих других деревьев. Но сегодня я могу предложить нечто исключительное — совершенную необычную тень дерева, только что доставленную с Омикрона Сети-18. Она глубока, темна, прохладна и великолепно освежает; короче, это именно та тень, в которой лучше всего можно отдохнуть после дня, проведенного на солнце, — кстати, это последний экземпляр такого рода, поступивший в продажу. Вам, мадам, наверное, кажется, что вы хорошо разбираетесь в тенях и вас ничем не удивишь, но, поверьте, вам никогда в жизни не попадалось ничего похожего на эту тень.

Ее продували прохладные ветры, в ней пели птицы и день-деньской резвились дриады...

— Стронг!

Он очнулся с быстротой пловца, вынырнувшего из глубины моря на поверхность. На него надвигалась темная громада ветви, которая, обламываясь по линии надреза, отделялась от своего основания. Он услышал громкий треск древесины и скрежет трения коры о кору. Он увидел кровь.

Он хотел было метнуться в сторону, но ноги его словно палились свинцом, и, застыв на месте, он мог только смотреть, как неумолимо приближается ветвь, и ждать, пока, окончательно освободившись, эти тонны древесины не обрушатся на него и его кровь не смешается с кровью дерева.

Он закрыл глаза. «Это завтра я убью тебя, — сказала она. — Не сегодня». Банг! — загудел шнур, приняв на себя всю тяжесть отломившейся ветви, и он почувствовал, как задрожало дерево.

Но удара почему-то не последовало, тело его не было раздавлено и размазано по стволу. Сейчас для него существовала только тьма за опущенными веками и ощущение, что время остановилось.

— Стронг! Бога ради, да убирайтесь же наконец оттуда!

Тогда только он открыл глаза. В последний момент ветвь качнулась в другую сторону. А теперь она поплыла обратно. Ноги его ожили; отчаянно карабкаясь и цепляясь ногтями за кору, он перебрался на другую сторону ствола. Дерево все еще содрогалось, и это мешало ему сесть в седло, но, прижалвшись к выпуклостям коры, он ухитрился продержаться так, пока не стихла вибрация. Когда дерево успокоилось, он вернулся по стволу обратно, туда, где на конце шнура покачивалась ветвь.

— Все, Стронг. С вас хватит. Я приказываю вам спуститься на землю!

Взглянув вниз, он увидел стоявшего у лебедки Райта, который, подбоченясь, сердито смотрел на него. Блюскиз возился у пульта управления лебедки, а Сухр уже застегивал на себе пояс верхолаза. Ветвь быстро приближалась к земле.

«Итак, значит, меня снимают с дерева», — подумал Стронг.

Он подивился, что не чувствует от этого никакого об-

легчения. Разве совсем недавно не мечтал он о том, чтобы очутиться на земле?

Откинувшись в седле, он задрал голову и взглянул на дело своих рук: на ужасные обрубки ветвей и какую-то беснлотную вершину. Что-то удивительно прекрасное было в этой вершине, невыносимо, до боли прекрасное. Она была скорее золотистой, чем зеленою, и больше походила на японские волосы, чем на переплетение листьев и ветвей...

— Вы слышите меня, Стронг? Я приказал вам спуститься на землю.

Внезапно он представил себе, как к этим прелестным золотистым косам подбирается Сухр, как он оскверняет их своими грубыми руками, насиливает, разрушает. Будь это Блюскиз, он бы с этим смирился. Но Сухр!

Он посмотрел на развилику, через которую проходил шнур. Последняя ветвь была уже на земле, и шнур больше не двигался. Его глаза проследовали вдоль серебристой нити до того места, где шнур висел в нескольких футах от ствола. Протянув руку, он ухватился за него и влез на только что созданный им обрубок. Освободившись от седла, он стянул вниз веревку, смотал ее кольцами и перебросил через плечо.

— Стронг, я предупреждаю вас в последний раз!

— Идите вы к черту, Райт, — сказал Стронг. — Это мое дерево!

Он полез вверх по шнуре. Первые сто футов Райт, ни на секунду не умолкая, осыпал его проклятиями. А когда он уже преодолел более половины пути, тои Райта несколько смягчился. Но Стронг словно бы оглох.

— Ладно уж, Том, — сдался паконец Райт, — раз так, кончайте с деревом сами. Только не вздумайте лезть по шнуре до вершины. Поднимитесь в лифте.

— К дьяволу лифт! — огрызнулся Стронг.

Он сознавал, что поступает неразумно, но ему было наплевать на все. Он хотел добраться до вершины именно так, хотел выжать из себя все силы, хотел истерзать свое тело, хотел испытать боль. Боль пришла, когда до развилики, через которую проходил шнур, оставалось футов двести. Когда он достиг ее, боль уже разгулялась во всю. Но это была еще не та боль, которой он жаждал, и, не передохнув ни секунды, он сделал на конце верев-

ки петлю, забросил ее на торчавший выше обрубок ветви и полез дальше. Еще три раза забрасывал он веревку, пока не добрался до первой ветви вершины, и, очутившись под сенью листвы, с благодарностью окунулся в живительную прохладу. Боль раздирила его мышцы, легкие жгло огнем, в горле словно спекся ком дорожной грязи.

Немногос отдохнувшись, он отхлебнул из фляжки и лег в прохладной тени, без мыслей, без чувств, без движения. Откуда-то сквозь туман забытья донесся до него голос Райта:

— Хоть вы и полисийский болван, Стронг, но древоруб вы замечательный!

Он был слишком измучен, чтобы ответить.

Постепенно, по капле к нему возвращались силы; он встал на ветви и выкурил сигарету. Закинув голову, он посмотрел вверх, на листву, нашел глазами развилку и перебросил через нее седельную веревку. Взобравшись повыше, он припялялся внимательно осматривать ветви. В общем-то он и не ждал, что найдет ее там, но, прежде чем приняться за вершину, он должен был знать, что ее там нет.

Птицы-хохотушки таращили на него свои глаза-полумесяцы. Зеленые беседки были усыпаны цветами. Под слабым ветерком тихо дрожали обрызганные солицем листья.

Он хотел позвать ее, но не знал ее имени. Если оно вообще у нее было. Страшно, что он не догадался спросить, как ее зовут. Он разглядывал причудливые изгибы ветвей, невиданные узоры из листьев. С трудом оторвал он взгляд от цветов. Если ее не было здесь, ее не было нигде...

Разве что этой ночью она покинула дерево и укрылась в одном из опустевших домиков. Но он в это не верил. Если она не была игрой его воображения, а существовала на самом деле, она никогда не покинула бы свое дерево; а если она только пригрезилась ему, она не могла покинуть его.

Как видно, она не была ни тем, ни другим; верхушка дерева цуствовала — нигде не было ее лица, подобного цветку, ее сотканной из листьев туники, ее тонких ног и рук цвета спелой пшеницы, ее золотых, как солнце, волос. Он не мог сказать, что он почувствовал, не найдя ее, — облегчение или разочарование. Он боялся найти

ее, — ведь, окажись она на вершине дерева, он не знал бы тогда, что делать. Но теперь он понял, что точно так же боялся ее не найти.

— Что вы там делаете, мистер Стронг? Прощаетесь со своей дриадой?

Вздогнув, он посмотрел вниз на площадь. Трио — Райт, Сухр и Блюскиз казались отсюда микроскопическими, едва различимыми точками.

— Осматриваю ее, — ответил Стронг. — Я имею в виду вершину. Здесь около девяноста футов: вы справитесь с ней, если я срежу ее целиком?

— Рискнем, мистер Стронг. И еще я хочу, чтобы вы, пока позволит диаметр, разрезали верхнюю часть ствола на бревна длиной по пятьдесят футов каждое.

— Тогда готовьтесь, мистер Райт.

Ему показалось, что, падая, вершина склонилась перед небом в прощальном поклоне. Птицы-хокотушки выпорхнули из листвы и алой искоркой мелькнули к горизонту. Вершина поплыла к земле точно зеленое облако, и летним ливнем запушил рассекаемый листьями воздух.

Дерево затряслось, как плечи рыдающей женщины.

— Блестящая работа, мистер Стронг, — услышал он немного погодя голос Райта. — Но моему приблизительному подсчету, вы сможете теперь нарезать одиннадцать пятидесятифутовых — больше не получится из за возрастающего диаметра ствола. Потом вы должны будете отрезать два бревна по сто футов. Если вы сделаете это как следует, то они не доставят нам никаких хлопот. А потом вам останется только свалить последние двести футов основания, но так, чтобы его верхняя часть легла на одну из улиц деревни; когда вы спуститесь, мы обмозгнем, как это сделать получше. Таким образом, вам предстоит поработать резаком еще четырнадцать раз. Как, по-вашему, вы успеете кончить сегодня?

Стронг взглянул на часы.

— Сомневаюсь, мистер Райт.

— Если успеете — прекрасно. Если нет — в нашем распоряжении еще целый завтрашний день. Пожалуй, не стоит испытывать судьбу, мистер Стронг.

Первое пятидесятифутовое «бревно», спикировав, ударились о черную землю площади и, секунду постояв вертикально, завалилось набок. За ним последовало второе...

Потом третье, четвертое...

Ну не забавно ли, подумал Стронг, насколько физический труд ставит все на свои места и излечивает рассудок. Сейчас ему трудно было поверить, что каких-нибудь полчаса назад он искал дриаду. Что не прошло и суток с того времени, когда он с ней разговаривал...

Пятое, шестое...

После седьмого работа пошла медленнее. Стронг приближался к отметке, сделанной им раньше на середине ствола, и диаметр его уже достиг почти тридцати футов. Ему теперь приходилось вбивать в ствол древоколья и протягивать через отверстия на их концах импровизированные спасательные пояса. Но зато благодаря замедлившемуся темпу работы Сухр и Блюскиз успевали теперь резать «бревна» на части, подходящие по размеру для погрузки на транспортировщики. Вначале они оставали, а сейчас начали его догонять. Как сообщили Райт, колонисты окончательно распостились с надеждой счасти древесину и складывали ее штабелями на открытой местности, подальше от лесонилки, чтобы потом сжечь всю сразу.

После полудня поднялся ветер. Но сейчас он уже почти стих. Снова стало припекать солнце; еще сильнее «закровоточило» дерево. Стронг то и дело бросал взгляд на площадь. Залитая красным и местами начисто вытоптанная и вырванная с корнем трава придавала ей некоторое сходство со скотобойней; но он так изголодался по ощущению твердой земли под ногами, что даже «окровавленная» почва казалась ему вожделенной.

Стронг искоса поглядывал на солнце. Он пробыл на дереве почти три дня, и ему совсем не улыбалось провести еще одну ночь на его ветвях. Или, вернее, на их обрубках. Однако, разделавшись с последними пятидесятифутовиками, он вынужден был признать, что ему этого не миновать. Солнце уже почти скрылось за Великим Пиненичным Морем, и он знал, что ему вряд ли удастся до наступления темноты сбросить вниз хотя бы одно стоящее бревно.

На обрубке, где он сейчас стоял, уместилось бы двадцать древопалаток. Райт перебросил через этот обрубок шнур (лифт был спущен еще днем, и трос лебедки смотап) и отправил наверх кое-какие припасы и ужин. Оказалось, что на ужин мэр снова посыпал специально для него приготовленное блюдо. Установив палатку,

Стронг без особой охоты принялся за еду; от его вчерашнего аппетита не осталось и следа.

Он был настолько измучен, что даже не умылся, хотя Райт прислал ему, помимо еды, воду и мыло, и, поужинав, растянулся на грубой коре и принялся наблюдать за серебристым восходом лун и робким пробуждением бледных звезд. На этот раз она приблизилась к нему на цыпочках и, сев рядом, устремила на него печальный взгляд своих голубых глаз. Его потрясла бледность ее лица, и он чуть не зарыдал, увидев, как впали ее щеки.

— Сегодня утром я искал тебя, — сказал он. — Но так и не нашел. Где ты скрываясь, когда исчезаешь?

— Нигде, — ответила она.

— Но должна же ты где-нибудь находиться.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она.

— Правда, — согласился он. — Пожалуй, я действительно не понимаю. Пожалуй, я не пойму никогда.

— Нет, ты поймешь, — сказала она. — Ты поймешь завтра.

— Завтра будет слишком поздно.

— Сегодня уже слишком поздно. Слишком поздно было вчера. Слишком поздно было еще до того, как ты поднялся на дерево.

— Скажи, — произнес он, — ты на тех, кто построил деревню?

— В некотором смысле, — ответила она.

— Сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Ты помогала строить деревню?

— Я выстроила ее одна.

— А вот сейчас ты лжешь, — сказал он.

— Я никогда не лгу, — возразила она.

— Что произошло с коренными жителями этой планеты?

— Они возмужали. Утратили простоту. Стали цивилизованными. А цивилизовавшись, они принялись осмеивать обычай своих предков, обвинив их в невежестве и суеверии, и создали новые обычай. Они начали изготавливать предметы из железа и бронзы и меньше чем за сто лет полностью нарушили экологический баланс, который не только поддерживал их существование, но и стимулировал его — в такой степени, что стимул этот был чуть

ли не главной движущей силой их бытия. Поняв, что они наделали, они пришли в ужас; но было уже слишком поздно.

— И поэтому они погибли?

— Ты видел их деревни.

— Да, я видел их деревни, — проговорил он. — И я читал в отчете Разведывательного Отряда о пещерах смерти в северных пустынях, куда они притащились со своими детьми умирать. А эта деревня? Ведь они могли бы спасти ее, срубив дерево, как это делаем мы.

Она покачала головой.

— Ты все еще ничего не понимаешь, — сказала она. — Для того чтобы получать, нужно и давать: это закон, который они нарушили. Некоторые из них нарушили его раньше, другие — позже, но со временем его нарушили все и поплатились за это.

— Ты права, — согласился он. — Я этого не понимаю.

— Ты поймешь завтра. Завтра все станет ясным.

— Прошлой ночью ты пыталась меня убить, — сказал он. — Зачем?

— Ты ошибаешься. Прошлой ночью ты хотел убить себя сам. Я пыталась убить тебя сегодня.

— Ветвью?

— Да.

— Но как?

— Неважно. Важно то, что я этого не сделала. Не смогла.

— Куда ты уйдешь завтра?

— Почему тебя беспокоит, куда я уйду?

— Просто так.

— Вряд ли ты полюбил меня...

— Почему ты думаешь, что я не могу тебя полюбить?

— Потому что... Потому что...

— Потому что я не верю, что ты существуешь?

— А разве не так? — спросила она.

— Не знаю, — сказал он. — Порой мне кажется, что ты реальна, порой я в это не верю.

— Я так же реальна, как и ты, — сказала она. — Только по-иному.

Внезапно он протянул руку и коснулся ее лица. Кожа ее была нежной и холодной. Холодной, как лунный свет, нежной, как лепесток цветка. Лицо ее заколебалось, заколебалось все ее тело. Он сел и повернулся

к ней. Она была светом и тенью, листьями и цветами; она была ароматом лета, дыханием ночи. Он услышал ее голос. Голос этот был настолько тих, что ему с трудом удалось разобрать слова:

— Тебе не следовало этого делать. Ты должен был принять меня такой, какой я тебе казалась. Теперь ты погубил все. Теперь нам придется провести нашу последнюю ночь друг без друга, в одиночестве.

— Значит, ты все-таки не существуешь, — сказал он. — Тебя не было никогда.

Никакого ответа.

— Но если тебя никогда не было, значит, ты мне пригрезилась. А если ты мне пригрезилась, как могла ты рассказать мне о том, чего я не знал раньше?

Никакого ответа.

— Из-за тебя моя работа выглядит преступлением. Но ведь это не преступление. Когда дерево начинает угрожать обществу, его следует срубить.

Никакого ответа.

— Но тем не менее я отдал бы все на свете, чтобы этого не было, — добавил он.

Молчание.

— Все на свете.

Вокруг по прежнему никого не было. Наконец он повернулся, вполз в палатку и втащил в нее костер. Он отунел от усталости. Онемевшими пальцами он кое-как развернул одеяла, обернул ими свое онемевшее тело. Согнул онемевшие колени и обхватил их онемевшими руками.

— Все на свете, — пробормотал он. — Все на свете...

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Его разбудил солнечный свет, просочившийся сквозь стенку палатки. Он отшвырнул одеяла и выбрался наружу, павстречу утру.

Он не увидел алого порхания птиц-хохотушек; не услышал их утреннего щебетания. Дерево, залитое солнцем, безмолвствовало. Одинокое. Мертвое.

Нет, не совсем мертвое. У входа в палатку перепелись прелестные зеленые ветки, усыпанные цветами. Ему было невыносимо больно от одного их вида.

Он выпрямился во весь рост на обрубке ветви, пол-

ной грудью вдыхая утренний воздух. Стояло тихое утро. Над Великим Пшеничным Морем поднимался туман, и в ярко-голубом небе, словно только что выстиранное белье, висели обрывки перистых облаков. От подошел к краю обрубка и посмотрел вниз. Райт смазывал лебедку. Сухр резал на части последнее пятидесятифутовое бревно. Блюскиза нигде не было видно.

— Почему вы не разбудили меня, мистер Райт?

Райт поднял голову, нашел глазами его лицо.

— Я подумал, что вам не вредно поспать несколько лишних минут, мистер Стронг.

— Это была исплохая мысль... Где наши индеец?

— На него снова напали буйволы. Топит их в баре отеля.

На площадь въехал двухколесный жирокар, и из него вылез плотный мужчина с корзинкой в руке. Мэр, подумал Стронг. Завтрак. Он помахал рукой, и мэр помахал ему в ответ.

Как вскоре выяснилось, в корзинке были ветчина, яйца и кофе. Стронг быстро нозавтракал, разобрал и сложил палатку и вместе с одеялами и костром отправил ее в лифт вниз. И приготовился отрезать первое бревно. Бревно отделилось без всяких осложнений, и он «слетел» в седле вниз, чтобы приняться за следующее.

Сделав надрез с той стороны, куда, как распорядился Райт, должно было упасть бревно, он перебрался на противоположную сторону ствола. Благодаря буграм и трещинам коры это оказалось сравнительно несложным делом, и время от времени он даже останавливался, чтобы бросить взгляд на площадь. Площадь сейчас была ближе, чем во все предыдущие дни, и с этой его новой позиции она выглядела как-то непривычно; такими же странными казались ему отсюда дома, улицы и толпы наблюдавших за ним колонистов, которые собирались за пределами огороженной и опустевшей части деревни.

Райт остановил Стронга, когда тот, перебравшись на другую сторону ствола, оказался как раз напротив первого надреза; Стронг забил древокол. Он откинулся в седле, оперся ногами об одну из вынуклостей коры и взялся за резак.

Начал он очень осторожно. Ведь просчитайся он хоть на самую малость, на него могли обрушиться тысячи тонн древесины. Трудность состояла в том, что ему приходилось делать надрез над колом, и поэтому он вынуж-

дня был, подняв руки, держать резак над головой, одновременно следя за тем, чтобы луч шёл к стволу под нужным углом.

Для этой сложной операции требовались отличное зрение и безошибочный глазомер. В обычное время Стронг обладал и тем и другим, но сегодня его сковывала усталость. Насколько он устал, он понял лишь тогда, когда до него донесся отчаянный крик Райта.

Тут только он понял, что его подвели бугры на коре. Вместо того чтобы рассчитать угол луча, исходя из всей видимой ему поверхности ствола, он учел лишь его ограниченный участок — эти бугры сбили его с толку. Но было поздно что-либо изменить: на него уже валилось стодвадцатифутовое бревно, и он ничем не мог этому воспрепятствовать.

Он находился в положении человека, который, прильнув к поверхности скалы, видит, как на него начинает падать огромная глыба, отделившаяся от каменного массива, и вот-вот на его теле неизбежно сомкнутся каменные челюсти.

Он совсем не почувствовал страха, он просто не успел осознать весь ужас происходящего. С недоумением наблюдал он за тем, как падающая глыба закрыла от него солнце, превратив трещины между буграми коры в темные пещеры. Он с удивлением прислушивался к голосу, который явственно звучал в его мозгу и вместе с тем никак не мог быть порожден его собственным сознанием — слишком уж много было в этом голосе нежности и муки.

Прячься в трещину. Быстрее!

Он не видел ее; он даже не был уверен, что голос принадлежал ей. Но тело его мгновенно откликнулось на эти слова, и он судорожно начал протискиваться в ближайшую трещину, стараясь забиться как можно глубже. Еще мгновение — и все эти усилия пропали бы даром: едва его плечо коснулось внутренней стенки, надрезанный кусок ствола с грохотом обломился и ринулся вниз. Оглушительный грохот, треск, летящие во все стороны щепки — и наконец кусок ствола исчез, промчавшись мимо.

Трещину залил солнечный свет. Кроме Стронга, в ней никого не было.

Вскоре он услышал тяжелый удар — это бревно упало на землю. За ним последовал другой удар, более продолжительный, и он понял, что оно приземлилось вер-

тикально, а потом завалилось набок. Он почти с надеждой ждал, что за этим последуют треск ломающегося дерева, звон разбитого стекла и прочие звуки, которые раздаются, когда на дома обрушивается что-то невероятно тяжелое, но ничего не услышал.

В трещине не было пола, и он держался в ней, прижав колени к одной ее стенке, а спину — к другой. Теперь, когда все кончилось, он медленно пододвинулся к отверстию и глянул вниз, на площадь.

Бревно упало под углом, пропахав в земле глубокую борозду и выбросив на поверхность предметы древних погребальных обрядов и обломки человеческих костей. Потом оно вытянулось во всю длину на площади, по счастливой случайности даже не задев ближайших домиков. Райт и Сухр бегали вдоль бревна в поисках его изувеченного тела. Внезапно он услышал хохот. И понял, что это смеется он сам; но не потому, что узнал свой голос, а просто в трещине, кроме него, больше никого не было. Он хохотал до боли в груди, пока не стал задыхаться, пока не выплынул из себя всю истерию. Отдышавшись, он включил передатчик и сказал:

— Уж не меня ли вы ищете, мистер Райт?

Райт напрягся и, круто повернувшись, взглянул вверх. Вслед за ним повернулся и Сухр. Какое-то время все молчали. Наконец Райт поднял руку и вытер рукавом лицо.

— Я только могу сказать, мистер Стронг, — произнес он, — что здесь не обошлось без вашей добродушной дриады. — И добавил: — Спускайтесь же, дружище. Спускайтесь поскорее. Мне не терпится пожать вам руку.

Стронг наконец понял, что теперь он может спуститься на землю; что его работа, если не считать рубки основания ствола, закончена.

Сев в седло, он полетел вниз, через каждые пятьдесят футов заново укрепляя седельную веревку. В нескольких футах от земли он остановился, выскоцил из седла и прыгнул на площадь.

Солнце стояло в зените. Он провел на дереве три с половиной дня.

Подошел Райт и пожал ему руку. Его примеру последовал Сухр. Стронг не сразу сообразил, что обменивается рукопожатием еще с кем-то третьим. Это был мэр, который привез особые яства уже для всех, не забыв прихватить складной стол и стулья.

— Мы никогда не забудем вас, мой мальчик, — говорил мэр, подрагивая дряблым подбородком. — Мы никогда вас не забудем! В вашу честь я созвал вчера вечером внеочередное совещание Правления, и мы единодушно проголосовали за то, чтобы, как только будет сожжена пень, поздвигнуть на площади вашу статую. На ее основании мы вырежем слова: «Человек, Который Спас Нашу Обожаемую Деревню». Не правда ли, это звучит весьма героически? Однако такая надпись отнюдь не преувеличивает ваши заслуги. А сегодня, сегодня вечером я желал бы выразить свою благодарность в более осозаемой форме: мне хотелось бы видеть вас — вместе с вашими друзьями, конечно, — у себя в отеле. Все угощение за счет заведения.

— Я ядал, когда вы это скажете, — брякнул Сухр.
— Мы придем, — сказал Райт.

Стронг промолчал. Наконец мэр выпустил его руку, и все четверо сели обедать. Бифштексы, привезенные с Южного Полушария; грибы, доставленные с Омикрона Сети-14; паскоро приготовленный салат, зеленый горошек; свежий хлеб; абрикосовый торт; кофе.

Стронг насилием защихивал в себя пищу. Ему совершенно не хотелось есть. Ему хотелось только выпить. Напиться до беспамяти. Но для этого еще не пришло время. Ведь ему предстояло сейчас свалить основание ствола. Только потом он сможет пить. Потом-то он поможет Блюскизу утопить буйвола. За счет заведения. «Человек, Который Спас Нашу Обожаемую Деревню». Налей-ка, бармен. Налей еще.

*Он больше не был в ярко-красном, бармен, но он обрызган был вином багряным, кровью алой в тот час, когда убил, — ту женщину убил в постели, которую любил...**

У мэра был прекрасный аппетит. Теперь его обожаемая деревня спасена. Теперь он может, расположившись у камина, спокойно пересчитывать свои кредитки. Ему больше не придется портить себе нервы из-за дерева. Стронг чувствовал себя тем самым маленьким голландцем, который, заткнув дыру в плотине, спас от моря дома биргеров.

Он обрадовался, когда кончился обед, обрадовался, когда, откинувшись на спинку стула, Райт произнес:

* О. Уэйльд, Баллада Рэдингской тюрьмы. Перевод В. Брюсова. (Прим. перев.)

— Что вы теперь нам скажете, мистер Стронг?

— Скажу, что пора с ним кончать, мистер Райт.

Все встали. Мэр забрал свой стол и стулья, сел в жирокар и присоединился к остальным колонистам, стоявшим за пределами опасной зоны. Деревня сверкала в лучах солнца. Улицы словно были только что подметены, а домики с их искусно выполненными украшениями напоминали свежие, еще теплые, пряники. Стронг чувствовал себя уже не маленьким голландцем, а Джеком — Убийцей Великанов. Настало время для последнего удара.

Он занял позицию у подножия ствола и начал делать надрез. Райт и Сухр стояли за его спиной. Работал он очень внимательно — ведь нужно было, чтобы ствол упал именно в том направлении, которое наметил Райт. Он резал глубоко и добросовестно и, кончив, уже знал точно, что на этот раз ствол покорится ему. Он заметил, что носки его ботинок стали красными. Красными от залитой кровью травы.

В последний раз стал он в нужную позицию и поднял резак. Нажал курок. «*Возлюбленных все убивают, так повелось в веках...* — подумал он. — *Кто трус — с коварным поцелуем, кто смел — с клинком в руках*»*. На стволе образовалась щель. По краям ее выступила красная жидкость. *Самые современные клинки, изготовленные в Нью-Америке, Венера. Стопроцентная гарантия, что они никогда не затупятся...*

И всегда беспощадны.

Кровь текла по стволу, окраинившая траву. Невидимое лезвие резака неумолимо двигалось из стороны в сторону, из стороны в сторону. Двухсотфутовый обрубок, некогда бывший высоким и гордым деревом, задрожал и начал медленно клониться к земле.

Был долгий свистящий звук падения; глухой, подобный грому завершающий удар; содрогнулась земля.

Поверхность гигантского пня стала ярко-красной под лучами солнца. Стронг уронил резак на землю. То и дело спотыкаясь, он побрел вокруг пня, пока не уперся в высокий, как многоэтажный дом, бок только что сваленного обрубка. Он упал так, как это было рассчитано, — верхняя часть его аккуратно улеглась между двумя рядами

* О. Уэйльд, Баллада Рэдингской тюрьмы. Перевод В. Брюсова. (Прим. перев.)

ми домиков. Но домики больше не волновали Стронга. Честно говоря, они никогда не волновали его по-настоящему. Он пошел вдоль обрубка, не отрывая глаз от земли. Он нашел ее на краю площади. Он знал, что найдет ее, если будет смотреть повнимательнее. Она была солнечным светом и полевым цветком, переменчивым рисунком травы. Он видел ее не всю — только талию, груди, руки и прекрасное умирающее лицо. Остальное было раздавлено упавшим обрубком — ее бедра, ноги, ее маленькие, обутые в сандалии из листьев ступни...

— Прости меня, — сказал он и увидел, как она улыбнулась и кивнула головой, увидел, как она умерла; и снова были трава, и полевой цветок, и солнце.

ДИПЛОГ

Человек, спасший обожаемую деревню, положил локти на стойку бара, который когда-то был алтарем, в отеле, который когда-то был церковью.

— Мы пришли топить буйвола, мэр, — произнес он.

Мэр, который в честь такого события взял на себя обязанности бармена, пахмурился.

— Он хочет сказать, что мы не прочь выпить, — пояснил Райт.

Мэр просиял.

— Позвольте предложить вам наше лучшее марсианско виски, приготовленное из отборнейших сортов кукурузы, которые выращивают в Эритрейском Море.

— Ташите его сюда из вашего паутинного склепа, и посмотрим, что это такое, — ответил Стронг.

— Это шикарное виски, — сказал Блюскиз, — но опо не тонит буйвола. Я уже пойдя глотаю его.

— Превались ты со своим проклятым буйволовом! — рявкнул Сухр.

Мэр поставил перед Райтом, Стронгом и Сухром стаканы и наполнил их из золотой бутылки.

— Мой стакан пуст, — сказал Блюскиз, и мэр палил ему тоже.

Из уважения к древорубам местные жители предоставили в их распоряжение весь бар. Однако все столики были заняты, и время от времени кто-нибудь из колонистов поднимался и произносил тост — за Стронга или за древорубов вообще, — и все остальные, как мужчины,

так и женщины, вставали тоже и с радостными возгласами осушали свои бокалы.

— Как же мне хочется, чтобы они убрались отсюда, — сказал Стронг. — Чтобы они оставили меня в покое.

— Они не могут оставить вас в покое, — возразил Райт. — Ведь вы теперь стали их новым богом.

— Еще виски, мистер Стронг? — спросил мэр.

— Мне нужно еще много виски, — ответил Стронг. — Чтобы заглушить воспоминания об этой гнусности...

— Какой это гнусности, мистер Стронг?

— Хотя бы вашей, маленький землянин, вашей, презренный жириный маленький землянин!..

— Было видно, как они возникали на горизонте, в облаке пыли, поднимавшейся из-под копыт, — сказал Блюскиз, — и они были прекрасны в своем косматом величии, и мрачны, и грандиозны, как смерть.

— Так сорвите же нас, земляне, — сказал Стронг, — маленькие жириные земляне, которые губят виноградники; ведь наши виноградники в цвету...

— Том! — воскликнул Райт.

— Вы разрешите мне воспользоваться случаем и подать в отставку, мистер Райт? Я никогда больше не убью ни одного дерева. Я сыт по горло вашей вонючей профессией!

— В чем дело, Том?

Стронг не ответил. Он посмотрел на свои руки. Часть виски из его стакана пролилась на стойку, и пальцы его стали влажными и липкими. Потом он поднял глаза на заднюю стенку бара. Некогда она была стеной местной церкви, которую колонисты превратили в отель, и в этой стене сохранилось несколько украшенных изысканной резьбой ниш, в которых раньше выставлялись атрибуты религиозных обрядов. Сейчас ниши были заполнены бутылками вина и виски — все, кроме одной. В этой единственной, не занятой бутылками нише стояла маленькая кукла.

У Стронга застучало в висках. Он указал на нишу.

— Что... что это за кукла, мэр?

Мэр повернулся к задней стенке бара.

— О, эта? Это одна из тех резных статуэток, которые в ранний период своей истории местные жители ставили над очагами, — по поверью, эти фигурки охраняли их дома.

Он взял статуэтку из ниши и, подойдя к Стронгу, поставил ее перед ним на стойку.

— Дивная работа, мистер Стронг, не правда ли?...
Мистер Стронг!

Стронг вспился глазами в фигурку; он не мог оторвать взгляд от ее изящных рук и длинных стройных ног; от ее маленьких грудей и тонкой шеи; от ее волшебного лица и золотистых волос; от тончайшей резьбы листьев ее зеленой одежды.

— Если я не ошибаюсь, эта фигурка называется фетишем, — продолжал мэр. — Она была сделана по образу их главной богини. Из того немногого, что мы знаем о них, можно заключить, что в древности аборигены верили в нее настолько фанатично, что кое-кто из них якобы даже видел ее.

На дереве?

Иногда и на дереве.

Стронг протянул руку и коснулся статуэтки. Он с нежностью поднял ее. Основание фигурки было влажным от пролитого им на стойку виски.

— Тогда... тогда она должна была быть Богиней Дерева.

— О нет, мистер Стронг. Она была Богиней Очага. Домашнего Очага. Разведывательный Отряд ошибся, считая, что деревья были объектами религиозного поклонения. Мы прожили здесь достаточно долго, чтобы понять истинные чувства аборигенов. Они поклонялись своим домам, а не деревьям.

— Богиня Очага? — повторил Стронг. — Домашнего Очага? А что же она в таком случае делала на дереве?

— Что вы сказали, мистер Стронг?

— На дереве. Я видел ее на дереве.

— Вы шутите, мистер Стронг!

— Провались я на этом месте, если я шучу! Она была на дереве! — Стронг изо всех сил стукнул кулаком по стойке. — Она была на дереве, и я убил ее!

— Возьмите себя в руки, Том, — сказал Райт. — На вас все смотрят.

— Я уничтожал ее дюйм за дюймом, фут за футом. Расчленял, отрезая ей руки и ноги. Я убил ее!

Внезапно Стронг остановился. Что-то было неладно. Что-то должно было произойти и не произошло. Тут он увидел, что мэр пристально смотрит на его руку, и понял, в чем дело.

Ударив кулаком по стойке, он должен был почувствовать боль. Но боли не было. И теперь он понял почему: его кулак не отскочил от стойки, а вошел в дерево. Будто оно сгнило.

Он медленно поднял руку. Из вмятины, оставшейся после удара, потянуло разложением. Дерево действительно сгнило.

Богиня Очага. Домашнего Очага. Деревни.

Круто повернувшись, он быстрыми шагами направился между столиками к выходившей на улицу стене и с размаху ударил кулаком по тщательно отделанной полированной поверхности дерева.

Его кулак прошел сквозь стену.

Он схватился за край пробитой им дыры и потянул. Кусок стены отвалился и упал на пол. Помещение наполнилось смрадом гниения.

В глазах наблюдавших за ним колонистов застыл ужас. Странг повернулся к ним лицом.

— Весь ваш отель прогнил до основания, — произнес он. — Вся ванна проклятая деревня!

Он захохотал. К нему подошел Райт и ударил его по лицу.

— Придите в себя, Том!

Смех его замер. Он набрал полные легкие воздуха, выдохнул.

— Неужели вы не понимаете, Райт? Дерево! Деревня! В чем нуждается дерево этого вида, чтобы вырасти до такого колоссального размера и существовать дальше, когда приостановится его рост? В питании. Во многих тонах питании. И в какой почве! В почве, удобренной отбросами и трупами умерших, орошаемой с помощью искусственных озер и водохранилищ, то есть оно нуждается в условиях, которые могут быть созданы лишь большими поселениями человеческих существ.

Что же происходит с подобным деревом? Веками, а может, и тысячелетиями оно постепенно познает, чем можно заманить к себе людей. Чем? Выстроив дома. Правильно. Выстроив, вернее, вырастив дома из своих собственных корней; домики, настолько очаровательные, что человеческие существа не могли устоять перед соблазном поселиться в них. Теперь-то вы понимаете, Райт? Дерево старалось поддержать не только себя, оно пытались поддержать и существование деревни. Но это

ему уже не удавалось — из-за неизменной человеческой глупости и эгоизма.

Райт был потрясен. Стронг взял его за руку, и они вместе вернулись к бару. Лица колонистов казались вылепленными из серой глины. Мэр по-прежнему тупо смотрел на вмятину в стойке.

— Может, вы поднесете еще один стаканчик человечку, который спас вашу обожаемую деревню? — спросил Стронг.

Мэр не шелохнулся.

— Должно быть, древние знали об экологическом балансе и облекли свои знания в форму суеверия, — сказал Райт. — И именно суеверие, а не знание переходило из поколения в поколение. Возмужав, они поступили точно так же, как все слишком быстро развивающиеся человеческие общества: они полностью пренебрегли суевериями. Научившись со временем обрабатывать металлы, они выстроили заводы по обеззараживанию сточных вод, мусоросжигательные печи и крематории. Они отвергли все системы ликвидации отходов, которыми их когда-то обеспечили деревья, и превратили древние кладбища у подножия деревьев в деревенские площади. Они нарушили экологический баланс.

— Они не видели, что творят, — сказал Стронг. — А когда они поняли, к чему все это привело, восстанавливать его было слишком поздно. Деревья уже начали умирать, и когда окончательно погибло первое дерево и начала гнить первая деревня, их обуял ужас. Быть может, привязанность к своим домам настолько вошла в их плоть и кровь, что они потеряли голову. И не исключено, что они просто не смогли вынести, как эти дома умирали у них на глазах. Поэтому они ушли в северные пустыни. Поэтому они умерли от голода или замерзли в пещерах смерти, а может быть, все вместе покончили жизнь самоубийством...

— Их было пятьдесят миллионов, пятьдесят миллионов косматых величественных животных, обитавших в тех плодородных долинах, где пыле простирается Великая Северо-Американская пустыня, — сказал Блюскиз. — Трава, которой они питались, была зеленой — они возвращали ее земле в своем помете, и трава зеленела вновь. Пятьдесят миллионов! А к концу бояни, устроенной белыми людьми, их осталось пятьсот.

— Как видно, из всех деревень эта модернизирован-

лась последней, — сказал Райт. — И все же дерево начало умирать за много лет до прихода колонистов. Поэтому-то деревня теперь гниет с такой быстротой.

— Гибель дерева ускорила процесс разложения, — сказал Стронг. — Вряд ли хоть один домик простоял больше месяца... Но дерево могло бы прожить еще лет сто, если бы они так не тряслись за свою проклятую недвижимую собственность. Деревья таких размеров умирают очень долго... А цвет сока — думаю, что я теперь понял и это. Его окрасила наша совесть... Однако мне кажется, что в каком-то смысле она... она хотела умереть.

— И все же, несмотря ни на что, колонисты будут возделывать землю, — сказал Райт. — Но теперь им придется жить в землянках.

— Кто знает, может быть, я совершил акт милосердия... — сказал Стронг.

— О чём это вы оба толкуете? — спросил Сухр.
— Их было пятьдесят миллионов, — сказал Блюскис. — Пятьдесят миллионов!

*Франция
Япония
Испания
Норвегия*



*Англия
Канада
Австралия
США*

Рука Генца фон Берлихингена

ФРАНЦИЗ



ы жили тогда в Генте, на улице Хэм, в старом доме, таком громадном, что я боялся заблудиться во время тайных прогулок по запретным для меня этажам.

Дом этот существует до сих пор, но в нем царят тишина и забвение, ибо больше некому наполнить его жизнью и любовью.

Тут прожили два поколения моряков и путешественников, а так как порт близок, то дому беспрерывно гуляли усиленные гулким эхом подвалы призывы пароходных сирен и глухие шумы безрадостной улицы Хэм.

Наша старая служанка Элоди, которая составила свой собственный календарь святых для семейных торжеств и обедов, буквально канонизировала некоторых наших друзей и посетителей, и среди них самым почитаемым был, конечно, мой дорогой дядюшка Франс Петер Квансюис.

Этот знаменитый остроумный человек не был моим бастоящим дядюшкой, он был дальним родственником моей матери; однако, когда мы звали его дядюшкой, часть его славы как бы падала и на нас.

В те дни, когда Элоди насаживала на вертел нежного гуся или поджаривала на слабом огне хлебцы с патокой, он с охотой принимал участие в наших пиршествах, ибо любил вкусно поесть, а также с толком порассуждать о всяческих кушаньях, соусах и приправах.

Франс Петер Квансюис прожил двенадцать лет в Германии, женился и после десяти лет счастливой супружеской жизни там же похоронил и жену, и свое счастье.

Кроме ревгило храмимых пожных воспоминаний, он

вывез из Германии любовь к наукам и книгам; трактат о Гёте; прекрасный перевод героико-комической поэмы Захарии, вполне достойной принадлежать по своему юмору и остроумию перу Гольберга: несколько страниц удивительного плутовского романа Христиана Рейтера «Приключения Шельмуффского»; отрывок из трактата Курта Ауэрбаха об алхимии и несколько скучнейших по дражаний Taqebuch eines Beobachters seines selbst Лаватера.

Сейчас вся эта запыленная литература стала моей, ибо дядюшка Квансюис завещал ее мне в надежде, что когда-нибудь она мне окажется полезной.

Увы! Я не оправдал его предсмертных надежд — в моей памяти только и осталось, что восклицание: «Писание — это трудолюбивая праздность...» — отчаянный крик души Геца фон Берлихингена, этого удивительного героя-мученика, которого мой дорогой дядюшка особо отметил в своем трактате о Гёте.

Дядюшка подчеркнул эту фразу пять раз разными цветными карандашами.

Трудно нарушить обет молчания и приподнять покрывало забвения! И если я делаю это, то только потому, что мне было знамение из неизъяснимой тьмы.

Дядюшка Квансюис проживал в соседнем доме, на той же длинной, угрюмой и вечно сумрачной улице Хэм.

Дом был поменьше папшего, совсем черпый, но эхо гуляло там еще сильнее в дни бурь и порывистых резких ветров.

Однако одну комнату там все же уберегли от мрачного холода подвалных кладовок и тьмы коридоров. Это была высокая светлая комната, обитая желтой тканью; ее обогревала чудесная марльбаховская печь, а из центральной лепной розетки потолка на трех позолоченных цепочках свешивалась лампа с двумя фитилями.

Днем массивный овальный стол кряхтел под тяжестью книг и коробок со старинными миниатюрами; по вечером, в час обеда, на нем расстилали коричневую, расшитую голубым и оранжевым скатерть, а затем расставляли красивые тарелки из дорниковского фаянса и богемский хрусталь.

В этих тарелках подавались изумительные кушанья, а из высоких бокалов пили бордоские и рейпские вина.

За этим столом дядюшка Квансюис принимал своих друзей, которых любил за их внимание к своим речам и за немой восторг перед его ученостью. Я словно сейчас вижу, как они поедают барапью ногу с чесноком, запеченную курицу, тушеного ската или гусиный паштет и с явным удовольствием внимают мудрым рассуждениям хозяина.

Их было четверо — господин Ван Пиннерцеле, доктор каких-то, но отнюдь не медицинских, наук; тихий и славный Финхаер; толстый и безмятежный Бинус Комперноль и капитан Коннекянс.

Коннекянс был таким же капитаном, как и Франс Квансюис моим дядюшкой; когда-то он плавал, а теперь стал владельцем нескольких каботажных судов. Элоди считала его хорошим советчиком и человеком большой жизненной мудрости, во что я продолжаю верить, хотя у меня и нет на то никаких доказательств.

И вот однажды вечером, когда господин Ван Пиннерцеле делал из части миндальный торт, а капитан Коннекянс разливал по бокалам ром, кюммель и зеленоватый шартрез, дядюшка вернулся к своему трактату о Гёте, к тому месту, на котором он остановился накануне, в день, когда они познакомились телячей головой под черепаховым соусом.

Я возвращаюсь к шедевру Гёте, к его превосходной драме «Гец фон Берлихинген». «В одном из сражений против бамбергского епископа, шорнбергских кунцов или кельнских горожан благородный Гец потерял правую руку.

Искусный ремесленник, железных дел мастер, сработал ему руку с пятью пальцами на пружинах, и он смог владеть мечом с тем же искусством, что и прежде».

Тут в разговор вмешался тихий господин Финхаер:

— Можно сказать, чудо механики!

— Я припоминаю, — вступил в разговор капитан Коннекянс, — что случилось с моим рулевым Петрусом Д'Хондтом, — ему буквально отрезало руку, когда кисть его попала между шкивом и стальным тросом. С тех пор у него вместо руки медный крючок, а это значит, что в наши времена уже никто не может сделать руку, подобную руке Геца.

Дядюшка Квансюис снисходительно кивнул головой, соглашаясь с этими пустыми речами.

— Друзья мои, вспомните, — сказал он, — достойные

вечности слова, которыми кончается драма Гёте: «Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отвергнувшему тебя!»

Тут мой дядюшка снял очки и подмигнул. Как всегда, услужливый доктор Ван Пиперцеле подмигнул ему в ответ, словно он знал тайну дядюшки.

— Но этот прекрасный конец, увы, не соответствует истине, и я сожалею об этом, — продолжал свою речь оратор. — Гец фон Берлихинген был, как повстанец, заключен на два года в аугсбургскую тюрьму. Затем император разрешил ему вернуться в свои владения и жить в родовом замке Ягтсгаузен, взяв с него слово рыцаря, что он никогда более не покинет границ своих земель и не будет сражаться ни на чьей стороне.

Пятнадцать лет спустя Карл V освободил его от этой клятвы, и счастливый Гец последовал за императором во Францию, Испанию и Фландрию. После отречения императора от престола в Юсте Гец вернулся в Германию и семь лет спустя умер. Однако...

Он снова подмигнул и снова ему в ответ мигнул Ван Пиперцеле.

— После пребывания во Фландрии Гец уже никогда не пристегивал свою железную руку!

— Она находится, — заговорил Фишхаер, — в музее... Но дядюшка Квансиус прервал его:

— Нюриберга, Вены или Константинополя... Не все ли равно? Ибо это всего лишь неподвижная железная перчатка, помещенная под стекло. А настоящая рука, та, которая позволяла Гецу держать меч и даже гусиное перо, была потеряна или похищена в...

Он поднял руку, его глаза горели.

— В Генте, славном городе Карла V, в котором Гец фон Берлихинген был вместе с императором. И рука его до сих пор находится тут, тут я ее и пайду!

Хотя Франс Петер Квансиус не был истинным эрудитом, ему нельзя было отказать в том упорстве, с которым он вел свои кропотливые изыскания. Документы, которые я пересмотрел после его смерти, убеждают меня в этом. Но его поиски кажутся мне бесполезными и бесцельными, а библиотечные находки — случайными.

Он переписал часть текста из трех томов крайне странного фламандского писателя Деграва, который со

всей серьезностью пытался доказать, что и Гомер и Гесиод были выходцами из Фландрии. Этот человек перевел с латинского подлинника и диссертацию фламандского доктора Пашасиуса Юстуса «Об азартных играх или болезни играть на деньги».

— Пашасиус... Пашасиус, — частенько бормотал дядюшка, — сколько прекрасных писаний оставил бы нам сей любознательный ученый XVI века, не преследуй его днем и ночью страх перед костром. Он себя так называл в честь Пашаса Радбера, настоятеля корбийского монастыря в IX веке и автора прекрасных теологических сочинений. Ax! Мой милый Пашасиус... На помощь!.. На помоны! О мой старый друг, явись ко мне из глубины веков!

Я не могу сказать, каким образом тень этого ученого доктора помогла дядюшке в его роковых поисках железной руки, но она, безусловно, сыграла свою роль.

За ту неделю, что пронесла с памятного вечера, дядюшка Квансиус переоборудовал часть подвальной кухни в лабораторию. Туда допускался только господин Финхаэр да я, но моего присутствия в этом таинственном месте они скорее всего просто не замечали.

По правде сказать, я старался быть полезным и с усердием раздувал с помощью маленького кузничного меча голубое пламя в печи.

В этом приюте тайных наук было холодно, а из толстых стеклянных колб поднимались отвратительные запахи; но лицо моего дядюшки все время оставалось серьезным, а толстые щеки господина Финхаера, несмотря на низкую температуру, блестели от пота. Однажды, когда уже пробило четыре часа, а вонь, исходившая из одной колбы, стала особенно отвратительной, дядюшка поднял голову, освещенную странным зеленым светом, и взглянул на потолок.

Господин Финхаэр испуганно закричал:

Смотрите!.. Ax! Смотрите же!

Мне было плохо видно, ибо я сидел против света, рядом с мехом, но мне показалось, что зеленый туман стал обретать какую-то явственную форму.

— Наук... Да нет же, краб бежит по потолку! — с ужасом закричал я.

— Замолчи, негодник! — рявкнул дядюшка Квансиус.

Существо быстро потеряло свои очертания, только и осталось, что струйка дыма под потолком, но я видел,

как по лицам дядюшки и господина Финхаера струились крупные капли пота.

— Я же вам говорил, Финхаер... тексты древних мудрецов никогда не лгут!

— Она исчезла, — пробормотал Финхаер.

— Это была только ее тень, но теперь-то я знаю...

Он не сказал, что именно он знает, а господин Финхаер не задал ни единого вопроса.

На следующий день лаборатория была замкнута на ключ, а я получил в подарок мех. Этот дар большого удовольствия мне не доставил, и я тут же продал его за восемь су лудильщику.

Дядюшка Квансюис очень любил меня; он ценил и даже, наверное, переоценивал значение тех мелких услуг, которые я ему оказывал.

Ему было трудно ходить — у него болела левая нога, и много позже я узнал, что он страдал плоскостопием, — потому мне приходилось сопровождать его во время редких и коротких прогулок. Он всей своей тяжестью опирался на мое плечо, а переходя улицы и площади, не отрывал взгляда от земли, словно слепой, бредущий за поводырем. Во время прогулок он рассуждал на разные ученые и полезные темы, но я, к сожалению, забыл, о чем он говорил.

Некоторое время спустя после закрытия лаборатории и продажи меха он попросил меня пойти с ним в город. Я согласился с удовольствием, ибо эта прогулка освобождала меня от школы на целых полдня; к тому же просьба дядюшки Квансюиса была приказом для моих родителей, которые только и жили надеждой на будущее наследство.

В тот день наш древний и суровый город закутался в туман; моросил мелкий дождь, и капли его, словно мышьиные коготки, стучали по зеленому полотнищу громадного зонта, который я держал над напами головами.

Мы шли по мрачным улицам вдоль прачечных, перешагивая через ручьи, вздувшиеся от мыльной мутной воды.

— Подумать только, — шептал мой дядюшка, — ведь эти мостовые, от которых у нас болят ноги, звенели под копытами лошадей Карла V и его верного Геца фон Берлихингена! Башни уже давно обратились в прах и пепел, а плиты мостовых остались. Запомни этот урок, мой мальчик, и знай: все, что близко к земле, живет долго, а то, что устремляется в небеса, обречено на гибель и забвение.

Недалеко от Граувпорте он остановился, чтобы переходнуть, и принял внимательно рассматривать облезлые фасады домов.

— А где дом сестер Шутс? — спросил он у разносчика хлеба.

Тот перестал пасхистывать веселую джигу — единственное утешение в его скучной работе.

— Вон тот дом с тремя гнусными мордами над дверью. Но те, что живут в доме, еще гнусней.

После нашего звонка дверь приоткрылась, и в щель высунулся красный нос.

— Я желаю поговорить с сестрами Шутс, — произнес мой дядюшка, вежливо приподняв шляпу.

— Со всеми тремя? — полюбопытствовал красный нос.

— Конечно.

Нае виустили в широкую, как улица, и темную, словно кузница, прихожую, в которой тотчас возникли три мрачные тени.

— Если вы продаете что-нибудь... — прогнувались хором три голоса.

— Напротив, я хочу купить кое-что принадлежавшее славному, но, увы, давно почившему конюшему Шутсу, — добродушно сказал мой дядюшка.

Три грязных совиных головы вынырнули из мрака.

— Ну что ж, можно потолковать, — винчи заговорили они хором, — хотя мы и не расположены продавать что бы там ни было.

Я стоял у двери, борясь с тошнотой, ибо весь коридор пропонял прогорклым салом и луком, и не рассыпал слов, которые дядюшка произнес тихо и скороговоркой.

— Входите, — произнесли сестры хором, — а молодой человек пускай подождет в гостиной.

Я провел долгий час в крохотной комнатушке с высоченным сводчатым окном, стекла которого представляли собой какой-то варварский почерневший витраж. В комнате стояли тростниковое кресло, прялка из темного дерева да красная от ржавчины печка.

За это время я раздавил семь тараканов, цепочкой неществовавших по голубым плиткам пола, но так и не смог достать тех, что ползали вокруг треснувшего зеркала, которое поблескивало в полуумраке, словно гнилая болотная вода.

Когда дядюшка Квансюис вернулся, его лицо было красным, будто он долго просидел около раскаленной кухонной печи; три черных тени с совиными головами шли следом и визгливо благодарили его.

Очутившись на улице, дядюшка обернулся к фасаду с тремя масками, и его лицо стало злым и презрительным.

— Ведьмы!.. Дьявольские отродья, — проворчал он.

Он протянул мне пакет, завернутый в жесткую серую бумагу.

— Неси с осторожностью, малыш, это довольно тяжелая вещь.

Пакет и вправду был очень тяжел, и бечевка всю дорогу резала мне пальцы.

Мой дядюшка проводил меня до дома, ибо, как уверяла Элоди, то был день святого праздника, когда мы обычно ели вафли с маслом и пили шоколад из голубых и розовых кружек.

Против обычая, дядюшка Квансюис был молчалив, опел неохотно, но в его глазах плясал радостный огонек.

Элоди мазала маслом дымящиеся вафли и поливала их кремом, который застывал, образуя квадратики; вдруг она яростно вскинула голову.

— В доме опять завелись крысы, — проворчала она, — вы слышите, как возятся эти проклятые обжоры!

Я в ужасе оттолкнул тарелку, услышав вдруг шорох рвущейся бумаги.

— Никак не могу понять, откуда доносится их противная возня, — сказала она, бросая взгляды в сторону кухни.

Шорох доносился с десертного столика, на который обычно складывали ненужные предметы. Но сегодня столик был пуст, на нем не было ничего, кроме пакета из серой бумаги.

Я хотел было заговорить, но заметил, что глаза дядюшки в упор смотрели на меня, — они были красноречивы, и в них можно было прочесть настойчивую мольбу о молчании.

Я промолчал, и Элоди больше ничего не сказала.

Но я знал, что шорох доносился из пакета, и даже видел...

Что-то живое находилось в бумаге, обвязанной бечевкой, и это что-то пыталось освободиться с помощью когтей или зубов.

Начиная с того дня дядюшка и его друзья собирались каждый вечер, меня же стали пускать в свое общество редко. Опин часами вели серьезные беседы, словно забыв о радостях жизни.

Но вот настал день святых Элуа и Филарета.

— Филарет получил от бога и природы все, что делает жизнь приятной и нежной, — провозгласил мой дядюшка, — а святого Элуа следует любить за те радости, которые подарил нам славный король Дагобер! И будет несправедливо, если мы не отпразднуем, как положено, это двойное торжество.

Пятеро друзей ели анчоусный паштет, нашпигованных салом фазанов, индейку с трюфелями, майенский окорок в желе и пили вино из многочисленных бутылок, запечатанных воском разных цветов.

Во время десерта, когда были поданы кремы, варенья, марципаны и миндалевые пирожные, капитан Коннеканс потребовал пунша.

Дымящийся пунш был разлит в стеклянные кружки, и вскоре все захмелели. Бинус Комперноле соскользнул со стула и был отведен на диван, где тотчас заснул. Господин Финхаер решил спеть старинную оперную арию.

— Я хочу вернуть к жизни «Весталку» Споптии, — произнес он, — пора покончить с несправедливостью!

Но арию он не начал, а встал на ноги и закричал:

— Я хочу ее видеть, вы слышите, Квансюис! Я хочу ее видеть, я имею на это право, ведь я помог вам ее отыскать!

— Замолчите, Финхаер, — гневно вскричал дядюшка, — вы пьяны!

Но господин Финхаер, не слушая его, уже выбежал из комнаты.

— Остановите его, он наделает глупостей! — завопил дядюшка.

— Да, да! Остановите его, он наделает глупостей, — поддакнул доктор Ван Пиперцеле, еле шевеля языком и глядя мутными глазами на дверь.

Мы услышали шаги Финхаера, взбегающего на верхний этаж. Дядюшка бросился вслед за ним, волоча за собой обычно услужливого, но сейчас упирающегося Ван Пиперцеле.

Капитан Коннеканс пожал плечами, выпил свой пунш, — наполнил кружку снова и набил свою трубку.

— Глупости, — пробормотал он.

И в это время раздался крик ужаса и боли, а потом послышались восклицания и что-то упало.

Я слышал, как Финхаер кричал:

— Она ушищнула меня... Она откусила мне палец!..

Дядюшка стонал:

— Опа удрала... О боже! Как мне теперь ее отыскать?

Коппейнс выбил из трубки пепел, встал, вышел из столовой и начал с трудом взбираться по спиральной лестнице, ведущей на бельэтаж. Я последовал за ним, сговаря от страха и любопытства, и пролик в комнату, в которой до этого никогда не бывал.

В ней почти не было мебели, и я сразу увидел дядюшку, доктора Ван Пиперцеле и господина Финхаера, стоявших вокруг громадного центрального стола.

Финхаер был бледен, как полотно, его рот кривился от боли.

Его залитая кровью правая рука висела как плеть.

— Вы открыли ее, — повторял мой дядюшка, и в его голосе звучал ужас.

— Мне хотелось рассмотреть ее поближе, — хныкал Финхаер. — О! Моя рука... Как она болит!

И тут я увидел на столе маленькую железную клетку, с виду очень тяжелую и прочную. Дверца была открыта, а клетка пуста.

В день святого Амбруаза мне нездоровилось, впрочем, как и любому лакомке, ибо накануне, в день святого Николая, я обильлся сладостями, пирожным и леденцами.

Ночью мне пришлось подняться — во рту было противно, а в животе я ощущал тяжесть и колики. Когда мне полегчало, я выглянул на улицу. Было темно и ветрено, по стеклам стучал мелкий град.

Дом дядюшки Квансюнса стоял почти напротив нашего, и я удивился, что в столь поздний час сквозь шторы его спальни сочился желтый свет.

— Он тоже болен, — усмехнулся я со злорадством, вспомнив, что накануне дядюшка взял себе из моих подарков прянничного человечка.

И вдруг я откинулся назад, еле сдержав крик ужаса.

По шторе носилась тень — тень отвратительного гигантского наука.

Существо бегало вверх и вниз, бешено крутилось на одном месте и вдруг пропало из моих глаз.

И тут же с противоположной стороны улицы донеслись душераздирающие призывы о помощи, пробудившие улицу Хэм от глубокого сна. Во всех домах распахнулись окна и двери.

Этой ночью мой дядюшка Франс Петер Квансюис был найден в своей постели с перерезанным горлом.

Позже мне рассказали, что горло у него было разорвано, а на лице не осталось живого места.

Я стал наследником дядюшки Квансюиса, но я был слишком молод, чтобы вступить во владение его довольно значительным имуществом.

Однако я все же был будущим владельцем, и мне разрешили бродить по всему дому в тот день, когда судебные исполнители составляли опись имущества.

Я забрел в холодную, черную, уже запыленную лабораторию и подумал, что придет время, когда я с удовольствием вернусь в таинственный мир старого алхимика с его колбами и печами.

И вдруг у меня перехватило дыхание — мой взгляд остановился на предмете, притягивающем в углу между двумя стеклянными пластиналами.

Это была громадная перчатка из черного железа, покрытая, как мне показалось, не то kleem, не то маслом.

И тут, сквозь мешанину смутных воспоминаний пробилась ясная мысль, возникшая в голове сам не знаю откуда, — железная рука Геда фон Берлихингена!

На столе лежали большие деревянные щипцы, с помощью которых с огня снимались горячие колбы.

Я вооружился ими и схватил перчатку. Она была так тяжела, что моя рука опустилась почти к самому полу.

Окно погреба, расположенное на уровне мостовой, выходило прямо на маленький глубокий канал, впадавший затем в Пречечный канал.

Туда-то я и понес свою зловещую находку, отставив ее как можно дальше от себя. Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать от невыразимого ужаса. Железная рука извивалась, как фурия, откусывая от щипцов щепки и пытаясь ухватить меня за пальцы. А как она угрожала мне, пока я держал ее над водой!

Она упала в воду с громким всплеском, и долго еще

громадные пузыри кипели на поверхности тихих вод, словно какое-то чудовище захлебывалось на дне в мухах и отчаянии.

Мало что осталось добавить к странной и ужасной истории моего дорогого дядюшки Квансюиса, которого я до сих пор оплакиваю от всей души.

Я больше никогда не видел капитана Коппеляса, ушедшего в море и пропавшего в бурю вместе со своим лихтером где-то у Фрисландских островов.

Рана господина Финхаера воспалилась. Ему сначала отняли кисть, а потом и всю руку, но это не помогло, и он вскоре умер в ужасных мучениях.

Бинус Комперноле захворал и уединился в своем доме в Мюиде, где он никого не принимал, ибо дом был печален и грязен. А доктор Ван Пиперцеле, которого я изредка встречал, делал вид, что не знает меня.

Десятью годами позже маленький Прачечный канал был засыпан. И во время работ там по неизвестной причине погибли двое рабочих.

Примерно в то же время на улице Тер-Неф, что расположена недалеко от улицы Хэм, было совершено три кровавых убийства, так и оставшихся безнаказанными. Там был возведен красивый новый дом, в который сразу после ухода строителей вселились три сестры. Они были найдены удушеными в собственных постелях.

То были старые сестры Шутс, с которыми я познакомился в прежние времена.

Я покинул дом на улице Хэм, в котором поселилась смерть и откуда ушла радость. Там я оставил все, что осталось от наследства дядюшки, — большой гипсовый бюст римского воина в пластинчатой кольчуге. Но я взял с собой дядюшкины записки, которые перелистываю до сих пор, словно в поисках какой-то неведомой мне тайны.

По мерке

ФРАНЦИЯ



прежде всего должен признать, что все произошло по моей собственной вине. Детей быть нельзя, даже если это такое несносное существо, как Дженинфер! Впрочем, я и шлепнул-то ее каких-нибудь три-четыре раза...

Конечно, любой психолог скажет, что я был не прав, и нельзя было даже делать вида, будто я собираюсь ее наказать. Но, окажись на моем месте самый флегматичный и самый терпеливый из воспитателей, он отшлепал бы ее вдвое сильнее. Разве можно допустить, чтобы соливка пяти с половиной лет от роду, пусть даже это ваша собственная дочь, стригла под пуделя гордость семьи — кошку, да к тому же вашей электробритвой стоимостью в двадцать два доллара!..

Сегодняшний день закончился бы благополучно, если бы жена не поручила Дженинфер моим заботам на всю вторую половину дня, а захватила ее с собой на файф-о-клок.

Если бы...

КОГДА ЖЕ ЭТА ПАРШИВАЯ ПТИЦА ПЕРЕСТАНЕТ ЧИРИКАТЬ!

Но лучше начну с самого начала: с того момента, когда меня угораздило влезть в эти дурацкие исследования по воздействию радиации на человеческий организм. Это случилось семь лет назад. Мы с Джиной только поженились. Конечно, можно прожить и на жалованье младшего лейтенанта, но тогда молодой жене приходится самой обшивать себя, а шляпки покупать в гарнизонных лав-

ках. А Джина сразу заявила, что шьет она ужасно, что же касается шляпок...

В общем, когда стали набирать добровольцев, приглашая за риск, обещая бесплатную квартирку плюс страховку, как военнослужащим пограничных зон, то я клюнул на эту приманку одним из первых. Джина была в восхищении, и я тоже, тем более что всей работы-то и было что посидеть несколько минут в кресле, получая свою, с каждым разом все большую, порцию радиации, а потом, листая журналы, валяться весь день на сверкающем хромом столе, в то время как дюжины чудаков, серьезных, словно буддийские монахи, что-то измеряли и нисали..

Неурядицы начались после того, как я им заявил, что Джина ждет ребенка. Они запрыгали, словно пляшущие дервиши, стали вздымать к небу руки и проклинали свою судьбу. А Старик более часа запугивал меня тем, что гены мои могли претерпеть изменения, говорил о каких-то хромосомах, мутациях и бог знает еще о чем.

ПРОКЛЯТЬЕ!.. Я НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ УСТУПАТЬ. ЭТА КАНАРЕЙКА СОВЕРШЕННО НЕВЫНОСИМА, НО ДЖЕНИФЕР ЛЮБИТ ЕЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ...

Когда речь зашла о ребенке, я послал их ко всем чертям. Я чувствовал себя совершенно здоровым, закон не запрещал нам иметь детей, даже в контракте это никак не оговаривалось.

Однако в последние месяцы беременности Джини меня временами охватывал страх — хорошеньким я буду отцом, если у меня родится монстр!

Ну и видик же был у всех этих бойз, когда в соответствующий день на свет явилась вопящая во всю глотку Дженинифер. У нее было великолепное здоровье, и весила она добрых три с половиной килограмма. Она была лучшей новорожденной года.

Дженнифер и до сих пор самая красивая девчушка в округе. Радиация не оказала на нее никакого воздействия...

КОГДА ЖЕ ТЫ КОНЧИШЬ ЧИРИКАТЬ, ПОГАННОЕ СУЩЕСТВО?..

...Во всяком случае, никакого видимого воздействия... По правде говоря, все шло самым наилучшим образом, пока дочке не исполнилось три года. Вернее, мы ничего не замечали до того момента, пока ее детское креслице не стало слишком тесным... Простите, должно было стать!..

Вам, конечно, ясно: мы почуяли неладное и уже через два месяца установили, что креслице растет вместе с ней.

Сделав это открытие, мы с Джиной поняли, что наступает катастрофа. После двух месяцев тайных наблюдений мы обнаружили, что Джениффер может уменьшать или увеличивать предметы. И стали понятными ее несварения желудка от маленького кусочка шоколада, одного пирожка или нескольких вишенок, которые это маленькое чудовище — как только у меня язык поворачиваетсѧ! — уносило в свою комнату.

КОГДА ЖЕ ЗАТКНЕТСЯ ЭТА КАНАРЕЙКА?..

А вскоре мы узнали, каким образом она это делает. Однажды в воскресенье я повез Джениффер в зоопарк. В автобусе, напротив нас, сидел мальчуган с красивым красным шариком в руке. Взгляд Джениффер застыл, и шарик стал раздуваться... Когда его диаметр достиг полуметра, он лопнула, и мальчик, к великой радости моей дочери, нескольких пассажиров. Итак, стоило ей пристально посмотреть на какой-либо предмет...

Нашим первым побуждением было рассказать обо всем руководителю Проекта. У нас был ребенок, обладавший необыкновенными качествами, настоящий мутант, который...

Но это означало конец опытам, конец страховкам, конец всему остальному. Мы промолчали... Однако положение усложнялось...

ЗАВТРА ЖЕ СВЕРНУ ЭТОЙ ПТИЦЕ ШЕЮ!..

А тут еще история с грузовичком молочника... Все в округе удивлялись, кто пользуется на эту тарахтелку. Мы-то с Джиной знаем. Машина лежит у нас, в нашей квартире, на втором этаже, в ящике для игрушек. И длина ее теперь, всего одиннадцать сантиметров. Ну, а когда Джениффер заявила, как ей жутко хочется иметь такую красненькую машинку с лесенкой наверху и сиреной, мы, не раздумывая ни секунды, купили ей самую лучшую модель пожарной автомашины с загигающими фарами и складной лестницей.

ДА, ПОЛОЖЕНИЕ МОЕ АХОВОЕ! ТОЛЬКО БЫ ДЖИНА ВЕРНУЛАСЬ ПОСКОРЕЙ. ВЕДЬ Я СИЖУ УЖЕ БИТЫЙ ЧАС В КЛЕТКЕ, И ЭТА ЧЕРТОВА КАНАРЕЙКА БОИТСЯ МЕНЯ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ...

Смерть Бикуни

ЯПОНИЯ

1



яжелые свинцовые тучи стерли с неба синеву, опустились низко-низко над почерневшим ледяным морем, и казалось, ничего нет на свете, кроме этих туч и острого, как лезвие кинжала, ветра, встававшего из пучины и терзавшего плоть человеческую. Ветер безумствовал, гнал с моря превратившиеся в ледяную дробь брызги, поднимал с земли холодный колючий песок. Тучи росли и ширились, клубились, заливали горизонт тушью. Грохот волн и вой ветра, заглушая друг друга, предвещали близкую снежную бурю.

По этому унылому миру, где жили и враждовали только три цвета, рожденные холодом, — белый, черный и серый, медленно двигалась одинокая маленькая фигурка, такая же черно белая, как и все окружающее. Дэори, надетые на босу ногу, оставляли едва приметные следы на прибрежном песке, а волны, алчные и торопливые, слизывали их длинным языком и, оскалив белоценные зубы, носспешно отступали назад. Море и ветер охотились за путником, они с радостью поглотили бы его, растерзали и клюья, развеяли в прах, но он отважно шел все дальше и дальше, вдоль косой излучины песчаного берега, отдавая на произвол стихий лишь трепещущие полы черного кимоно и края белой ткани, прикрывавшей голову.

И вдруг, разрывая пелену белого снега и серого тумана, вдали показались черные тени. Их было много. Они выходили друг за другом из мглы и двигались на встречу путнику. И вот на середине излучины течи и одинокий путник встретились.

Возникшие из мглы и шагавшие теперь цепочкой были крепкие и сильные люди. Но неодолимая усталость согнула их спины. Шаг их был тяжел, ноги уходили глубоко в песок. Издали они казались воинами, закованными в темные латы, но вблизи латы превратились в обыкновенное облачение бродячих монахов: башлыки, грубые ринкеновские рясы. В руках — коробы со святыми сутрами и окованные железом посохи пилигримов. Лица, покрытые от лишений и холода, непельно-серые, с обведенными черными кругами глазами, не несли на себе печати благости господней.

Они медленно продвигались вперед, крепко опираясь на посохи, а цепкий песок то и дело хватал их за ноги, словно не хотел пускать дальше.

Одиночный путник, поравнявшись со странниками, слегка поклонился и хотел следовать своей дорогой. На лицах монахов отразилось недоумение, потом изумление. Они ответили на поклон, и ишедший во главе огромный, как башня, детина произнес зычным голосом:

— Дозволь поговорить с тобой!..
— Прошу...

Голос прозвучал серебряным колокольчиком. Ветер налетел с моря и откинул со лба путника концы белого покрывала.

Из-под трепещущего белого шелка на монахов смотрела женщина. Юная, лет двадцати, не старше. Холод расписал нежно-розовыми красками ее по-девичьи гладкие щеки. Глаза были ясные, как у ребенка.

Они смотрели на женщину разинув рты.

— Наш путь был долг и труден. Ближайшую дорогу завалило обвалом, и нам пришлось идти в обход, по бездорожью. Здешних мест мы не знаем. Не скажешь ли ты, сестра, есть ли гденибудь поблизости селение или хотя бы одиночная хижина, чтобы нам укрыться на ночь от непогоды?.. — Монах говорил очень уттиво, по возможности стараясь смягчить свой зычный голос. — Уже вечереет. Скоро на землю ляжет почная мгла. Успеем ли мы добраться до жилья?

— Бедные, как же вы, должно быть, намаялись! — В серебряном голосе прозвучало сочувствие. — Но близок конец вашим мучениям. Видите вон тот мыс? За ним рыбачий поселок. А если пойдете в сторону гор, там примерно через два с половиной ри будет буддийский храм.

— Благодарствуй, сестра! — воскликнул коренастый, низкорослый монах, стоявший рядом с похожим на башню. — Слышали, братья, недолго нам осталось маяться. Еще немного, и нас ждут тепло и сон. Вперед!

— Желаю вам удачи в пути. Да хранит вас всеблагой!

Женщина чуть склонила голову и пошла дальше. Но ее догнал голос монаха, похожего на башню:

— Досточтимая отшельница, неужто в такой холод и ураган ты держишь путь одна?

Монахиня улыбнулась, прикрыв рот краем рукава:

— Не беспокойтесь, братья. Живу я тут долго, здешние места для меня привычны. Да и келейка моя недалеко...

И, еще раз поклонившись, она пошла. И монахи кланялись ей, и она отвечала каждому. Но когда женщина поравнялась с последним, похожим с виду на пищевущего монаха, голову которого прикрывала глубокая соломенная шляпа, надвинутая до самых бровей, ее глаза вдруг широко раскрылись.

— Прости меня... Ты ли это, господин? — произнесла она, невольно делая шаг в сторону пищевущего монаха.

Цепочка серых ряс замерла на мгновение, а потом по ней прошла едва заметная дрожь. Может быть, ветер налетел в этот миг с новой, превосходящей прежнюю сильной... Кое-кто из монахов схватился за рукоятки мечей, скрытых под одеждой странников.

Но монахиня, заметив, что последний в цепочке еще глубже надвинул на лицо соломенную шляпу, дабы не встречаться с ней взглядом, снова поклонилась и посмотрела на человека, похожего на башню, наблюдавшего за ней горящими недобрый огнем глазами.

— Молюсь и уповаю на благость всевышнего. Да сопутствует она вам в вашем трудном пути. Простите, коль сказала что не так... — Ее тонкие пальцы молитвенно перебирали извлеченные из-за пазухи четки.

Когда мелодичный, похожий на летнюю прохладу голос, прорвавшийся сквозь ураган, долетел до первого монаха, она уже повернулась и со сложенными молитвенно руками пошла прочь в снежную мглу.

— Догадалась! Узнала! — простонал коренастый монах, похожий на краба. — Места безлюдные, зарубить, чтобы греха не случилось?

— Замолчи, Сабуро, — сказал похожий на башню. —

Мы ведь монахи, хоть и не по доброй воле. И к тому же она все-таки женщина.

— А если донесет?.. Придем в селение, а там нас ждет погоня...

— Оставь, Сабуро, — хрипло сказал нищенствующий монах и повернулся к похожему на башню. — Все утомились, Бенкей. Надо спешить.

Похожий на башню потряс посохом.

— Слышал, Сабуро? Вот и господин пан говорит... Судя по тому, как женщина нас напутствовала, не станет она доносить, даже если догадалась, кто мы такие. Ну, пошли, чего стоять на таком холоде.

Отряд тронулся. Косой ветер налетел с моря и ожег щеки людей колючими ледяными брызгами.

— Непонятно мне, — сказал Сабуро тому, кого нищенствующий монах назвал Бенкесем, — как это решилась женщина пуститься в путь по этой пустыне одиодинешенька, да еще в такой ураган. Даже если дом ее неподалеку. Вон и рыбаков не видно, небось все попрятались в свои хижины...

— Да... чудеса! — прорычал Бенкей. — И ведь ни дороги, ни тропы поблизости. Мы нарочно выбрали самый дальний и самый безлюдный путь, чтобы обмануть преследователей. Вот и насчет обвала пришлося сорвать.

— Не возьму все же я в толк, — не унимался Сабуро, — как это молодая красотка стала бикини-отшельницей. Ты заметил, какие у нее глаза, какие брови? Недаром говорят, что в северных провинциях много красавиц... Но здесь, в такой глупши, и вдруг — нежный весенний цветок... Слушай, может, она и не отшельница вовсе, а оборотень? Снежная дева?

Бенкей вдруг остановился. Слова Сабуро напомнили ему легенду, давно слышанную им от здешних жителей.

— Ты чего встал? — спросил Сабуро, недоумевая глядя на Бенкея. — Пошли... А все же любопытно, где эта отшельница могла видеть нашего господина Йосицунэ?..

2

Муж ее умер. На сорок девятый день Хама отслужила панихиду по усопшему и вернулась к повседневным делам — делам дома своего. Ее руки и глаза были заня-

ты, но память жила своей собственной, особой жизнью. Память уводила Хаму в далекие, теперь уже очень далекие времена.

И вспомнилась ей буря на побережье, и случайная встреча, свидетелями которой были море, холод и ветер... Лишь через десять лет Хама узнала, что встретилась тогда с отрядом Йосицунаэ... Да, не ведала она в тот миг, что за люди эти странствующие монахи. Только один был ей знаком — тот, в одеждах нищего, в глубоко падвинутой на глаза соломенной шляпе. Память подсказала ей, кто он: сорванец-мальчишка, смуглый, скуластый, растрепанный, с изодраньями в кровь коленками... Ну да, тот самый мальчик, что частенько — в еще более далекие времена — прибегал напиться в ее келью, находившуюся в окрестностях столицы Киото.

А потом мальчик — Йосицунаэ — сделался первым военачальником из рода Минамото и прославился в боях при Симе и Дан-но-Ура. А потом судьба обернулась к нему спиной и превратила его в героя трагедии. А потом люди стали рассказывать чудеса о его подвигах. Разве могла Хама предугадать все это, когда он прибегал напиться в ее келью?..

...Годы шли. Хама уже знала о гибели Йосицунаэ и его дружков. И однажды в глухом горном храме она встретилась — опять случайно — с человеком, принявшим монашеский сан и звавшимся Дзанму. И был этот монах не иной кто, как человек Йосицунаэ, носивший некогда имя Сабуро. Дзанму-Сабуро, до глубины дуппи пораженный встречей с женщиной, спросил ее, она ли была на морском берегу, она ли указала отряду путь к жилью человеческому, и, услышав утвердительный ответ, назвал свое имя, прежнее и теперешнее, и поведал печальную историю Йосицунаэ. Она молчала, он замолчал тоже и все смотрел на нее разинув рот, что вовсе уж не подобает служителю Будды, ибо человек, близкий к бодху, не должен удивляться, а потом заговорил снова, и в голосе его звучала боль за господина своего Йосицунаэ и обида и гнев против старшего брата Йосицунаэ — Еритомо. Нет, не отрешился монах от мирских дел, не стал истинным слугой божьим, а так и остался в сердце своем вассалом бывшего господина.

Слушая такие его речи, Хама удивилась — как же так, когда Йосицунаэ погиб в Хираидзуке, его слуги-дружки спаслись бегством, и лишь один из двенадцати, Бен-

кей, похожий на башню, бился с преследователями и встретил смерть грудью...

Но ей было безразлично, и она промолчала.

Только одно воспоминание отозвалось в ней жгучей печалью: мальчишка с изодранными коленками, чумазый, вихрастый, врывается в ее келью и просит: «Матушка, испить бы!» — и она подает ему воду, и он жадно пьет, отирая тыльной стороной кисти бисеринки пота с крутого грязного лба... Мальчишка, встретившийся ей много позже в обличье нищенствующего монаха на истерзанном бурей побережье... Хама молчала и перебирала четки — да упокой господь душу его!

Монах Дзанму настоятельно просил ее открыться ему, и поведать все о себе, и, если это возможно, помочь в составлении жизнеописания господина его Йосицунаэ. Она уклонилась от ответа. Ее жизнь была ее жизнью, и мужчины, врывавшиеся порой в эту жизнь, были не более чем обломками крушений других жизней, занесенными случайно и ненадолго ветром смутного времени.

После гибели Йосицунаэ смуты не затихали, и все мужчины Хамы, воины и бунтари, умирали один за другим.

В конце тринацдцатого столетия, в тот день, когда в окрестностях Этидзиен Кавагасаки еще кипела знаменитая, вошедшая в легенды некой битва, в ее келью привнесли воина в богатых доспехах, по видимому болившего военачальника. Он едва дышал. Хама ухаживала за ним двадцать дней. За двадцать дней он не произнес ни единого слова, а на двадцать первый умер.

Все они умирали. И Хама всех их отлично помнила.

Однажды, когда князь Сиба Йосиери пошел войной на князя Асакура Такакагэ, к ней забрел свирепого вида воин, тоже тяжело раненный. Этого она выходила. В ночь, перед тем как покинуть ее келью, он овладел ею силой. А потом сказал:

— Прости меня, отшельница. Я ведь не ведаю, что готовит мне завтрашний день. Много грехов на моей совести. Не раз я поднимал меч против господина моего, а теперь восстал на тебя, прислужницу Будды великого... и отныне уготована мне прямая дорога на самое дно ада...

Она хотела утешить его, сказать, что нет никакого ада у Будды, что и ад и рай в мире человеческом, толь-

ко рай очень уж далек и найти его трудно... Хотела она сказать, но... промолчала.

Воин, Такэда было его имя, ушел, а потом вернулся. Бросил доспехи и остался в ее келье. Нередко в те времена, во время смут и междуусобиц, монахини-отшельницы служили утехой для воинов, но все же Хама испытывала боль, когда в деревнях, куда она ходила за подаянием, на нее указывали пальцем и говорили: «Смотрите, вот эта рабыня Будды завела себе мужчину и держит его в своей келье!» И было великим презрение людей, а милостыня их — малой. Зимой пришлось ей вместе с Такэдой, чтобы обмануть голод, хлебать похлебку из глины, приправленную древесной корой.

Но как только наступили теплые дни, начала она выкапывать молодые побеги корней бамбука, росшего на задах хижины, да выращивать кое-какие овощи на крошечном, с кошачьим лобом, огородике. Она старалась угодить мужчине, даже волосы отпустила на своей бритой голове.

— Подумать только, как мы с тобой живем — тихо да незаметно... В паше-то время, в нашем-то смутном мире... — говоривал Такэда, глядя на нее с галереи. И взгляд его был мягким и задумчивым, совсем не таким, как в ту первую ночь. — Может быть, подобная жизнь и есть истина. Такая же истина, как сама древность. Мудрость учеников Будды достойна удивления!

И Хама в такие минуты смеялась. Весело, как девочка. И прикрывала рот испачканной в огородной земле рукой, и комочки плодоносной земли прилипали к ее розовым губам.

— Мудрость учения Будды тут ни при чем, — отвечала она. — Это мудрость самого человека, вошедшая в него еще в те незапамятные времена, когда Сакья-Муни еще не родился. Человек учился, как надо жить, не обижая других и сам не будучи обиженным. А потом глупая алчность и звериная ненасытность заставили его позабыть первородную мудрость. И не людям учиться у Будды вере, и праведности, и миру душевному. Будда сам позаимствовал у души человеческой данное ей изначала светлое спокойствие, всепомогающее и исцеляющее от ненужных страданий.

— Кто знает, кто знает... — задумчиво качал головой мужчина. — Может быть, настанут такие времена, когда

даже тебя не пощадит бурливый поток времени. И окружающий мир вторгнется в твою келью в образе одичавшего разбойника, подобно зверю рыскающему по дорогам...

— Пусть... Звери ли, разбойники — что мне до них? — ее голос пел, как серебряный колокольчик, а пальцы ее оцишывали листовую капусту. — Если найдут в моей келье что взять, пусть берут. Я и сама отдам. А жизни потребуют, тоже отдам, не жалко. Все равно ведь умру когда-нибудь. Не должен человек скучаться на подарки. Тебе я подарила лено свое, а иному, быть может, подарю жизнь...

И тогда мужчина встал, и протянул руки, и увлек ее в келью. А на галерою, кораблем плывущую в солнечном потоке, прилетели цитицы небесные, сбежались обезьяны из ближнего леса и разбросали семена листовой капусты, пока их не вспугнул взглас радости Хамы.

А мужчина с грустью думал, что силы его уходят, что он стареет...

И прав он был, когда говорил о неспокойствии смутного времени. Междоусобицы не утихали, правители подавляли народ, народ бунтовал, и каждый — обидчик и обиженный — наказывал ии в чем не повинную землю огнем и мечом. Деревни пылали, и крестьяне, поднявшись с выжженной земли всем миром, уходили бродить по дорогам.

Однажды толпа одичавших людей, случайно проходивших мимо, ворвалась в хижину и избила мужчину до смерти, потому что он не хотел отдать две рогожи, закрывавшие вход в келью.

Мужчина, некогда могучий воин, недолго сопротивлялся: был он уже не молод, и силы его иссякли. Труп его, раздетый донага, бросили в снег.

А Хамы не было — она ушла в деревню за подаянием...

3

А потом...

Хама вспоминала. Ее пальцы, привыкшие перебирать четки, сейчас перебирали пожелтевшие листы бумаги — памятные заметки о прошлом.

А потом настали совсем уже страшные времена. Ода Нобуага напал на князя Асакура. Вслед за тем Тоето-

ми Хидэеси пошел усмирять северные провинции. До чего же любят мужчины заниматься убийством, войнами и проливать кровь! Разве есть в этом смысл — отнимать друг у друга по очереди земли и платить своей жизнью за чужую жизнь?..

В памятных записках было много имен — все, что осталось от людей, бывших некогда теплой и живой плотью. Хорошо, хоть имена сохранились — как же бы иначе она помнила их в своих молитвах?

Кем они были, эти люди, врывавшиеся в тихую душу Хамы, подобно порывам ураганного ветра? Военачальники и простые воины, мастера чайной церемонии и простые путники, сбившиеся с дороги. Их приводил к ней случай, и случай время от времени умыкал ее из стен кельи и переносил в какой-нибудь замок, где она становилась очередной наложницей князя. А потом на замок шел войной другой князь и убивал хозяина, и Хама возвращалась в свою келью.

Были и удивительные встречи.

Однажды келью носетил человек, так же, как и Хама, принявший монашество и носивший черную рясу и соломенную шляпу. Они сидели на галерее, и мир был серебряным от луны и звонким от пения цикад. И беседа их была полной и пленительной, как округлая луна, катившаяся по небу. Монах, на удивление сведущий в искусстве стихосложения, говорил медленно и спокойно, но в голосе его и во взгляде сквозило нечто, заставлявшее думать, что пережил он глубокое потрясение и увидел воочию непостоянство мира. Воистину судьба человеческая не более чем прихоть десницы господней!

И Хама почувствовала любовь к мужчине — это случалось с ней редко, весьма редко — и при расставании попросила что-нибудь на память. Он грустно улыбнулся, сказал: «Ну что ж...» и начертал на поминальной табличке стихи в стиле «дзекку», а под ними — дату и свое имя.

— Прощу тебя, никому не показывай, — сказал он, и они расстались. Прошло много-много лет. На свете воцарился мир. И так было тихо и спокойно вокруг, что в деревне у подножия горы среди многочисленных сельчан завелось немало любителей чайной церемонии и даже поэзии. Один из таких любителей часто поднимался в гору и приходил в келью Хамы на чайную церемонию.

Возможно, отшельница будила в нем смутное любопытство, или, может быть, он и вправду с благоговением относился к ее домашнему алтарю — кто знает, но только однажды этот человек, бережно перебирая реликвии Хамы, случайно обнаружил табличку со стихами неизвестного монаха. Он внимательно прочитал и перечитал стихи и удивленно воскликнул:

— Быть не может! Подпись, вне всякого сомнения, принадлежит Акэти Мицухидэ! Вне всякого сомнения... Уважаемая отшельница, прошу вас, скажите, как очутилась здесь эта табличка? Но странно... Дата... тремя годами после того, как Мицухидэ пал в Хоннодзи... Что? Странствующий монах написал?.. Ха-ха-ха! Ну и ловкач! Провел он вас, госпожа отшельница, этот странник Будды!

Ей было совершенно безразлично, посетил ли ее келью Акэти Мицухидэ, или странствующий монах, поставивший его подпись, или еще кто-то. Какое это имеет значение? Разве не было той удивительной ночи и двух душ, слившихся воедино в серебряном и звонком мире, где властвовали луна, цикады и ароматныеочные травы?..

А потом... Что же было потом?.. Да много разного.

Был богач из Эдо, большой любитель женского пола, протонтанший тронинку в ее келью. Долго он уговаривал Хаму уступить его страсти и в конце концов все-таки увез ее в Эдо и подарил ей дом.

Был плотник, простодушный человек. Пожили они с ним семьей, честь по чести.

Но мужчины рано или поздно умирали. И каждый раз, отслужив заупокойную службу, Хама возвращалась в свою келью.

Шли годы. Сменялись эпохи. Изменялась жизнь. Только лишь Хама оставалась прежней.

— Госпожа... — со стороны сада к галерее подошел слуга. — Дилижанс у ворот.

— Сейчас иду...

Хама спрятала в маленький сверток памятные записки — имущество, с которым она некогда пришла в этот дом и с которым теперь уходила, еще раз, благочестиво сложив руки, поклонилась табличке с именем покойника и встала.

Этот последний ее муж был очень богат. Он унаследовал от отца целую флотилию, ходившую в каботажное плавание, а с наступлением эпохи Мейдзи еще больше разбогател на торговле рисом. Хама приглянулась ему. Овладев ею насильно, он заставил ее переехать в Токио, а когда у нее отросли волосы, сделал отщельницу своей официальной любовницей и подарил особняк.

У этого богача было еще шесть любовниц, и у каждой из них — свой особняк. Законная жена жила в роскошном доме, именуемом дворцом, денно и нощно оплачивая непостоянного мужа. Так она и умерла — в слезах и роскоши. Две его сороканки, прихватив цепности, бежали с молодыми нариями, и тогда он официально женился на Хаме. Свадьба, правда, была скромной, никаких гостей не звали.

Его дочь от первого брака унаследовала отцовскую дурную кровь — в один прекрасный день сбежала с рикши и с той поры пошла по скользкой дорожке. Сын плылся по притопам и в конце концов поговору с несколькими промотавшимися и прокутившимися гуляками и игроками покончил самоубийством. Впрочем, умер только он, другие выжили. Муж Хамы и сам плохо кончил: за взятки чиновым лицам угодил в тюрьму, через три года вернулся домой парализованный, в чесотке. За это время все его богатства уплыли, сохранился лишь особняк, некогда пышно именовавшийся дворцом, а теперь превратившийся в настоящий дом с привидениями.

Из челяди остались только двое — слуга и служанка. Хама самоотверженно ухаживала за неспособным стариком — так же, как и за всеми.

4

— Значит, так... — сказал начальник строительства, только что вернувшийся из столицы. — Придется тужиться и закончить все работы на две недели раньше срока. От министра я получил хороший нагоняй. Все дело в иностранцах. Делегация пожелала прибыть раньше, чем было договорено, и незамедлительно осмотреть стройку.

— Ничего не получится, — главный инженер пожал плечами,

— Должно получиться. Нам дают дополнительно несколько десятков сверхмощных экскаваторов и атомных лопат, — начальник взглянул на ручные часы. — По-моему, министр горит желанием установить новый рекорд в области шоссейного строительства. Наверно, в эту самую минуту в аэропорту уже приземляются транспортники-циклоны. А уж оттуда оборудование падет в два счета доставят. На вертолетах «Самсон».

— Бесполезно. Слешка тут не поможет, — возразил один из мастеров. — Прорыть туннель не шутка. Проходчики идут с двух сторон, навстречу друг другу, но все равно меньше чем в десять дней не уложатся. Гора ведь, а не какой-нибудь холмик. Да дня четыре на облицовку, бетонирование, монтаж электронного оборудования.

— А мы не будем рыть! — начальник окинул присутствующих победоносным взглядом. — В проект внесены существенные поправки. Еще бы — не тратить же столько времени на туннель! Итак, туннеля не будет! Мы взорвем гору!

— Что? Взрыв?.. Да ведь это же... — главный инженер начал было говорить, но испуганно смолк.

На ровном как стол, находившемся неподалеку от строительства поле сел вертолет. Из него горохом посыпались тяжеловооруженные солдаты.

— Вот именно... — сказал начальник строительства, кисло щурясь от яркого солнца и нестерпимого металлического блеска вертолета. — Взрыв... Это... — оп машинал рукой. — Все сделают за нас. Водородная бомба, бомба-крошка... Техника на грани фантастики — адская машина для пушд строительства. Гора исчезнет как дым... Радиации не будет, и если даже и будет, дело завершат не люди, а строительные автоматы.

Главный инженер невольно взглянул на гору. Красивая гора, прекрасная, удивительная. Царила среди прочих гор. Сплошь покрыта реликтовыми соснами. Охранялась до сих пор как памятник культуры. И деревня у ее подножия — тоже памятник. Деревня, сохранившаяся с древнейших времен... В эту гору сейчас унیرалась лента скоростной шоссейной дороги. Удобная дорога. Ширина сто метров.

Голубая лента тянулась издалека. От аэропорта далеко на юге, пересекая поля и рощи, перепрыгивая через ручейки и реки... А по ней с минимальной скоростью

триста километров помчаться автомобили с электронными автоворителями...

У подножия древней горы, поросшей такими же древними лесами, сейчас копошились циклопические экскаваторы, высились башенные краны. И вся эта машинерия скрежетала, хрюпала и ранила тишину бездушными механическими голосами.

И вдруг завыла сирена. Как близкая зарница, синеву неба прочертил красный флаг. И тотчас же машины начали отступление — отход от недавно завоеванных позиций. Машины уступали место другим, еще более мощным и совершенным. Грохот взрывов смолк. В наступление пошли солдаты — муравьи, облаченные в униформу цвета хаки. А во главе армии медленно двигался увенчанный алым, как свежая кровь, цилиндром тягач. Он полз прямо к отверстию недавно прорытого туннеля.

— Внимание! Внимание! — заговорил громкоговоритель, установленный на тягаче. — Командир особой ударной группы просит подтвердить, что вокруг горы никого не осталось...

— Кругом никого нет, — ответил начальник строительства в микрофон. — Местные жители эвакуированы еще до начала строительных работ.

— Господин начальник! — воскликнул вдруг один из молодых инженеров. У парня лихорадочно блестели глаза. Из-за его спины выглядывало несколько сельчан, все — древние старики. — Люди говорят, что не все эвакуировались!

— Что?! Как так не все? — начальник побледнел.

Один человек остался... Женщина... Она сказала, что туннель ее не интересует... То есть... никакого ей дела нет до туннеля... Она живет здесь. Давно уже. Сейчас перебралась еще выше, почти на самую вершину горы. О ней и не знал никто. Вот только эти старики помнили, что живет здесь, на горе, женщина. Они пытались уговорить ее перебраться куда-нибудь, да она заупрямилась...

— Она что, сумасшедшая? — начальник строительства прищелкнул языком и нажал на кнопку сигнала тревоги.

— Не знаю... Может, и сумасшедшая. Но говорят, молодая, красивая... Монахиня... кажется...

— Так, так... — начальник нахмурился. — Монахиня,

молодая... Ударный отряд! — прокричал он затем в микрофон. — Внимание! Прошу подождать, пока я не разыщу эту женщину... Что? Да, конечно... Саперы говорят, что могут ждать не более двух часов, иначе вся стройка выйдет из графика.

В мозгу молодого инженера молнией сверкнули схемы и планы, диаграммы, графики. ЭВМ разработала в далекой столице график стройки тщательно и детально, как диспетчер — расписание движения поездов...

...Тик-так.. тик-так... Часы тикали. Хронометр отсчитывал секунды и доли секунды. Бесчисленные шестерни вращались и тянули бесконечную ленту голубоватой дороги — дальше, дальше, в недра горы. С юга на север. От цивилизованных районов — в глушь, в глухомань. Километр за километром, шаг за шагом. А теперь старый график уплотнен до предела. Старые методы полетели к черту. Срок передвинулся, проглотив две недели. Шестерни кружились с сумасшедшей скоростью...

У начальника побагровело лицо. Шутка сказать, человеческая жизнь! Проклятая упрямая баба! Будь она хоть трижды монахиня, все равно взлетит на воздух вместе со своей горой, когда сработает водородная бомба — переиначенная на новый лад адская машина древности...

— Всем вертолетам — взлет! — хрипел начальник. — Найдите ее! Обратитесь к ней по радио! Громкоговорители, звук! Рабочие и служащие, не принимающие непосредственного участия во взрывных работах, немедленно в гору! Мобилизовать все веездеходы!.. Времени в обрез. За тридцать минут до взрыва прозвучит сирена, и тогда всем немедленно эвакуироваться!..

Люди кинулись к веездеходам. Взвыли моторы. Маленькие юркие машины с предельной скоростью помчались по горным склонам.

А над горой простиравлось безоблачное голубое небо. И в нем висели вертолеты — современные серебристые стрекозы из дюраля. И голос их громкоговорителей был пронзительным и тревожным, совсем не таким, как шелест прозрачных крыльев настоящих стрекоз.

Полтора часа прошли. Они были бесконечно долгими и мгновенными, как вздох. Потому что тревога растягивает время до бесконечности и укорачивает века до пределов секунды.

Взвыла сирена. Последняя перед взрывом. Может

быть, это зловещая птица смерти — древний ворон — кричала и плакала, предвещая беду?..

Поисковый отряд вернулся. Без результатов.

Начальник, красный, как вареный краб, расстегнул ворот рубашки.

— Может, она сама эвакуировалась?.. Не дожидаешься повторного приглашения?.. Надеюсь, никто из посланных не остался на горе?

— Один... — сказал кто-то. — Но он тоже возвращается...

С горы спускался инженер. Словно подгоняя его, еще раз заинтригала сирена. Звериный вой лег пеносильным грузом на плечи человеческие — пятнадцать минут до взрыва. И еще один воцарь — десять минут до взрыва.

— Эге-гей! — крикнул начальник. — Поторопливайся! Давай скорей в убежище! — потом он взгляделся в лицо молодого инженера. — Что с тобой?

Тот плакал.

— Ты видел ее? Нашел? — начальник схватил его за руку. — Да говори же!

Молодой инженер опустился на пол. Холодный бетон. Серые стены убежища. И слезы на воспаленных красных глазах.

— Я нашел ее, — сказал он.

— Ну и?.. Почему ты не привел ее? — спазм сжал горло начальника. — Она же теперь не успеет! Да как же мы?! Найти человека и не вывезти?! Ты ответишь за это!

Инженер покачал головой.

— Не получилось, ничего не получилось... Гора погибнет, и она вместе с ней...

— Эх, вы!.. Молодежь зеленая! — один из мастеров в сердцах сплюнул. — Не могли уговорить... Силой бы притянули. По морде бы надавали, что ли, но притянули... Люди-то что скажут...

Инженер опустил голову.

— Она... Я нашел ее почти на вершине... В келье... Маленькая-маленькая келья. Из бамбуковых жердей... А вокруг — лес. И цветы в палисаднике. Удивительные, таких и нет больше на свете... И прямо в келье, из пола, бьет ключ. Она угостила меня чаем... Отшельница, дочь горы, с лицом прекрасным и молодым, как цвет сакуры... Сколько ей лет?.. Может быть, двадцать, а может быть,

тридцать, но уж никак не больше... Она сидела возле маленького столика для сутр... Мы пили чай...

— Какой олух! — простонал начальник. — Подумать только — они пили чай! В такое-то время!.. Мы тут с ума сходили, а он...

— Она очень долго жила, — продолжал инженер, не обращая ни малейшего внимания на начальника. — Вы слышали когда-нибудь легенду о Хаппяку-бикуни, отшельнице, прожившей восемьсот лет на свете? Очень древняя легенда... Родившаяся на севере Японии... Юная девушка съела рыбу, а это была не рыба, а русалка. И русалка подарила ей свою вечную юность. И она навсегда осталась молодой и стала отшельницей.

— Да ты что — рехнулся? — мастер посмотрел на молодого инженера с откровенной насмешкой. — Уж не хочешь ли ты сказать, что эта ненормальная и есть сестрица Хаппяку-бикуни? Надо же, образованный и верит в подобную чушь! Да если Хаппяку и жила когда-нибудь на свете, то уж давным-давно померла...

— Вы нелогичны! — раздраженно возразил инженер. — И если не верите в Хаппяку-бикуни, как же вы можете утверждать, что она умерла?.. Эта отшельница необычная женщина. Она рассказывала мне о событиях пятисотлетней давности так, словно это было только вчера. И намекнула, что она и есть Хаппяку-бикуни. Не верите? А почему? Разве нет людей, которые очень долго живут на свете? Сколько угодно примеров, и не только в Японии, но и во всем мире. Какая, в сущности, разница — сто лет прожить или восемьсот...

— Ладно, допустим, все так и есть, — сказал кто-то. — Но если она прожила так долго, почему бы ей еще не покинуть? А теперь, выходит, она решила умереть.

— Почему? — молодой инженер на минуту умолк. У него опустились плечи. — Она сказала почему. Да, жила она долго, и жизнь не тяготила ее. Если бы ей надоело, она бы могла в любую минуту покончить с собой. Но... Бикуни сказала: «Жизнь моя была тяжела, но не была бременем. Люди уходили. Все мои мужчины умирали один за другим. Мир менялся. Но мир до сих пор сохранял мудрость, и менялось только то, чему положено меняться. А горы, леса и степи оставались. Такими же, как в первый день творения. И покой и радость присутствовали в них вечно и неизменно. Я беседовала

с ними, когда тоска камнем ложилась на мое сердце. И воскрешала образы ушедших людей. И становилась юной, как природа... Окружающий мир хранил свою душу, а я свою, и благо нам было... И память моя об ушедших была свежей, как моя кожа...»

— Пять минут осталось, — пробормотал кто-то.

— «Но человек обрел силу и власть над природой, — продолжал инженер, — человек вознамерился изменить природу. И горы поняли, что они не вечны, что они умрут и вместе с ними память о тех, кто созерцал их некогда. Разве есть теперь на земле место, где можно воскресить бывшее, где человек, ушедшний некогда из мира, продолжает жить и в добре, совершенном им ради ближнего, в зле, содеянном им по незнанию или в минуты безысходного отчаяния?» Вот так говорила она. А еще она сказала, что теперь сама стала частицей прошлого, ибо не осталось на свете ничего неизменного и природа умирает и не хочет больше заботиться о друзьях своих. Зачем жить, если память вянет, как цветок осенью, и живая плоть становится легендой?

— Н-да... — начальник глубокомысленно хмыкнул. — А время-то идет.

Молодой инженер вздрогнул и поднял голову.

— Скажите мне, разве нет на свете ничего такого прекрасного, что надлежало бы сохранить? Так ли уж необходима нам эта дорога? Что они такое — бездушная дань времени сверхскоростных автомобилей, уступка пассажирам, вознамерившимся попасть из одного пункта в другой за мгновение ока... Закроены глаза — и петь юга, ты на севере... А дальше что? Ведь модное устаревает. Пройдет десяток лет, и эта удивительная дорога, чудо современной техники, станет древней старушкой. На нее никто и взглянуть не захочет... Разве нельзя провести дорогу в обход горы?.. Ведь горы — это плоть природы, одна из частичек ее, прекрасных и величественных. Наши праотцы любили эту гору, и пращуры, пращуры их пращуров... Так зачем же, зачем? Что это — жалкая уступка ЭВМ? Дань примитивной геометрии, не терпящей извилистых линий?..

Грохнул взрыв, и потолок убежища свинцовой тучей павис над людьми. Кто-то охнул. Серый ветер прошел над головами, словно море взволновалось где-то, словно из черной пучины встал ураган и зашлакал над судьбами человеческими.

Гора разбухла, на мгновение увеличилась вдвое и рухнула в бездну багрового кипящего котла.

И в клубах дыма мелькнули морской берег, и колючий, вздыбленный бурей песок, и край черного кимоло, спорящего чернотой своей с горем окружающего мира, и кончик белого головного платка, белого, как сон и забвение. И нежный лепесток розы мелькнул в них, пеувядющий даже в испогоду. Роза ли была это или внезапный блик света на щеке юной девушки — кто знает?..

Л шагающие экскаваторы уже вгрызались в мертвое тело земли, и башенные краны возносили над ним свои холодные стальные бивни.

Король Зенинов

ИСПЛНИНИЯ

Зачем ты вытащил меня
из моря?
Рафаэль Альберти

I



ербе, который в раннем детстве был пастушонком, а когда ему минуло девять лет, поступил в ученье к сапожнику, однажды вечером рассказал своему хозяину Мосу, что видел Зенинов в окрестностях бухты Маргариты.

Остров был каменистый: большое пространство занимали зыбучие пески, Голоса из поселка, голоса женщин, чинивших сети, лай собак, хлюпанье птичьих крыльев — порывы ветра разносили все это через камыши и зеленый тростник с легкостью и быстротой развеянного пепла. Поэтому Мос посоветовал Фербе быть осторожным и помалкивать о своих галлюцинациях. Однако Фербе не соглашался, что это галлюцинации, и упорно твердил, что еще давно, когда он был пастушонком и бродил по острову, там, где растут мох и чахлая, мягкая, пахучая травка, он много раз видел Зенинов, причем он почти что и не спал.

Мос снова посоветовал ему помалкивать. Времена настали бурные, происхождение Фербе, да и самого Моса, по мнению Высочайших и Достойнейших особ, было подозрительным, и при таких обстоятельствах лучше всего было держать язык за зубами.

Несколько дней Фербе молчал, но однажды ночью он удрал из мастерской, где обычно спал среди мешков с обрезками кожи; появился он, когда давно уже настало утро, бледный, со сверкающими глазами; песок и сухие

водоросли, которые море выбрасывает на берег, пристали к его одежде.

Наступил октябрь, солнце уже не грело, и холодный ветер убивал последние цветы в садике Мosa.

Mos сказал Fербе: «Не вздумай ни с кем болтать о том, где ты бродишь, даже со мной не болтай об этом».

Но ничто не могло удержать язык Fербе, который объявил, что сегодня ночью Zennы избрали его своим королем. На сей раз, услышав это, Mos обезился, отлучил его палкой и попытался выведать у него что-нибудь об этих самых Zennах. Но ничего нового Fербе не сказал, только упрямо твердил: «Когда человечество достигнет высшего и истинного совершенства, Zennы поднимутся из глубины моря, из водорослей и губок; море и побо станут единым целым, и воцарится правда и справедливость; но для этого нужно, чтобы я жил, чтобы никто меня не трогал, потому что я один могу слышать их голоса, понимать их и видеть. Так что, пока этого не произойдет, я не должен умереть — они сделали меня королем, потому что я их понимаю, и я должен объяснить это людям».

Mos ничего не понял из этих туманных слов, произнесенных невнятным голосом, похожим на голос лунатика. Никогда не приходилось ему слышать столь длинной речи из уст Fербе, молчаливого мальчика с угрюмо сдвинутыми бровями и с видом полупокорным, полузызывающим. Mos снова сказал ему: «Смотри, дурачок, не болтайся кому-нибудь об этом».

По Fербе не мог молчать. Мало того, он отправился на Торговую площадь и рассказал торговцам о повелениях этих необыкновенных Zennов, которые сделали его королем.

(Говорить на земле правду было бесполезно; мир, говорили Zennы, был огромен и полон зла, люди в отчаянии искали человека, который искунил бы их великие преступления; с неистовой яростью и злобным смехом преследовали они его, чтобы потом объявить преступником и совершив жертвооприложение, после которого они осмеливались обратиться к Неумолимому и сказать ему: «Смотри, мы принесли тебе в жертву того, кто оскорбил тебя». Все это Fербе видел не раз, но молчал и никому ничего не говорил ни о себе, ни о таинственных и терпеливых Zennах, живших на дне моря — по другую сто-

рону злодеяний. Но теперь они приказали ему: «Ты будешь нашим королем», и он уже не мог больше молчать, и никто не должен был его трогать.)

Мос, дрожа от страха, ругался: «Уходи отсюда, убрайся и заткнись, не то сгоришь, как свечка!» Мос любил его — ведь он взял Фербе к себе ребенком, когда от него еще пахло козами и пастищем, и теперь ему было страшно за него, да и за себя, и за свою сапожную мастерскую тоже. «Заткнись, полоумный, уходи в горы, молись и молчи...»

Но вместо этого Фербе объявил на Торговой плоцади: «Я — король Зенинов!»

Сперва послышались насмешки, и прямо в лицо ему полетели огрызки фруктов, гнилые яйца, смех детей и женщин. Но однажды его уввели алъгасилы и сказали ему: «Ты пьян, проспись-ка здесь, хмель-то и выйдет из головы», хотя во рту у него не было ни капли спиртного. На следующий день он получил несколько палочных ударов, затем его отпустили и сказали: «Ступай и больше не устраивай беспорядков».

Но Фербе не мог молчать — ведь ему было дано поручение, ведь Зенины сказали ему: «Мы ждем тебя целую вечность», и он говорил: «Не будем злыми, или зло воцарится и весь мир запылает, как огромное солнце, черное и зловонное».

И гончарам, и людям, приходившим с Востока, которые вели за собой навьюченных ослятков, и торговцам зеленью, вином и тканями он говорил: «Ночью Зенины сделали меня королем». И если ктонибудь спрашивал его: «А кто такие эти Зенины?» — он отвечал: «Они существуют и не существуют, они ждут там, па дне, они покачиваются в самой глубине и возвещают и объявляют, что в назначенный час они поднимутся и придут, и люди станут справедливыми. Для этого они сделали меня своим королем и сказали мне: «Ты чист, невишен, ты — наш король, ибо ты нас понял». Ведь, кроме меня, никто никогда не знал их».

Фербе снова отсидел двадцать дней и получил сорок ударов кнутом. В конце концов его арестовали, судили и приговорили к сожжению на костре.

В конце ноября холодным ясным утром к месту казни привели Фербе и еще десять других приговоренных. Привязанного к столбу Фербе снова принялись уговаривать призваться в колдовстве и в связи со Злым Духом,

но он не признался. Отказался он также и от всякой помощи.

(«Я не такой, как эти люди, совсем не такой, у нас разные цели, и все же я страшными пытками связан с этой толпой, в которой один терпит и плачет, другой кричит от злобы, и злоба заполняет собою воздух, но я далек от слез и от злобы, все это мне глубоко чуждо. У меня нет другого места, я здесь; и какие разные вопросы хотят сейчас разрешить! Я кричал Мосу: «Меня избрали королем, и теперь никто не должен меня трогать! Они придут за мной и уведут меня, как обещали, в свой таинственный мир; я знаю все, что может знать человек: я знаю корни и последние побеги всего сущего, ибо я неискушен и прост». Мос сказал: «Ты дурак, несмысленый, ты погибнешь, молчи». Но я продолжал говорить, я не мог спасти, к этому меня обязывало мое новое положение, и я повторяю: Зеины сделали меня своим королем, я — король, и никто не должен меня трогать».)

К одиннадцати часам утра Фербе сожгли. Тело его горело необычайно ярко, белый огонь поглотил его прежде, чем его товарищей, и Фербе не проявлял ни признаков боли, ни признаков страха.

В два часа дня запах горящего мяса заполнил весь город, и какой то черный, маслянистый туман налипал на стены домов, на деревья, на одежду.

Ветер, дувший над площадями и над зыбучими песками, унес воню в море.

Личные вещи Фербе, как-то: миска, костяная ложка, одежда, табуретка, на которой он сидел, и инструменты, которыми он пользовался, были сожжены или сломаны и брошены в море.

Мос плакал всю ночь. Но прошло некоторое время, и он забыл о Фербе.

2

Марко Зеленая Куртка родился моряком и в старости купил старую таверну рядом с пристанью.

Иногда по утрам он рано выходил из дома, спускался на берег и ловил крабов возле Бухты Маргариты.

И вот однажды утром, едва только солнце вышло из-за моря, он увидел мальчика. Мальчик шел из воды к песчаному берегу, двигался он с трудом и сверкал как звезда; солнце светило ему в спину. Когда он подошел побли-

же, Марио увидел, что он совсем голый и что он обесси-
лел, как потерпевший кораблекрушение.

Марио быстро снял куртку, которая была уже не зе-
леной, а почти черной, и протянул ее мальчику:

— Ты с какого корабля, сынок?

Но мальчик ничего не ответил. Весь мокрый, он дро-
жал и сверкал. Марио Зеленая Куртка завязал куртку на
его влажной и блестящей груди и прижался его рассipa-
ниной. Мальчик по-прежнему молчал, и Марио подумал,
что он либо немой, либо слишком напуган, либо лишился
рассудка.

Марио привел его в свою таверну. Он дал ему одеться,
сварил ему кофе, усадил его у только что растопленной
печки и разговаривал с ним со всей нежностью, на какую
только был способен.

Парчишка отодвинулся от печки, его щеки и губы по-
розовели и уже ничем не напоминали синих губ челове-
ка, боровшегося с морем за свою жизнь.

Марио Зеленая Куртка побежал сообщить о своей па-
ходке властям. Однако власти ни о каком кораблекруше-
нии сведений не имели. На этих берегах царил мир, и
море казалось спокойным, как спящий дракон. Марио
сказал себе, что этот мальчуган, должно быть, с какого-
нибудь контрабандистского судна, которых в тех водах
было множество, и уже расканивался, что слишком раз-
болтался. Он отказался от мальчика, и Отцы города и
Власти поместили его в лечебницу для умалишенных,
которая находилась неподалеку от таверны Марио.

По у Марио Зеленої Куртки не было детей, и он все
время думал о мальчике. Он попросил разрешения пови-
даться с ним и в конце концов увидел его. Мальчику под-
стригли его длинные волосы, посыпал он печто вроде бала-
хона из очень грубой ткани. Марио подумал, что он похож
на юного святого: таким чистым и самоуглубленным был
взгляд его голубых глаз. Он ничему не сопротивлялся,
был послушен или, быть может, пугающе-равнодушен.
Марио сказали, что иметь дело с мальчиком очень легко,
что он туп и покорен до такой степени, что порой они да-
же забывают о его существовании. Он казался забитым;
на руках и на спине у него были рубцы от ударов плетью.
«Быть может, — сказал Директор, — он был рабом
у сарацин и каким-то чудом оказался на этих берегах.
В нем чувствуется какое-то странное упорство». Марио
ничего не понимал в этих делах, но вполне согласился

с тем, что мальчик несчастен. Но, с другой стороны, потерпевший кораблекрушение, или кто бы он ни был, казалось, *ни* о чём не вспоминал и ничего не хотел. Он не умел ни читать, ни писать.

Марио Зеленая Куртка прошел целый ряд инстанций, пока не добился разрешения взять мальчика к себе. Через некоторое время и на определенных условиях разрешение было получено.

Каждый день Марио учил мальчика варить кофе в большом оловянном кувшине, жарить витые сдобные хлебцы и подавать анизовую водку, когда ранним утром таверна наполнялась людьми, которые отправлялись на суда или возвращались с моря. Мальчик научился очищать и подавать крабов, очищивать их кипятком и делать ароматную подливку по рецепту вдовы Сальвадоры, родственницы и ближайшей соседки Марио.

Однажды утром Марио привел его на скалы Бухты Маргариты, чтобы научить его ловить крабов. Тут потерпевший кораблекрушение уселся в сторонке и пригляделся глядеть на море, неподвижный, как мертвец, и ничто не могло вывести его из задумчивости. Но Марио не хотел с ним расставаться, и домой они вернулись вместе в полном молчании. Быть может, мальчик и был глухим, но, когда в таверне его о чём-нибудь спросили, он все делал безошибочно. Вскоре он стал известен всем; его называли Потерпевший Кораблекрушение.

Однажды Марио взял его за левую руку и сказал:

— Сынок, у тебя чудная рука, но ее линиям ничего не прочесть, они у тебя шевелятся, как огонь, и путаются, как языки пламени. Не такие у тебя линии, как у людей.

Потом он засмеялся, приложил руку ко лбу и привесил:

— Ну ясно, ты ведь еще не мужчина...

Но это было необоснованное утверждение, потому что Марио Зеленая Куртка не знал, сколько лет Потерпевшему Кораблекрушение, он мог только гадать, глядя на его сухощавую, несформировавшуюся фигуру: шестнадцать? Или восемнадцать? Но почему не двенадцать? В глазах Потерпевшего Кораблекрушение была та редкостная невинность, которая порой плывет, как тень облака по поверхности земли.

В нескольких шагах от таверны стоял дом вдовы Сальвадоры — женщины, о которой прежде ходили в народе

всякие сплетни. Но теперь она утомилась, стала старой и толстой. Она приходила на пристань к прибытию кораблей, помогала при их разгрузке, помогала расставлять сети, что-то выкрикивала, стоя под навесом между огнями. Она выкрикивала своим мужским, не допускающим возражений голосом цифры, цены, какие-то таинственные советы и похвалы. Голос ее был великолепен, но тело уже стало дряблым, и прекрасное прошлое уходило вдаль. Перед ее внутренним взором еще скользили печальные призраки, запоздалые воспоминания об ушедшей любви, любви прекрасной, повесть о которой никогда никому не была рассказана. Теперь ее любили только женщины, которые ласково обращались к ней: «Сальвадора, приходи помочь мне завтра на кухне» (чаще всего это бывало на свадьбах, потому что вдова знала, как готовятся старинные блюда; только она одна умела при помощи разных специй, которые она хранила в кожаных сумках, похожих на ту, что носил на поясе Иуда, сделать кушанье ароматным). Но особенно любили соседки вдову за то, что у нее была единственная семнадцатилетняя дочь по имени Нейла.

Нейла редко выходила из дома. Она убирала комнаты и вела хозяйство, тогда как мать исполняла более тяжелую, мужскую работу. Нейла росла как редкий цветок: как голубой тюльпан или же голубая маргаритка в обыкновенном садике. По наследству переходило к Нейле и то волшебное искусство, с каким руки ее матери готовили ароматное жареное мясо и кулебяки. Каждый год она познавала какой-нибудь новый кулинарный секрет и уже теперь, в этом возрасте, помогала матери. Как маленькая нежная фея, появлялась она на свадьбах, крестинах и всякого рода торжествах. Оли с матерью были родственницами Марио Зеленоей Куртки и порой приходили помочь ему или купить у него крабов, чтобы приготовить их на заказ. Вдова и Марио очень любили друг друга, любили всегда, даже в былые времена, когда о вдove ходили разные сплетни.

По мнению людей, посещавших таверну Марио, Нейла была женщиной, причем женщиной слишком высокой и слишком худой. Однако люди эти не признавались в том, что от ее черных вьющихся волос, от ее серо-зеленных, пожалуй, чересчур широко расположенных глаз, от ее свежих и длинных губ исходило какое-то таинственное очарование. Нейла была горда и сурова и проходила меж-

ду этими людьми, как солнце или луна, и никогда не слышала ни сальностей, ни комплиментов.

Через сорок три дня после того, как Потерпевший Кораблекрушение поселился в таверне Марио Зеленой Куртки, Нейла пришла к Марио по делу и увидела Потерпевшего Кораблекрушение. Ее веки нежного, розово-мандаринового оттенка прикрывали глаза, но блеск ее глаз стал ярче, когда она спросила:

— Это и есть Потерпевший Кораблекрушение?

И завтра и послезавтра Нейла приходила в таверну под всякими незначительными предлогами. На четвертый день Потерпевший Кораблекрушение был один; он мыл стаканы и кувшины среди пара и дыма; волосы у него немножко подросли. Она прошла позади прилавка, засучила рукава и припяллась помогать ему.

С того дня она выбирала такое время, чтобы застать его одного и взять его длинную и горячую руку, покрытую мыльной пеной.

Однажды в воскресенье Нейла не попала в церковь; она попала к Потерпевшему Кораблекрушению, который был один. Когда она подняла портьеру, стаканы уже были вымыты и сверкали на полке. Таверна, казалось, дремала, за окном был смехен шум моря; это был конец осени. Потерпевший Кораблекрушение стоял к ней спиной и смотрел на море.

Когда пришла зима, Нейла сказала матери, что ждет ребенка. Вдова Сальвадора приглянулась охать и причитать: она то, дескать, и вправь дурная женщина, но своей дочери она желала самого полного счастья и берегла ее.

Илача и проклиная все на свете, она попала к Марио Зеленой Куртке и сказала ему:

— Это все натворил тот полоумный, которого ты подbral, неблагодарная оч тварь!

Марио Зеленая Куртка сказал, что этого никак не может быть, потому что несчастный Потерпевший Кораблекрушение еще невинный ребенок.

Но Нейла сказала:

— Это сделал Фербе.

— А кто это — Фербе?

Марио разыскал Потерпевшего Кораблекрушение и решил проверить это. Он крикнул ему:

— Фербе!

Потерпевший Кораблекрушение поднял голову.

— Ладно, — сказал Марио. — Все это можно уладить.

А вечером он сказал мальчику:

— Вот что, Фербе: ты должен жениться на Нейле.

Фербе продолжал складывать кучками щенки для печки.

С этого времени Сальвадора, Марио и Нейла встречались каждую ночь и строили планы при свете свечи.

— Но откуда ты знаешь, что его зовут Фербе? Неужели он тебе это сказал? — допытывался у Нейлы Марио Зеленая Куртка.

Но Нейла ничего не могла объяснить:

— Кажется, он сумел назвать мое свое имя. Я не могу хорошенько вспомнить, как это было, но я знаю, что зовут его Фербе.

— Это старинное имя, его давали у нас на острове в давние прошедшие времена, — сказала Сальвадора, которая знала попемножку обо всем, что касалось прошлого.

Когда к приходскому священнику обратились с просьбой, чтобы он назначил день свадьбы и все такое прочее, он сказал им:

— Фербе? Это не христианское имя.

И Фербе записали «Марио Младший».

Накануне свадьбы Фербе сложил на берегу большую кучу дров. Нейла задумчиво смотрела на него. Огонь, который развел Фербе, был очень красив, по дым от него шел черный, густой и липкий. При виде этого дыма сердце Нейлы переполнилось страхом.

Фербе подошел к ней с протянутыми руками. Нейла заметила, что руки Фербе сверкали, как факелы. Нейла опомнилась от ужаса, но желание обнять его было сильнее ее, и вот платье ее вспыхнуло, она загорелась и с криком бросилась к морю.

На крики прибежал Марио Зеленая Куртка, но от Нейлы остался черный пахучий комочек, свернувшись на песке; волны еще не достигали этого места. Она умерла в морской пене, которая не смогла потушить огонь.

Землю охватила великая жажда, она охватила и розовые облака, и занесенные снегом горы в глубине острова, и ничто не могло утолить эту жажду.

— Будь ты проклят, будь ты проклят! — плакала, сказала Марио.

Все женщины и мужчины села собрались на месте происшествия, вооружившись старыми веслами. Они окружили Фербе и принялись избивать его с застарелой и неумолимой жестокостью и били его до тех пор, пока

кровь не смочила песок, и вот Фербе превратился в огромную странную, движущуюся губку, и вода подошла к нему, и волны его накрыли.

Подняв весла, люди ждали: они хотели добить его — ведь море возвращает то, что не растворяется в воде, — но тут все увидели, что диковинная красная губка погружается все глубже и глубже в воду и удаляется по направлению к горизонту, к солнцу.

Но так как люди все еще не успокоились, они убили Марию Зеленую Куртку.

3

Женщина, еще красивая, хотя уже не только из первой, но, пожалуй, даже и не второй молодости, однажды увидела мальчика, который играл в «Распугтайсе», старой мельнице, приспособленной для туристов.

Когда она познакомилась с этим парнишкой, у которого были влажные, широко расставленные глаза, он нес какую-то чушь, вроде бы пел, а вроде и нет. Например, он говорил вот что: «В тот день, когда я вернусь, я увижу пустые раковины улиток, земля будет необитаемой, песок будет мокрым от морских волн, которые поглощают все воспоминания. Нагнувшись, я услышу отзывы человеческих голосов, увижу тени людей, которых уже нет в живых и которые, быть может, никогда и не существовали; и все же я что-нибудь придумаю: желтый дрок на заброшенных дорогах, изобрету жидкость в зеленых бутылках, вроде той жидкости, например, из-за которой пошло выражение «нарусник», — и так далее, и так далее. Однажды, когда она ждала ответа на свои ласки, он сказал: «Когда я вернусь? Быть может, будет слышен только хруст сухой хвои, которая дремлет по краям заповедной тропы; ведь всем известно, что тот, кто умер, никогда не возвращается». Она целовала его и всегда приговаривала при этом: «Ты похож на дурачка, дитя мое».

Но ей пришло в голову, что мальчик придумывает свои песни по почам, и у нее возникло к нему нечто вроде уважения, смешанного с жалостью.

Однажды она спросила, откуда он взялся — у него был какой-то странный акцент, которого она никогда не слышала. Но он никогда не отвечал ни на какие вопросы, кроме одного: «Хочешь выпить?» На это он всегда отвечал: «Да, хочу». И он потреблял спиртные напитки,

но не напивался пьяным. По правде говоря, он, верно, так и появился. Афиши «Распутьна» объявляли его так: «Фербе, Король Современной Песни».

Женщина заинтересовалась мальчиком, потому что другие приключения были для нее уже почти недоступны. Она дарила ему кольца, браслеты для щиколоток и для запястий, жилеты из голубого бархата и более интимные предметы. Едва прикоснувшись к его коже, камни — фальшивые или полудрагоценные — казались рубинами, золото становилось ярко-желтым, как пламя, а ткали приобретали цвет пылающего подсолнечника. Женщина, которая кое-что читала на своем веку, особенно книги любовного содержания, вспоминала стих Сафо: «Ты опаляешь меня». Но мальчик по-прежнему с головой погружался в сочинение песенок, и когда она думала, что он начинает доверять ей, он говорил: «...меня никто не знает; никто не знает, зачем я пришел и отправился на Восток; а быть может, я пойду в другую сторону: ведь меня никто никогда не видел, меня никогда ничему не учили...» (тут она начищала кое-что понимать), «...я никогда никого не знал, никогда я не защищал того, что действительно принадлежало мне, никто не сможет преодолеть собственную тупость; никто ничем со мной не делился, даже не разговаривал: никто не приходил в мой дом, а если бы у меня был дом, он был бы как яйцо — без окон и без дверей. Никто не знает ни моей улицы, ни моего лица, ни моего имени. Ведь никто меня не знает, и я никого не узнаю...» и т. д. и т. п.

Однажды ночью она наконец не выдержала и сказала ему:

— Уходи и не возвращайся, дитя мое, ты певыносим.

Мальчик, казалось, ждал этих слов, как приказа. Он улыбнулся и исчез.

Вскоре ее охватила великая скорбь: «Ничего хорошего я не заслуживаю, я грубое животное, я тщеславна и жестока; сердце мое — толстая ракушка, прилепившаяся к кораблю. Я снова позову его, бедного мальчика».

Но в «Распутьне» она уже не встретила Фербе, Короля Современной Песни. Его заменило трио.

Женщина грустила всю ночь; она слишком много выпила и разулась в компании забулдыг. Она бродила по притонам старого города и в «Золотом Крабе» бросила свои серьги в тарелочку с остатками соуса. Хозяину «Золотого Краба», который знал ее, стало ее жалко:

— Не делайте этого, ваши серьги стоят целое состояние; возьмите их и вытрите салфеткой.

Это было не совсем так, но женщина поняла, что этот человек по-своему прав; она с тоской опустила глаза и сквозь пары виски, смешанные с парами красного вина и касалли с изюмом, с каким-то жестоким любопытством посмотрела на свои ноги, уже столько времени грязные, с нелепыми и оскорбляющими взгляд подагрическими шиншками. «Я стара, — подумала она. — Я стара и сентиментальна, я дряхлая корова, глупая, как человеческий род», — и, ни с кем не простившись, ушла на берег; сердце ее жалобно кричало, но она шла выпрямившись, с гордо поднятой головой, как настоящий солдат.

Она прошла под утесами, где в пещерах жили цыганы с темными животами, женщины, ноневоле ставшие жестокими, мужчины, которых время от времени посыпало грустью, стояли горшки с геранью, серебряные птицы... «Я не буду сочинять песен, нет, этого еще мне не хватало».

Нить ее блуждающих мыслей прервалась, и она очутилась на песке, грязная, как этот кусок берега.

Тогда она увидела Фербе, Короля Современной Песни, он стоял лицом к морю, как будто вел с ним разговор. Она побежала к нему с внезапно возникнувшей радостью, отчасти подогретой алкоголем: такая радость приходила к ней в прежние годы. Но Фербе не слышал, как она звала его, не видел, как она опустилась рядом с ним на колени, не чувствовал, как она принялась ласкать его и просить, чтобы он вернулся, — ведь ничего же не произошло, пусть он вернется. И постепенно радость стала отходить от нее, подобно морскому отливу; и на равнодушном песке остались только подкатывающая тошнота и полная опустошенности.

— Если ты не вернешься, и покончу с собой, — сказала она.

Но Фербе даже не смотрел на нее. Быть может, он сочинял. Да, да, он снова сочинял свои страшные и смешные песенки.

— Идем, ведь я убью себя, если ты не вернешься, — повторяла она, и в голосе ее звучали жалобные ста-рушечки всхлипывания. Она набила его карманы всеми деньгами, которые были при ней, а также и валютой, она дала ему браслет, серьги, еще жирные от соуса, — все, что, по ее мнению, могло представлять

собой для него какую-то ценность. Она рычала, как старый лев:

— То, что совершился, не будет самоубийством, это будет преступлением, преступлением...

Красное вино, смешанное с виски, подступало к горлу. «Мерзкая смесь», — подумала она. Она взошла на утес и бросилась в бездну. Она еще успела вспомнить о той толстой жабе, которую она (ей было тогда семь лет) раздавила камнем.

Через полтора дня уполномоченные ворвались в папсиоп, где жил Фербес, Король Песни. Они обыскали его комнату, падали на него наручники и увезли его, конфисковав предварительно деньги, валюту, браслеты, вышачканные в соусе серьги и еще кое-какие вещички красивой, зрелой, разбившейся женщины.

Через некоторое время его приговорили к смерти. Хозяин «Золотого Краба» сказал:

— Ведь говорил я этой несчастной женщине, ведь говорил: не делайте этого, все это плохо кончится, все это пахнет преступлением, молодежь совершенно разложилась. Но люди есть люди, что тут поделаешь? Вы об этом и представления не имеете, да и я тоже ничего тут не смыслю.

В день казни налачу показалось странным, что преступник, таинственный Король Современной Песни, видимо, умер гораздо раньше. Через час после совершения казни внезапно начался пожар, и все крыло здания было объято кроваво-красным, почти красивым пламенем.

В это время несколько мальчишек разговаривали в Kim's-таверне (прежнем «Киме»). Один из этих мальчиков, у которого было худощавое и первое лицо, боялся и клялся, что на дне Бухты Маргариты нашли огромное скопление губок, и притом отличного качества. Другие, напротив, утверждали, что там губок никогда и не было, что все это ложь. К тому же один из них добавил:

— Не стоит труда и ловить эти губки, что в них хорошего? То ли дело искусственные!

Но первый юноша сказал, что именно поэтому настоящие губки гораздо ценнее.

Голубой, мальвовый, зеленый мир, обрызганный редкими звездами, покачивался над головой юного водолаза, и какой-то непонятный грохот, казалось, пронизы-

сал его слух; он даже подумал, что сходит с ума. Губки образовывали странный, живой, покачивающийся мир, и юноша вспомнил, что, когда он был еще маленьким, дед рассказывал ему истории про злых сирен, которые обольщали сердца юных моряков, и они расставались с жизнью. Но его здравый смысл победил. Он не верил в выдумки стариков.

Все было сделано превосходно. Он набрал губок великолепного качества.

Когда наконец он набрал достаточное количество губок, он, посвистывая, направился в город. День был безоблачный, и он шел вдоль берега. Ни единого облачка не было над морем.

Вдруг что-то спустилось к нему, к его сердцу, словно какая-то птица, названия которой он не знал. Он остановился, посмотрел на море, на береговые скалы, на бухту, за которой виднелась желто-серая громада города. Его окружала полная тишина, точно его внезапно накрыл стеклянный колпак. Он опустил глаза и посмотрел на свою длинную тень на песке. И он с полной уверенностью сказал себе:

— Что-то исчезло с земли.

Николас

испания



высоты полуразрушенной башни Николас

смотрел на двух женщин, поднимавшихся по дороге к руинам замка. Одна из них была Маргарита (он узнал бы ее с любого расстояния), а другая, спутница Маргариты, — приезжая сеньора, проводившая лето в их местечке.

Маргарита ужасно боялась ящериц, и Николас проигнал их с ее пути: от него до Маргариты было сейчас метров триста, а он владычествовал над живой тварью в радиусе пятисот. Сделал он это не потехи ради, а потому, что для Маргариты он всегда был готов вернуться к этим глупым забавам своего детства...

Все началось с кошек. Николасу, наверное, еще года не было, когда мать искала, что может без страха оставлять сына играть с ними. Можно было подумать, что кошки его слушаются; и они действительно его слушались, хотя и не во всем. Она послушно ходили по веревке для сушки белья (эта игра ему скоро наскучила) и послушно вскыривали одна на другую, образуя пирамиду из пяти кошек. Совсем нетрудным оказалось также добиться, чтобы кот Чини настраивал приемник на волну мадридского радио: маленький хозяин кота любил слушать «Час симфонической музыки». Достаточно было мысленно всплыть кошачьему мозгу представление о нужной длине волны (это было надежнее, чем образ вкрадчивого и манерного голоса диктора потому что у других дикторов тоже голоса были манерные и вкрадчивые). Но добиться, чтобы

кот наполнял мёлком его опустевший рожок, Николасу так и не удалось. Кот разбил три бутылки подряд, и Николас понял, что иногда природа ставит такие преграды, которые даже беззаветная преданность кошек преодолеть не в состоянии.

С подобными же препятствиями он столкнулся, когда приступил к обучению Черного — их собаки. Хотя пес, выполнив мысленное внушение Николаса, встречал ритмичным лаем на мотив озорной песенки каждое появление доньи Соледад (добродетельная дама считала, что это сам дьявол в обличье пса обращается к ней с ужасными предложениями), он наотрез отказался плавать на спине в водоеме их сада. И в конце концов Николас понял, что этот стиль плавания недоступен собаке из-за формы и расположения ее конечностей.

Неудачи обескуражили маленького Николаса, и скоро он оставил эти игры, в которых столько всего не получалось. Правда, однажды (сму было уже пятнадцать лет) он, чтобы дяде Рамону было удобней сесть на лошадь, заставил ее опуститься на колени. Предупредительность, проявленная лошадью два или три раза в присутствии Николаса, изрядно удивила дядю Рамона, поскольку он не видел, чтобы племянник прикасался к лошади или хотя бы говорил с ней.

Николас понял, что, если он и впредь будет поддерживать с животными дружеские отношения, окружающие могут усмотреть в этом нечто до крайности странное; и когда Николас пришел к такому выводу, его отношения с животными стали чисто деловыми. Но было поздно: его дядя Рамон и остальные семь тысяч жителей местечка ужко считали его странным, хотя и менее странным, чем был он на самом деле...

Наполовину скрытый смоковницей на верхушке башни, куда никто не мог подняться с того дня, когда, полтораста лет тому назад, окончательно рухнула лестница, Николас не отрывал взгляда от белого пятна Маргаритиной блузки. В ее тончайшем шелковом шитье (работа знаменитой мастерицы — его матери) скрывалась вышитая гладью формула антигравитации. Никому не известная, никем не прочитанная, формула была подарком Николаса единственной женщине, которую он смог полюбить.

Вдова, оставшаяся без поддержки, может легко сшить концы с концами, если ей удаются вышивки, которыми славится этот край. А даже здесь, в kraю вышивальщиц, вышивки Луисы ценились очень высоко. Работать, конечно, в первое время пришлось не покладая рук. От зари до зари сидела она, не разгибаясь, над пяльцами.

Положение изменилось к лучшему, когда Николас (ему было уже двенадцать лет) смастерили свою первую вышивальную машину. В ней не было шестеренок, рукояток и трансмиссий, без которых не обходится ни одна нормальная машина. Сконструированная в соответствии со своеобразными принципами механики Николаса, машина эта была пока очень несовершенной. За полчаса она вышивала всего один столовый гарнитур с двенадцатью салфетками, и к тому же Лунса должна была сама накраивать куски ткани и закладывать их в нее.

Про машину, понятно, никто ничего не знал: Луисе не хотелось, чтобы люди обращали на ее сына особенно много внимания. Да и вышивки могли упасть в цене, если бы стало вдруг известно, что изготавливаются они со столь малой затратой труда и времени.

— И откуда у вас время берется столько вышивать? — удивлялись в «Большой галантерейной торговле Руис-Перрис», часто дававшей Луисе трудные и ответственные заказы.

Луиса в ответ только улыбалась.

— Да это... сын мне иногда помогает.

— Хороший у вас сын, раз помогает матери по хозяйству, чтоб она могла небольшо заработать.

На следующий год Николас усовершенствовал свое изобретение. Теперь достаточно было вложить в машину рисунок будущей вышивки, а уж со всем остальным онаправлялась сама.

Примерно в это же время Николас обнаружил принцип антигравитации. Открытие свое он сделал совершенно случайно.

— Постереги наши вещи, Николас, — попросили его как-то мальчишки, не любившие ходить в школу, но очень любившие воровать яблоки. — И крикни, если кого увидишь.

Он остался у стены сада рядом с грудой портфелей,

шарфов и учебников. За двадцать минут он прочитал от корки до корки несколько книг, и ни одна из них его не заинтересовала; но когда он открыл учебник физики...

Николас был ошеломлен.

Нет, ничего неправильного в книге не было — просто все в ней выглядело так, будто паралитик тужится описать Олимпийские игры, которых ему ни разу в жизни не доводилось видеть. Сколько глупостей, сколько беспомощных, нелепых рассуждений!

Но все же кое-что ему пригодилось. Нашлись одна-две веци, о которых он до этого не задумывался. А главное, он получил представление о методе, столь необходимом его недисциплинированному уму.

Вечером того же дня, у себя дома, он построил то, что можно было бы назвать машиной антигравитации... если бы только предмет, им изготовленный, был хоть чем-нибудь похож на машину.

Сперва Николас не мог придумать, к чему бы ему применить свое изобретение; а через два дня, кое-что изменив в машине, он уже мог перелетать по воздуху к себе в спальню, и когда он там оказывался, одежда сама соскальзывала с его тела и улетала на вешалку. И когда в никаком, надетой на него все той же услужливой энергии, он укладывался в постель, сложенные в ногах простыни сами поднимались и мягко покрывали его.

Скоро Луиса и ее сын убедились, что машина антигравитации — штука очень занятная и полезная. Николас придумал игру: мать вылетала из окна и повисала в воздухе над улицей, а потом тем же путем возвращалась обратно. В первый раз Луиса испугалась, но прошло немного времени — и они уже носились вверх-вниз, залываясь веселым смехом. Делали они это только по ночам, когда на улице никого нет и некому их увидеть: они боялись, что о них могут плохо подумать.

Подруги, щебеча, подходили все ближе. Маргарита была весела той шумной веселостью, которая так правилась в ней Николасу. Эта роскошная блондинка вообще была ему по душе. Такая белая, упитанная, неразмышляющая... Мозг ее работал почти так же, как мозг Марронги, собаки священника из прихода святого Андреса. Да, она была прямо как собака, и, думая это, Николас не имел в виду ничего дурного. Собака есть собака, точ-

но так же, как потариус есть потариус, и незачем выискивать в словах скрытый смысл, которого в них нет.

Со временем Николас начал понимать, что не только интересы у него другие, но и сам он не такой, как все. Это произошло, когда он заметил, что может без труда читать мысли других людей. Как-то раз он увидел: оболтус Хуанито Солисес подкрадывается к нему с намерением пнуть его в зад. Николас видел, как эта идея кристаллизуется в мозгу Хуанито; как мимолетная мысль, показавшаяся Хуанито забавной, крепнет и превращается в твердое намерение пнуть его.

Зловеще улыбаясь, Хуанито приблизился к нему, поднял ногу... На том дело и кончилось: Хуанито вдруг показалось, будто его ногу обули в тяжеленный свинцовый башмак. Он осторожно поставил ее на землю, со страхом и изумлением посмотрел на Николаса и медленно побрел прочь, волоча за собой злосчастную ногу.

Вышеописанное произошло тем же летом (Николасу тогда было уже пятнадцать), когда дон Фелипе Кардосо, алькальд*, сломал ногу, попытавшись перепрыгнуть через супругу налогового инспектора, наклонившуюся, чтобы поднять веер. Эта странная выходка возмутила тогда всех уважаемых людей городка. Прошли годы, а дон Фелипе, подвергнутый остроклизму и более не переизбравшийся, все не спал ночей, думая о том, что могло толкнуть его на такую неправдолюбивую, немыслимую глупость... Николас уже понял, что мысли его, попадая в чужие головы, приносят иногда самые неожиданные плоды, и подобных экспериментов больше не повторял.

Точнее, повторил один раз, исключительно ради Маргариты. Он просто не мог не оказать этой пустячной услуги самой привлекательной девушки их местечка.

Дело в том, что в голове у Хайме Эскриче, новоиспеченного лиценциата медицины, только что вернувшегося домой из столичного университета, Николас неожиданно для себя обнаружил целый водоворот пижных мыслей, кружавшихся вокруг несравненного образа Маргариты. Хайме Эскриче был влюблен. Но он был робок, знал, что девушку все время провожает галантейщик Руис-Перис, и не хотел навязываться.

Николас решил вмешаться в их отношения: Маргарита заслуживала лучшего, чем стать женой галантейщика.

* Городской голова, мэр (*испан.*). (Прим. перев.)

«Послушай: Хаймо Эскриче в тебя влюблена. Он замечательный юноша и будет прекрасным мужем...—мысленно нашептывал он Маргарите, гулявшей с подругами в воскресенье после обедни, — Хаймо Эскриче ждет блестящая карьера врача. Скоро он приступит к работе над исследованием о влиянии новых сосудорасширяющих средств на сердечное кровообращение, кровяное давление и частоту пульса. Это исследование будет иметь в ученых кругах большой успех. Он откроет в столице клинику, и карьера его во многом зависит от тебя. Он мечтает быть с тобой вместе, бороться за тебя, отдать тебе все...»

Когда Николас закончил внушение, он увидел на лице девушки лучезарную улыбку и понял, что Маргарита восприняла все. Она была добрая и рассудительная девушка, и потому в тот же вечер дала согласие на брак с владельцем «Большой Галантерейной Торговли Руис-Перис». Таким путем, освобождая Хаймо Эскриче от цинамерение вызванных ею тревог и волнений, дабы он, не отвлекаемый более любовными переживаниями, мог целиком посвятить себя ожидавшей его блестящей научной карьере, Маргарита заодно обеспечивала себе материальный достаток и высокое положение в обществе. Ее свадьба совпала с торжественным открытием второго этажа «Большой Галантерейной Торговли Руис-Перис», ставшей теперь, бесспорно, первой среди трех заведений такого рода в их местечке.

Маргарита с подругой были уже почти у самых развалин, и Николас решил спуститься с башни. Нужно было спрятать мастерскую на случай, если две сеньоры захотят побродить среди руин. Если бы они, проходя мимо аппаратов, случайно задели их, обе они в тот же миг могли оказаться на вершине Монблана или на каком-нибудь тихоокеанском острове, а это их наверняка не обрадовало бы.

В один прекрасный день на столе перед Луисой появились вдруг неведомо откуда чашка кофе и гренки. Это удивило даже ее, почти ничему уже не удивляющуюся. А произошло это, когда Николас в кухне поставил названные предметы на маленькую платформу своей новой машины и повернул рычажок.

Переноситься самому оказалось немного труднее. При

первых попытках он оставался на своем месте в машине (она стала вместительнее), раздетый до нитки, а ~~о~~ одежда вдруг появлялась в кабинете памплонского губернатора.

Нужна была мастерская побольше. Он устроил ее под навесом, укрывавшим когда-то арсенал ныне полуразрушенного замка. Там он усовершенствовал свою машину, и управлять ею стало совсем легко. Теперь он мог пареноситься куда хотел. Он побывал на корриде в Сан-Фермине и на шестидневных мадридских велосипедных гонках; и то и другое очень ему понравилось. Сейчас ~~она~~ готовился к еще более трудному путешествию, на этот раз вместе с матерью, на пляж Торремолинок, который расхваливали в попавшемся ему журнале.

Чуть заметное движение руки — и навес и машина исчезли. На их месте росли теперь знакомые сорняки с кистями желтых цветов. Маргарита с подругой внезапно увидели его — он сидел на земле и обдирал веточку лаванды — и сразу прервали свою веселую болтовню.

— Добрый день, Николас, — сказала сеньора Руис-Мерис с улыбкой, которую он так любил.

— Маргарита... — ответил Николас.

Это означало, что она красива и что ему приятно ее видеть.

— На солнышке греешься?

— Маргарита...

«Да, — означало это, — да, греюсь на солнышке». Он не хотел знать, что слова людям обязательно нужно слышать, что восприятию людей доступна лишь грубая вибрация воздуха. Он никак не мог понять, почему для других его язык недостаточен.

— Маргарита, Маргарита... — повторил он лукаво и ласково.

— До свиданья, Николас.

— Прощай, — сказала приезжая сеньора.

Они пошли дальше, и Маргарита взяла под руку свою подругу.

— Это Николас, — сказала она вполголоса.

— Николас?

— Да, наш дурачок.

Николас не отрывал от женщин невыразительного взгляда.

— Маргарита... — прошептал он, ковыряя в зубах веточкой лаванды.

Риестофер Юсеф

НОРВЕГИЯ



Риестофер понимал, что на самом деле ему должно быть очень грустно. В книгах для взрослых он читал, что больные дети, которые не могут играть с другими детьми, печально смотрят в окно на своих товарищей и плакают.

А Риестофер ни капли не грустил, хотя болел так сильно, что совсем не мог выходить из дома. У него было что-то с кожей, от солнца на лице и на руках тотчас появлялись страшные нарыва. Поэтому Риестофер очень редко бывал на воздухе, и окно его комнаты смотрело на север.

Но даже не будь этой противной болезни, Риестофер вряд ли смог бы развиться так же, как другие дети. Ведь он родился с накаченной левой ногой. Ходить еще можно, но сидеть и прыгать совсем нельзя.

Отец ему рассказал, что должны были родиться близнецы, но брат Риестофера сразу же умер. Двоим было тепло в мамином животе, вот и пострадала левая нога. Сам Риестофер говорил себе, что эта странная левая нога — все, что осталось от брата. Хотя нет, не все. Ведь родители ждали двух сыновей и выбрали два имени. Но выжил только один, и Риестоферу достались оба имени, его называли Риестофер Юсеф. Ему это даже нравилось.

Риестофер читал не только про то, как тоскливо живется детям, которые не могут играть с другими детьми. Он вообще много читал из того, что пишут про детей

взрослые, толкуя на свой лад, как им живется, что они думают и чувствуют.

Все считали, что ему должно быть страшно одиноко и скучно. Ведь Риестофера почти никто не навещал. Он знал только маму, папу и гувернантку, которая обучала его по школьной программе, потому что он не мог ходить в школу. Большую часть дня Риестофер проводил в детской комнате один. Но он не скучал и не чувствовал себя одиноким.

Может, это неправильно, что ему вовсе не так уж плохо, как должно быть? И после того как мама, пожелав ему доброй ночи, гасила свет, Риестофер иногда лежал и говорил себе, как это обидно, что он не может бегать направле с другими, не может выходить на солнце. Винил себе, что ему очень грустно в одиноко. Потом, в слезах, пробовал уснуть, но у него ничего не получалось. Он даже сердился — ведь, если верить книгам, другим ничего не стоило уснуть в слезах.

У него же в голове заново проходило все, что он сделал за день, все, что видел, слышал, чувствовал. И еще он думал обо всем том, что лежит в его комнате и ждет, когда он встанет. Мысли и воспоминания чередовались так стремительно, что приходилось покрепче зажмуривать глаза. Тогда в темном пространстве под веками вспыхивал многоцветный фейерверк, множество пляшущих точек, он всматривался в них, угадывая таинственные фигуры и сказочные персонажи, и засыпал.

После завтрака Риестофер первым делом отправлялся на свой наблюдательный пост. Окно детской смотрело в море, и каждое утро через пролив в обе стороны шли корабли.

На подоконнике лежало его снаряжение. Журнал с графиками, где он записывал время и опознавательные знаки, папин большой бинокль, четыре цветных карандаша, компас и прочие необходимые вещи. Сидя на высокой табуретке, Риестофер внимательно следил за всем, что делалось в море, зарисовывал и записывал.

Не все замысловатые приборы, которые он сам собрал, были ему нужны. Но они так внушительно выглядели. Скажем, механизм от старого будильника, вставленный в небольшое колесо и подвешенный на резинке. Или толстая линза, которая опрокидывала весь мир вверх ногами. А матовое стекло, освещенное свизу карманным фонариком, — чем не экран радара?

Но наблюдение за судами было только одним из многих важных дел Риестофера. Надоест это занятие, другие уже ждут. Рисование, книги, почтовые марки, карты... И конечно, его собственная страна.

Страну Риестофера составляли две доски, которыми мама и папа прежде наращивали обеденный стол, когда ждали гостей. На этих досках Риестофер делал горы из глины, леса из спичек, а из пластилина ленил крохотных человечков и животных и населял ими страну.

Прочтя какую-нибудь особенно хорошую и увлекательную книгу, он немедля воссоздавал на своих досках край и персонажей, про которых в ней рассказывалось. Здесь Кай и Герда продолжали жить долго после того, как автор расстался с ними. Индейцы и пираты, война и мирная жизнь — всему было место в маленьком мире Риестофера.

Он мог часами сидеть на полу перед своими досками. Перенесется в вымышленный мир и говорит за каждого из людей, гонит скот через прерии, вместе с Оленебоем спускается по реке к блокгаузу белых, выводит племя через тайный перевал из глухой долины за глиняной горой. Рядом с ним лежали коробки с пластилином всех цветов — белого, красного, синего, темно-коричневого, ярко-желтого.

Крохотные человечки послушно делали все, о чем думал Риестофер. Но у них была и собственная воля. Они начинали жить своей жизнью, Риестофер привязывался к ним, разговаривал с ними. При этом персонажи, которых он сам придумывал — например, могучий силач Грозовик, — оказывались живее и всамделишнее любого из книжных героев.

Вот как получилось, что Риестофер, не выходя из комнаты, каждый день то нырял за сокровищами среди живописных коралловых рифов, то курил Трубку Мира с индейцами в теплых плащах, то вел эскадрилью боевых самолетов на неправистного врага в другом конце комнаты, то подстерегал тигров, сидя в ветвях могучего тика в джунглях Индии.

Мама смеялась и ласково ворошила ему волосы рукой. Риестофер приметил: когда он играет в свою страну, мама частенько стоит в уголке и как будто что-то делает.

— Можно подумать, у тебя там настоящие люди,—

говорила она. — Я и сама к ним привыкла. Откуда только у тебя все берется? Почему Грозовик исчез в столбе пламени?

Риестофер посмотрел на площадку между вигвамами, откуда улетел Грозовик.

— Понимаешь, у него была ракета, — объяснил он маме. — Он отправился на свою родную планету, до нее далеко-далеко, там деревья красные и поют.

— Ну и фантазия у тебя, молодой человек! — смеялась мама.

Фантазия? Взрослые всегда толкуют про детскую фантазию. Как будто ему это все только представляется, как будто он только сочиняет, а на самом деле ничего такого нет.

Но ведь это певерно! То, что он создавал, было таким же настоящим, как и все остальное в его комнате. Он в самом деле уходил в свою страну, видел лианы в дождевом лесу и опаленные зноем саванны, слышал индейские барабаны, сидел верхом на коне.

Фантазия?.. Какая разница между его воспоминаниями о жизни в своей стране и о сегодняшнем завтраке? И то и другое одинаково ярко живет в его памяти. Так почему одно называют действительностью, а другое — фантазией? Он не может вернуть минуту, когда Грозовик исчез в столбе пламени, но не может вернуть к жизни и урок арифметики с гувернанткой, который кончился час назад!

Эти взрослые, все-то им надо втиснуть в какую-то схему...

А может быть, их тут нельзя винить? Может, и он, когда вырастет, точно так же будет смотреть на детей? Ахать и восклицать: «Что за фантазия?» Риестофер вздохнул. Если он и забудет все это, то, уж во всяком случае, не станет говорить про фантазию: «Это с годами проходит, вырастешь и станешь взрослым и разумным, как мы».

В азбуке Риестофера на букву «с» было нарисовано солнце. И с того самого дня, как он донес до этой буквы, ему не давала покоя мысль о том, что солнце играет такую большую роль во всем, что он слышит и читает. Ласковое солнце, которое светит, и греет, и серебрит волны, и сверкает в каплях росы... А между Риестофером и солнцем стояла болезнь.

Солнце — будто огромный апельсин, спелый, жаркий, сладкий, соблазнительный запретный плод.

Мама уверяла, что он непременно поправится и когда-нибудь узнает солнце. Но в голосе ее звучало взрослое сочувствие, которое ему не нравилось. Поправится, не поправится — это не самое главное. Только бы узнать солнце. Но как узнать кого-то, если нельзя с ним встречаться?

— Придется тебе самому его навестить, — сказала мама как-то вечером, смеясь.

Когда она ушла, Риестофер продолжал думать над ее словами. И пятнышки, которые он видел во мраке в тот вечер, были оранжевыми.

А на другое утро Риестофер принялся разбирать лагерь Грозовника. Он рас克莱нил маленькие фигурки и складывал пластилин обратно в коробку, каждый цвет — в свое отделение.

— Что же ты задумал построить теперь? — спросила мама.

— Ракетодром, — ответил Риестофер.

Мама рассмеялась.

Убрав остатки глиняной горы, прерии и дождевой лес, Риестофер начал строить космодром. Он строил с размахом, всю свою страну занял под городок космонавтов. Здание управления, жилые домики с цветниками, склад горючего, автомашины, подъемные краны... Вылинил множество техников и ученых.

Потом вместе с ними принялся за ракету.

Риестофер отлично знал, как должна выглядеть ракета. Она будет большая, серебристая, с капсулой для одного человека. И она полетит к солнцу.

Однажды утром, когда мама ушла в магазин, он проbralся на кухню и стащил алюминиевую фольгу для корпуса ракеты, который сделал из круглых палочек и пластилина. Риестофер обернул его фольгой и закрепил ее булавками. Булавочные головки были точь-в-точь как заклепки. Больше всего пришлось повозиться с носовой частью, он долго стриг и прилаживал фольгу, прежде чем она легла как надо.

И вот после многих дней упорного труда ракета готова. Техники и ученые на космодроме были очень доволь-

ны, и начальник базы сказал, что можно стартовать когда угодно. Они уже совещались с Риестофером, как назвать космический корабль. Теперь состоялся ритуал крещения — были речи, большой пир, и начальник базы объявил во всеуслышание, что ракета будет называться «Серебряное солнце».

Вечером, ложась спать, Риестофер сказал маме, что завтра полетит на солнце и привезет домой кусочек солнечного вещества, чтобы узнать его поближе. Из темно-зеленой стеклянной баночки он сделал грузовой отсек. Долетит до солнца, наполнит отсек веществом и ляжет на обратный курс. За свою кожу он не боится: ведь стекло темное.

Мама засмеялась и погладила его по голове.

На следующий день состоялся старт. Риестофер торжественно попрощался с техниками и учеными, поднялся на башню рядом с ракетой, открыл тяжелый люк и вошел в командный отсек. Сел в кожаное кресло и осмотрелся кругом.

Блестящие приборы в несколько рядов... Цветные лампочки на всех стенках... Большие телевизионные и радарные экраны... Он все проверил, тщательно осмотрел свой скафандр и вызвал по радио командный пост космодрома. Ему ответили, что все в порядке. Начался отсчет — спокойный, бесстрастный. Риестофер откинулся в кресле назад и напряжение ждал.

— Ноль... четыре... три... два... один... поль!

«Серебряное солнце», опираясь на пламенный хвост, поднялось в воздух, взмыло вверх и, сверкая, ушло в космос. Риестофера вдавило в кресло, в ушах что-то громко стучало, но он был счастлив. Ракета не подвела!

Опытной рукой он вращал ручки приборов, после того как взял управление на себя, следил за курсом, слал на землю доклады. Стремительно и уверенно ракета мчалась к центру солнечной системы. Как он и думал, путешествие оказалось долгим и одиночным.

Но вот наконец на экране телевизора солнце! Риестоферу стало очень жарко в скафандре, потому что солнечные лучи палили немилосердно. Он включил кондиционер, и жара сменилась прохладой.

Ракета шла прямо к огненному шару. Уже впереди простиралось рокочущее море пламени, но Риестофер бесп

страшно вел космический корабль дальше, ведь он сам его конструировал и твердо верил в свои расчеты.

Наступила решающая минута. Риестофер потянул красную ручку. Люк изолированного грузового отсека открылся, в него ворвались языки кипящего белого пламени, и он опять закрылся.

Тотчас Риестофер изменил курс, и ракета устремилась вверх — домой!

Усталый, измученный, он выбрался из командного отсека и спустился на землю, где его ожидал весь персонал космодрома. Начальник базы поздравил его, друзья с троекратным «ура» нопесли Риестофера на руках. Серебристый корпус ракеты оправился и потрескался, но Риестофер не горевал. Корабль выполнил свою задачу.

В тот же день он начал разбирать все, что построил. Прежде всего — полуметровую ракету «Серебряное солнце», на которую положил столько труда. Осторожно снял фольгу и разложил пластинки по ячейкам. Потом взял темную стеклянную банку и бережно поставил ее на тумбочку возле кровати.

Когда мама вечером зашла сказать «доброй ночи», ее ждал усталый и счастливый сын.

— Я побывал на солнце, как ты мне советовала, — сказал он, — и взял с собой маленький кусочек солнечного вещества. Завтра начну его изучать. Может, пригодится в моей стране для вулкана или еще для чего-нибудь.

Мама улыбнулась, сказала «копечно» и погасила свет.

Но позже она, как всегда перед сном, еще раз зашла посмотреть, все ли в порядке в детской. Риестофер дышал глубоко и ровно. Она поправила одеяло и постояла, глядя на сына:

Одна рука ее придерживала почтную рубашку, а другая нечаянно задела банку на тумбочке. Мама опять слегка улыбнулась, провела пальцем по гладкому стеклу, сняла крышку.

И лицо спящего мальчика озарил яркий белый солнечный луч. На две банки пыпало маленькое солнце.

Чего стоят крылья

Англия



— О ты ведь обещал! — воскликнула Лиз Блэквелл. — Ты клялся всеми святыми, что попросишь их ампутировать!

— Ампутировать? — в ужасе вскричал доктор Джонас. — В жизни не слышал ничего подобного!

— Но про человека с крыльями вы тоже в жизни никогда не слышали, — отпарировала она. — Гарвей, прошу тебя... Ты обещал!

— Это чтобы тебя успокоить, — ответил Гарвей Инде. — Ты тогда так развелась, потому что все на меня смотрели...

Голый до пояса, в одних брюках и ботинках, развернув свои крылья во всем их великолепии, он походил на современный вариант Ники Самоффракийской мужского пола.

— Лиз, если бы господь не хотел, чтобы я летал, он не наградил бы меня крыльями.

Доктор Джонас отложил складной метр и сказал:

— Длина крыльев — сто семьдесят пять сантиметров. Размах — три метра сорок. Если вычесть ваш прежний вес из нынешнего, крылья весят двадцать четыре килограмма. Они выросли из лопаток и являются естественным продолжением вашей костной, мускульной и кровеносной систем. Я никогда не видел у людей крыльев, но эти кажутся мне вполне надежными. Ампутировать их — все равно что отрезать совершенно здоровую ногу... С моей стороны это было бы пепростительной профессиональной ошибкой, молодой человек!

— Но с ним так неловко теперь выходить на люди! — взмолилась Лиз. — И зачем только они выросли? Когда крыльшки у него были как у ангелочка, это было божественно!

— Вы просили, чтобы я вас осмотрел, — продолжал врач, обращаясь к Гарвейю, — и я сделал все, что мог, хотя, по совести, вам следовало бы обратиться к ветеринару. Рост крыльев, паверное, вас очень утомил. Пейте как можно больше молока, чтобы возместить потерю кальция. Сплите подольше и ешьте всевозможные свежие овощи. Короче, я вам рекомендую то же самое, что посоветовал бы любой молодой матери.

Гарвей надел рубашку, а затем пиджак задом наперед, и Лиз помогла ему застегнуть пуговицы. В таком облачении он походил на священника, вернее, на ангела, концы его крыльев мели пол.

— Надо будет присмотреться к древним статуям, — сказал он, — а то неизвестно, как мне теперь одеваться.

— Хорошая мысль, — одобрил доктор Джонас. — Точность деталей у древних скульпторов поистине удивительна! Наверное, они лепили с натуры. И если это так, то вы не уникальный случай, а просто ахарапизм. Но каким образом они у вас выросли?

— Не знаю, — сказал Гарвей.

— Зато я знаю! — взорвалась Лиз. — Это потому, что он такой добродетельный. У него нет ни одного недостатка, а это уже само по себе невыносимо для нормальной девушки вроде меня. Все началось, когда он проверял счета, и вдруг обнаружил, что случайно не доплатил что-то около двух долларов налога. Он хотел их возместить, но ему сказали, что этот счет уже закрыт и чтобы он об этом больше не думал. Тогда он послал деньги по почте анонимно. И в тот же вечер я заметила у него вокруг головы какое-то сияние вроде венчика...

— Но ведь я должен был как-то вернуть эту сумму, — запротестовал Гарвей.

— Ну а крылья? — настаивал доктор Джонас.

— Вы поверите? Он до сих пор невинен! Настоящий девственник! В его-то годы! Я хотела убедиться, подойдем ли мы друг другу, но он ответил, что мы должны блистать себя в чистоте до дня свадьбы. И вот тогда у тебя стали чесаться лопатки, Гарвей Лидс! А через несколько дней прорезались крыльшки.

— Правда, я и сам позабыл, — скромно подтвердил Гарвей.

Наступило молчание. Затем доктор Джонас медленно проговорил:

— Это доказывает, что добродетель тоже имеет свои пределы, за которыми в организме возникают глубокие физиологические изменения. С пороком, видимо, то же самое... Доктор Джекил и мистер Хайд, очевидно, не плод воображения. Это волнистая тема для размышлений.

— Но как ему теперь быть с работой? — взмолилась Лиз. — С тех пор как у него появились крылья, он не может ходить в мастерскую.

— На пошивочном ателье свет клином не сошелся, — заявил Гарвей.

— Совершенно верно, — согласился врач. — Для крылатого человека наверняка найдется масса интересных дел.

— Неужели ты мне со своими дурацкими крыльями! — отрезала Лиз.

Гарвей заметил, что перья его взъерошились... «Как у орла», — подумал он.

— Если вы так низко меня цените, уважаемая мисс Блэквелл, значит, вы не та единственная, предназначенная мне женщина.

Он хотел бы ответить ей более резко, но не знал, как это делается.

— В таком случае прощай! — сказала Лиз, с треском зацепивнула сумочку и вышла.

Гарвей остался стоять посреди комнаты в полной растерянности.

— Наверное, и я должен был сказать «прощай», — паконец промямлил он. — Теперь мне надо придумать, как прокормиться с помощью этих крыльев.

— Желаю удачи! — сказал врач. — И держите меня в курсе всех измепений, которые могут с вами произойти.

* * *

Епископ с восхищением осмотрел Гарвея со всех сторон.

— Несомненно, крылья самые настоящие, с перьями и прочим. Как сказал ваш врач, просто удивительно, с каким искусством древние скульпторы воспроизводили крылатых... Поистине они должны были ваять с натуры! Это... потрясающе!

— Вот с одеждой трудно, — заметил Гарвей, надевая рубашку задом наперед.

— Решение проблемы — тога, сын мой, как на статуях. Это, разумеется, не слишком модно, однако не менее, чем человек с крыльями.

Епископ сел за стол и закурил сигару.

— А теперь расскажите, что привело вас ко мне.

— Но это же я так понял! — Гарвей прислонился к спине: сесть в кресло он не мог — мешали крылья. — Я ведь ангел, не так ли?

— Я не могу быть судьей в таком сложном богословском вопросе, но внешнее сходство, бесспорно, есть. Я даже готов в принципе согласиться с теорией вашего врача о критической массе добра. Но что я могу сделать для вас практически, сын мой?

— Примите меня на должность ангела, — сказал Гарвей.

Епископ покривился.

— А что вы будете делать? — спросил он, наконец прошептавши.

— Я не знаю, что делают ангелы. Это должна решить церковь, а не я.

Епископ склонился над столом.

— Сын мой, если церковь начнет заниматься всяческими физическими аномалиями, у нас не останется времени ни на что другое. Вы, разумеется, являетесь исключением, но слишком старомодным, я бы сказал, средневековым.

— Но вы можете меня как-то приспособить, использовать?

— Повторяю, это вне моей компетенции, однако я не вижу, чем вы можете быть полезны церкви, и наоборот, чем церковь может быть полезной вам. Было время, когда церковь нуждалась в чудесах, но то было в средние века, в темную эпоху неграмотности и суеверий.

— А сейчас чудеса разве не нужны? — настаивал Гарвей.

— Сегодняшняя церковь — просвященная церковь. Она так же далека от средневековья, как современные вычислительные машины от древних счетов с деревянными шариками. Церковь нуждается в деньгах, уверенных и хладнокровных, которые отличают вексель от акции, умеют изыскивать фонды... короче, умеют пользоваться всеми средствами массовой информации для распространения современной религии.

— Вы хотите сказать...

— ...что в современной церкви просто нет места для средневековых пережитков вроде вас.

Гарвей помолчал. Затем сказал со вздохом:

— Если так, ничего не поделаешь. А мне казалось, что это хорошая мысль.

Епископ обогнуул стол и отечески потрепал Гарвея по плечу.

— Вы что-нибудь придумаете, сын мой. Надо уметь извлекать пользу даже из неудач. Когда жизнь подсовывает вам лимон, превращайте его в лимонад! Именно так мы и делаем ежедневно в лопе церкви.

— Благодарю вас, что приняли меня, — сказал Гарвей в смятении чувств. — И... прощайте!

— Прощай, сын мой, — не смотря на ответил епископ деловито. — И да благословит тебя господь!

* * *

Сэм Крюбел закончил скептический осмотр крыльев Гарвея.

— Они и вправду настоящие. Ну так чего вы хотите?

— Работы, — ответил Гарвей. — Люди паверника будут щедро платить, чтобы посмотреть на крылатого человека.

— В ярмарочных балаганах — возможно. Но у меня первоклассное агентство. Я не занимаюсь ярмарочными аттракционами.

— Но ведь есть еще телевидение. И ночные кабаре. И кино.

— Послушайте, — терпеливо начал Крюбел, — единственное, что у вас есть, — это крылья. Для номера этого недостаточно. Два-три представления, и все. Единственное место, где вы можете получить постоянную работу, — это ярмарочный балаган.

Гарвей задумался.

— Этого я не сообразил. Значит, мне нужен свой номер. Как мне его придумать?

Крюбел распахнул дверь в соседний обширный зал с гимнастическими кольцами и зеркалами на стенах.

— Вот, — сказал он, — здесь достаточно места для полета. Потому, что вы ведь летаете, не так ли?

— У меня нет опыта, — с сожалением пробормотал

Гарвей. — В моей квартире слишком тесно, а на улице я стесняюсь...

— Здесь вам ничто не мешает. И смотреть на вас будем только мы трое.

— Как это трое? — удивился Гарвей.

Он оглядел зал и только сейчас увидел маленькую коренастую женщину, которая сидела рядом с таким же маленьким коренастым мужчина на металлической скамье у стенки. Они ждали приема у Крюбела, но теперь с интересом уставились на Гарвея.

— Не смущайтесь, — подбодрил его Крюбел, — это всего лишь акробаты... Итак, летайте, летайте! — проговорил он нетерпеливо.

Гарвей снял пиджак, рубашку, отошел в дальний угол тренировочного зала. Он распростер свои великолепные крылья и начал разбег. Ставясь координировать движения крыльев и ног, он добежал почти до противоположной стены, прежде чем поднялся на воздух. Неловко развернувшись, чтобы не удариться о зеркала, он воспарили к потолку.

— Для начала не очень-то, — заметил Крюбел. — Что еще вы умеете?

— Право, не знаю...

— Может, мертвую летлю?

— О, знаете, у меня, кажется, боязнь высоты...

— Быть нелегче! Если вам больше нечего показать, спускайтесь.

Гарвей сдвинул ноги для приземления. Скорость его была меньше пятидесяти километров в час, но он не рассчитал пробег и врезался в закрытую дверь. Сложив крылья, он вернулся к своей одежде, как побитый.

— Плачевное зрелище, — буркнул Крюбел и открыл дверь, об которую Гарвей расквасил нос. — Приходите ко мне, когда у вас действительно будет что показать.

— Что, например? — вскричал Гарвей.

Крюбел замер, держась за ручку двери.

— Я продаю номера. Я их не изобретаю!

Гарвей заметил, что акробаты одобрительно закивали.

— Хорошо, я подумаю дома над своими возможностями.

— В запасе у вас всегда есть ярмарка. Желаю вам всяческой удачи.

— Благодарю за прием, — сказал Гарвей.

— Не за что. — Крюбел прикрыл за собой дверь, но

тотчас отворил ее, чтобы коротко бросить акробатам: — Сожалею, Ламбино, но для вас у меня ничего нет.

Они что-то вежливо пробормотали и вышли.

Гарвей надел задом наперед рубашку, пиджак, рассейенно дошел до лифта. Он не представить себе не мог, какой номер ему изобрести.

* * *

Когда Гарвей вставил ключ в скважину, кто-то тронул его за локоть. Он оглянулся. Мужчина и женщина, оба маленькие и коренастые, стояли рядом, бормоча вежливые слова.

— Мы шли за вами, — объяснил мистер Ламбино.

— Это было нетрудно, — извинилась миссис Ламбино.

— Мы хотели бы поговорить пасчет вашего номера.

— Вы очень любезны, — сказал Гарвей. — Входите.

Когда они сели, слегка смущенные, мистер Ламбино объяснил:

— Мы пошли следом за вами, потому что для нас вы целое состояние — миллионы долларов!

— Я? — изумился Гарвей, прислоняясь к стене. — Каким образом? Вы хотите стать моим импресарио?

— К сожалению, нет. Мы — Великие Ламбино, лучшие из акробатов. Но у нас нет контракта.

— Мне очень жаль. Я в таком же положении.

— Кому интересны акробаты? Никому. Но труппа с крыльями...

— Труппа? — переспросил заинтригованный Гарвей.

— У вас нет номера. У вас не те габариты.

— Разумеется, для акробатики, — извинилась миссис Ламбино.

Мистер Ламбино пробурчал что-то вежливое.

— Конечно, для акробатики, не для женщины... — Он поклонился, не вставая со стула. — Вы упражняетесь каждый день?

— Нет, совсем нерегулярно, — признался Гарвей.

— Вот видите! — торжествующе воскликнул мистер Ламбино. — Мы с женой работаем каждый день с утра до вечера, чтобы быть в форме, и совершенствуем наш номер, и без того превосходный. Вы способны на это?

— Я попробую. Раз это необходимо...

— Вам придется тренироваться годами! И только

тогда вы, может быть, сделаете свой номер. В то время как вместе с нами вы сможете дебютировать немедленно.

Гарвей накмурился.

— Простите, но я вас не понимаю.

— Все очень просто. С крыльями мы заработаем кучу денег, и вы будете получать четверть, нет — половину наших доходов.

— Да, да, половину, — подтвердила миссис Ламбино.

— Но с чего мы начнем? — спросил Гарвей.

— Расскажите, где и кто пересадил вам крылья.

— Пересадил? — изумился Гарвей. — Они вовсе не пересаженные. Они просто выросли.

Великие Ламбино перестали вежливо вскакивать.

— Мы говорим серьезно, — сказал мистер Ламбино. — Не шутите, прону вас.

— Но это серьезно! Они выросли сами!

Мистер Ламбино выхватил пистолет.

— Сами?! Ну хватит. Если вы не откроете нам вашу тайну, мне придется прибегнуть вот к этому.

— Послушайте! — взорвался Гарвей. — От этих крыльев у меня одни неприятности. С точки зрения аэродинамики я нелепее, чем первый планер Нильпенталя. Из-за них я потерял работу. Из-за них я потерял любимую девчушку. Из-за них я не могу сесть в кресло и сплю стоя на подиругах, как большая лошадь. А люди, которые на меня глазают! Крюбел прав. Я гожусь только для ярмарочного балагана, где показывают монстров. Черт бы побрал эти проклятые крылья!

Крылья упали на пол.

Гарвей смотрел на них вначале с ужасом, потом с облегчением.

— Вердикто, иногда полезно разозлиться, — сказал он. — Давно бы мне потерять терпение.. и еще кое-что, — добавил он мечтательно.

Быстро вытолкав обескураженную чету акробатов, он набрал знакомый номер телефона и с улыбкой до ушей заговорил:

— Алло, это ты, Лиз? Слушай, у меня есть для тебя новости...

Милости просим, леди Смерть!

АНГЛИЯ



то случилось в Англии давным-давно, еще при том самом короле Георге, который говорил по-английски с ужасающим немецким акцентом и ненавидел собственных сыновей. В те времена жила в Лондоне некая знатная дама; она только тем и занималась, что задавала балы. Эта леди преклонных лет (звали ее леди Флора Невилл) проживала в роскошном особняке ненадалеку от Букингемского дворца, и было у нее столько слуг, что она никак не могла упомянуть их по именам, а многих ни разу в глаза не видывала. Яств у нее было куда больше, чем она могла съесть, нарядов куда больше, чем она могла надеть. В подвалах ее дома скопилось столько вин, что бесчисленным гостям за целый век не прикончить, а чердаки были забиты творениями великих художников и скульпторов, о чём она и не подозревала. Последние годы жизни леди Невилл устраивала званые вечера да балы, которые посещали знатнейшие пэры Англии, а порою там появлялся даже сам король, и прослыла она самой умной и остроумной жительницей Лондона.

Но постепенно леди Невилл приельсь изящества. Она по-прежнему собирала у себя в доме самых прославленных людей страны и, чтобы развлечь их, приглашала искуснейших жонглеров, акробатов, танцовщиц и фокиров, но самой ей на этих приемах становилось все скучнее и скучнее... Прежде ее занимали придворные сплетни, теперь же они стали вызывать у нее зевоту. Самая упоительная музыка, самые невообразимые чудеса магии вгоняли ее в тоску. Когда же леди Невилл ви-

дела, как танцуют красивые и влюбленные пары, ей становилось грустно, а грусти она не выносила.

И вот однажды летом созвала она близких друзей и молвила:

— С каждым днем я все больше убеждаюсь, что на моих вечерах веселятся все, кроме меня самой. Секрет моего долголетия прост: я никогда не испытывала скуки. Всю жизнь меня интересовало то, что я вижу вокруг, и мне хотелось увидеть еще больше. Но скуки я не терплю и не намерена зевать на заведомо скучных приемах, особенно если сама их устраиваю. Поэтому на очередной своей бал я приглашу гостя, которого никто из вас при всем желании не сочтет скучным. Друзья мои, на ближайшем балу почтным гостем будет не кто иной, как Смерть!

Молодой поэт горячо одобрил эту мысль, но остальные отшатнулись от хозяйки в ужасе. «Как не хочется умирать!» — твердили они. В свое время Смерть неминуемо придет за каждым из них; зачем же играть со Смертью, не дожидаясь назначенного часа, который и так пробыт слишком рано? Однако леди Невилл сказала:

— Вот именно! Если Смерть собирается унести кого-нибудь из нас в вечер бала, то все равно явится, зови не зови. Но если в тот вечер никому из нас не суждено будет умереть, то, мне кажется, очень мило принять в своем кругу такого гостя. Может быть, Смерть порадует нас чем-нибудь неожиданным... если, конечно, будет в ударе. Подумать только, после этого нам представится случай рассказывать, как мы веселились на балу со Смертью! Да нам позавидует весь Лондон, вся Англия!

Такая мысль пришла по вкусу друзьям леди Невилл, но некий юный лорд, еще не пообтесавшийся в Лондоне, робко возразил:

— У Смерти и без нас дел по горло! Чего доброго, отклонит приглашение...

— Пока еще никто и никогда не отклонял моего приглашения, — отчеканила леди Невилл.

Юный лорд не был зван на бал.

Не мешкая, леди Невилл уселась писать текст приглашения. Немало поспорили о том, как надлежит обращаться к Смерти *. «Ваше лордство»? Но это ставило бы Смерть на одну доску с любым захудальным виконтом или

* В английском языке слово «смерть» мужского рода.

бароном... Более приемлемым показался было герцогский титул — «вана милость Смерть», но леди Невилл нашла, что это отдает лицемерием. А обратиться к Смерти со словами «ваше величество», то есть приравнять Смерть к королю Англии, не дерзнула даже леди Невилл. Наконец согласились на том, чтобы титуловать Смерть «ваше преосвященство», как кардинала.

Капитан Компсон, известный всей Англии как самый лихой рубака-наездник и самый элегантный повеса, заметил:

— Все это очень мило, но как попадет к Смерти наше приглашение? Кому известен адрес?

— Смерть, как вся мало-мальски приличная публика, без сомнения, живет в Лондоне; разве что в крайнем случае на лето выезжает в Довилль, — заявила леди Невилл. — Скорее всего Смерть живет где-то по соседству: это самая фешенебельная часть города, и едва ли особа, занимающая такое положение в обществе, как Смерть, поселилась бы в другом квартале. Если поразмыслить, то, право же, странно, как это мы до сих пор не раскапываемся на улице.

Почти все друзья выразили согласие с хозяйкой дома, одни лишь поэт, которого звали Дэвид Лоримонд, воскликнул:

— О нет, миледи, вы заблуждаетесь! Смерть живет среди бедняков. Смерть живет в самом узком и грязном переулке города, в мерзкой, кишашей крысами лачуге, где пахнет... пахнет...

Тут он осекся отчасти потому, что уловил неудовольствие леди Невилл, отчасти же потому, что никогда не бывал в подобной лачуге и не представлял себе, чем же там пахнет.

— Смерть живет среди бедняков, — закончил он, — и навещает их иго дня в день, ибо Смерть для них — единственный друг.

Леди Невилл отвечала поэту столь же холодно, как и юному лорду:

— Смерть волей-неволей имеет дело с бедняками, Дэвид, но едва ли нарочно ищет их общества. Наверняка Смерти, так же как и мне, трудно поверить, что бедняки — тоже люди. В конце концов ведь Смерть принадлежит к аристократии.

Лорды и леди не оспаривали того, что адрес Смерти по меньшей мере не уступает их собственному в смысле

аристократичности, но никто не знал, как называется та улица, и никто никогда не видел того дома.

— Вот если бы шла война, — сказал капитан Компсон, — Смерть было бы совсем нетрудно разыскать. Я сам, знаете ли, не раз смотрел Смерти в лицо, даже пытался вызвать на разговор, но так и не добился ответа.

— Вполне естественно, — обронила леди Невилл. — Вам следовало дождаться, пока Смерть заговорит с вами. Вы не слишком-то блудете этикет, капитан.

Тем не менее она улыбнулась ему, как улыбались капитану все женщины.

Вдруг ее озарило:

— Если не ошибаюсь, у моего куафера болен ребенок, — сообщила она. — Вчера он, помнится, что-то такое говорил. Похоже, он потерял всякую надежду. Попытка я за ним и передам ему приглашение, а он, в свою очередь, вручит его Смерти, когда наш адресат явится за его отрыском. Надо признаться, так не принято, но иного выхода я не вижу.

— А если куафер не согласится? — спросил лорд, который всего несколько дней назад женился.

— С чего бы это? — ответила леди Невилл.

Общего одобрения не разделял только поэт — он восхликал, что затея юродства и безправственна. Но и он умолк, когда леди Невилл простодушно спросила:

— А почему, Дэвид?

Итак, послали за куафером, и, когда он предстал перед собравшимися — с первой улыбкой, сцепив пальцы, смущенный присутствием стольких знатных особ, — леди Невилл втолковала ему, что от него требуется. И, как всегда, оказалась права, ибо он и не подумал отказываться, а взял визитную карточку с текстом приглашения и испросил позволения удалиться.

В течение двух дней о нем не было ни слуху ни духу, а на третий он без зова явился к леди Невилл и подал ей маленький белый конверт. Проронив: «Как любезно с вашей стороны, очень вам признательна», она вскрыла конверт и извлекла оттуда скромную визитную карточку с надписью: «Смерть с благодарностью принимает приглашение на бал к леди Невилл».

— Ты получил это от Смерти? — нетерпеливо донималась леди Невилл. — Как же выглядит Смерть?

Но куафер глядел мимо нее и молчал, и тогда она, не дожидаясь ответа, вызвала слуг и наказала сократить

своих друзей. А потом, в нетерпении расхаживая по комнате, снова спросила:

— Так как же выглядит Смерть?

Куафер ничего не ответил.

Собравшиеся друзья возбуждению передавали карточку из рук в руки, пока совершенно ее не захватили. Впрочем, всем было ясно: кроме самого текста, в послании нет ничего необычного. На ощупь визитная карточка ни горяча, ни холодна, а исходящий от нее слабый запах скорее даже приятен. Все утверждали, что аромат очень знакомый, но никто не мог его определить. Поэт усмотрел в нем сходство с благоуханием сирени, но уловил и некоторое отличие. Капитан же Комисон указал на одну особенность — никто, кроме него, этого не заметил:

— Взгляните-ка на надпись, — сказал он. — Видел ли кто-нибудь почерк более изящный? Буквы легкие, словно штаниши. По-моему, величая Смерть «его лордство» или «его преосвященство», мы лишь теряли время попусту. Это женская рука.

Все зашумели, заговорили разом, и карточка онять искала по кругу, чтобы каждый мог с полным правом воскликнуть:

— Ей-богу, верно!

Среди всеобщего гула выделялся голос поэта:

— Если вдуматься, то этого следовало ожидать. Лицо я предпочитаю Смерть в образе женщины.

— Смерть скачет на исполнинском черном коне, — твердже заявил капитан Комисон, — и носит доспехи такого же цвета. Смерть очень высокого роста, выше любого из смертных. Тот, кого я видел на поле боя, тот, кто развел пан право и панлево как солдат, не был женщиной. Скорее всего эти строки писал сам куафер или же его жена.

Но хотя все столпились вокруг куафера и умоляли по ведь, от кого же он получил записку, тот упорно молчал. Сперва его уленивали всевозможными посланиями, потом грозили ужасной карой. Со всех сторон на него ссыпались вопросы:

— Это ты сделал надпись на карточке?

— Если не ты, то кто же?

— Это была живая женщина?

— А она действительно Смерть?

— Смерть тебе что-нибудь говорила?

— Как ты догадался, что это и есть Смерть?

— Кто же все-таки Смерть — мужчина или женщина?

— Ты что, вздумал над нами потешаться?

Ни слова не произнес куафер, ни единого словечка. В конце концов леди Невилл велела слугам избить его и вытолкать взашей. Но и когда его уводили, куафер не взглянул на знатную клиентку и не проронил ни звука.

Взмахом руки водворив среди друзей молчание, леди Невилл сказала:

— Бал состоится ровно через две недели. Пусть Смерть приходит как угодно — в мужском ли обличье, в женском ли, хоть в обличье бесполого существа. — Тут она безмятежно улыбнулась. — Нечего удивляться, если Смерть окажется женщиной. Теперь я хуже представляю себе Смерть, но зато и меньше боюсь ее. В мои годы не опасаются того, кто пишет обыкновенным гусиным пером. Стуйайте по домам и, готовясь к балу, не забудьте сообщить о нем слугам, чтобы те разнесли весть по всему Лондону. Пусть все знают, что через две недели наступит вечер, когда на всей земле не умрет ни один человек, ибо Смерть будет веселиться на балу у леди Невилл.

Ровно две недели вместительный особняк леди Невилл дрожкал, стонал и ходил ходуном, точно старое дерево в грозу: это слуги гремели молотками и орудовали щетками, наводили в доме глянец и заново окрашивали стены. Леди Невилл усердно готовилась к балу. Всю жизнь она немало гордилаась своим особняком, но когда до бала остались считанные дни, вдруг испугалась, что жилище окажется недостаточно пышным для Смерти, которой, несомненно, не в диковинку гостить у сильных мира сего. Из страха павлечь на себя презрение Смерти, леди Невилл круглые сутки самолично наблюдала за работой слуг. Надо было выбить ковры и занавеси, начистить золотую и серебряную посуду так, чтоб сверкала в темноте. Парадную лестницу, спускавшуюся в зал наподобие водопада, мыли и скребли до того часто, что нельзя было пройти по ней, не поскользнувшись. Что же касается бального зала, то, чтобы убрать его подобающим образом, одновременно трудились тридцать два слуги, не считая тех, кто драил хрустальную люстру высотой в человеческий рост и четырнадцать светильников поменьше. А когда все было готово, леди Невилл заставила слуг переделывать работу с самого начала. Не потому, что заметила где-то соринку или пылинку, нет; просто леди Невилл была уверена, что Смерть-то обязательно заметит.

Для себя леди Невилл выбрала самое парядное пла-
тье и лично проследила за тем, как его стирали и гла-
дили. Она вызвала другого куафера и причесалась по ста-
ринной моде, желая доказать Смерти, что возраста своего
не скрывает и но-обезьяны копировать юных прелестниц
не намерена.

Весь день перед балом леди Невилл провела у зерка-
ла. Косметикой она не злоупотребляла — лишь тронула
губы помадой, наложила тени под глазами да припудри-
лась мельчайшей рисовой пудрой. Однако леди Невилл
пристально рассматривала исхудалое, старое лицо, гля-
девшее на нее из зеркала, и думала о том, какое впечат-
ление произведет оно на Смерть. Дворецкий осведомился,
хорошо ли, на ее вкус, подобраны вина, но она отослала
его прочь и оставалась у зеркала, пока не настало время
одеваться и встречать гостей.

Гости начали съезжаться рано. Выглянув в окно, леди
Невилл обнаружила, что местовая перед домом запружена
каретами и породистыми лошадьми. «Все это напоминает
многолюдную похоронную процессию», — подумала она.

Дворецкий выкрикивал имена гостей, и в гулком баль-
ном зале ему вторило эхо.

— Капитан королевской гвардии Генри Комиссон! Ми-
стер Дэвид Лоримонд! Лорд и леди Торрелл! (То была
самая юная чета супругов, испанских всего каких-то три
месяца.) Сэр Роджер Гаррисон! Графиня делла Каандани!

Всем прибывшим хозяйка протягивала руку для по-
целуя, и для каждого у нее находились любезные слова
приветствия.

Леди Невилл нозаботилась о том, чтобы на балу игра-
ли лучшие музыканты, но хотя по ее сигналу началась
музыка, ни одна пара не вышла на паркет, ни один мол-
одой лорд не обратился к хозяйке с просьбой оказать ему
честь и подарить первый танец, как того требовали при-
личия. Гости кучками словились по залу, перешептывая-
лись и не отрывали глаз от дверей. Заслышиав стук колес
подъезжающей кареты, они немедленно вздрогивали и жа-
лись друг к другу; всякий раз как дворецкий возвещал о
прибытии очередного гостя, они тихонько вздыхали с об-
легчением.

— Чего ради явились син ко мне на бал, если им так
странныю? — презрительно пробормотала леди Невилл. —
Я вот не боюсь свести знакомство со Смертью. Мне толь-
ко очень хотелось бы надеяться, что Смерть оценит ве-

ликоление моего дома и букет моих вин. Я умру раньше любого из них, но мне ничуть не страшно.

Уверенная, что Смерть не появится раньше полуночи, хозяйка поочередно подходила к одному гостю за другим, пытаясь успокоить их — не словами, которых, как она отлично понимала, все равно никто не разберет, а тоном своим, будто перед нею были испуганные лошади, но мало-помалу нервозность гостей передалась и ей: она садилась и тут же вставала с места, пригубила не менее десятка бокалов и не допила ни одного... и все поглядывала на часики, усыпанные драгоценными камнями. Сперва ее подмывало ускорить бег времени и покончить с ожиданием, а потом она то и дело проводила пальцем по циферблату, словно желая рассеять тьму и насилино передвинуть стрелку на час рассвета. Когда настала полночь, леди Невилл, как и все остальные, тяжело дышала, ни минуты не останавливалась на месте и прислушивалась к шороху колес по правилу.

У всех, включая леди Невилл и капитана Комисона, бой часов истощил сдавленный вскрик испуга, но все тотчас же умолкли и стали отсчитывать удары. Сверху доносился перезвон других часов, поменьше. Виски леди Невилл клацами скакала боль. Случайно она увидела свое отражение в огромном зеркале бального зала — серое лицо запрокинуто, как в приступе удущья, — и подумала: «Смерть — это идиотка, странная, омерзительная старая карга, но-мужски высокая и сильная. И вот что самое ужасное: лицо у нее точь-в-точь как у меня». Но вот бой часов прекратился, и леди Невилл закрыла глаза.

Открыла она их, когда услышала, что шепот вокруг нее изменил интонацию: теперь к страху примешивались облегчение и досада. Ведь к дому уже не подъезжали кареты. Смерть не явилась.

Шум постепенно нарастал, кое-где раздавались смешки, Менсалеку от леди Невилл молодой лорд Торренс сказал жене:

— Вот видишь, голубка, я же говорил, нечего бояться. Все это только шутка.

«Я погибла! — подумала леди Невилл. А смех все ширился и беся часов отдавался у нее в ушах. — Мне хотелось задать грандиозный бал, чтобы тем, кого не позвали, стало стыдно перед всей столицей, и вот воздаяние. Я погибла, и подделом мне».

Обернувшись к поэту Лоримонду, она предложила:

— Потанцуй со мной, Дэвид.

Она подала знак музыкантам, и те мгновенно заиграли. Лоримонд колебался, и она прибавила:

— Потанцуем. Другого случая у тебя не будет: больше я не устраиваю балов.

Лоримонд поклонился и вывел ее на середину зала. Гости расступились перед ними, смех на время затих, но леди Невилл понимала, что он вот-вот возобновится.

«Ну что ж, пускай смеются, — подумала леди Невилл. — Я не боялась Смерти, пока все опи тряслись как осиновый лист. С какой же стати мне бояться их смеха?»

Но веки терзала острая боль, и, танцуя с Дэвидом, леди Невилл споткнула глаза.

Но тут вдруг коротко ржакнули все лошади перед домом — точно так же, как в полночь разом вскрикнули все гости. Лошадей было великое множество, и их единодушное ржание утихомирило гостей. К дверям приближались тяжелые шаги дворецкого, и все вздрогнули, будто в дом ворвался холодный ветер.

Вслед за тем послышался приятный голосок:

— Я опоздала? Ах, извините! Все из-за коней...

И прежде чем дворецкий успел доложить, на порог грациозно порхнула прелестная юная девушка в белом и с улыбкой остановилась в дверях.

Она была не старше девятнадцати лет. Длинные золотистые волосы густыми локонами писпадали на плечи, тепло мерцающие, как два беломраморных острова средь зеленого моря. Широкие скулы и лоб, узкий подбородок и до того чистая кожа, что многие дамы, в том числе и леди Невилл, невольно коснулись своих лиц пальцами и тут же отдернули ладони, словно устыдились шероховатости щек. Губы гости были бледно-розовые, а ведь остальные дамы намазались красной, оранжевой и даже малиновой помадой. На юном лице над темными, спокойными, глубоко посаженными глазами взлетали сросшиеся брови, несколько гуще и прямее, чем требовала мода, и до того черные, до того жгуче-черные, что леди средних лет — супруга лорда средних лет — буркнула:

— Мне кажется, в ней есть примесь цыганской крови.

— Если не чего-нибудь похуже, — подхватила любовница ее мужа.

— Замолчите! — сказала леди Невилл громче, чем

хотела, и девушка обернулась на звук ее голоса. Она улыбнулась, леди Невилл попыталась ответить улыбкой, но губы ей не повиновались.

— Милости просим, — проговорила леди Невилл. — Милости просим, леди Смерть.

Среди лордов и леди прошуршал легкий вздох, когда девушка пожала старухе руку и склонилась перед нею движением изысканным и легким, подобная скользнувшей волне.

— Леди Невилл, — сказала она, — как я благодарна вам за то, что вы меня пригласили!

Акцент в ее словах был так же неуловим и так же знаком, как запах ее духов.

— Пожалуйста, простите мне мое опоздание, — серьезно прибавила она. — Я ехала издалека, и мои кони очень устали.

— Если угодно, конюх очистит их и задаст корм, — предложила леди Невилл.

— Ах нет! — поспешила ответила девушка. — Прошу вас, запретите ему подходить к ним. Это не простые кони, к тому же они очень злы.

Смерть приняла от слуги бокал вина, медленно, по плоточку, выпила и тихо, удовлетворенно вздохнула.

— Какое отменное вино, — сказала она, — и какой же у вас прекрасный дом!

— Благодарю вас, — отозвалась леди Невилл.

Не поворачиваясь к остальным гостям, она ощущала их взгляды у себя на спине, понимала, что ей бешено завидуют все женщины в зале, чувствовала эту зависть каждой клеточкой тела, как предчувствовала обычно дождь.

— Мне бы хотелось здесь пожить, — продолжала Смерть мелодичным голоском. — Когда-нибудь так оно и случится.

Увидев, что леди Невилл оцепенела словно замороженная, Смерть положила ручку на локоть старухи:

— Ох, что это я? Простите. Я очень жестока, хотя никогда не хочу быть жестокой. Прошу вас, извините меня, леди Невилл. Ведь я не привыкла бывать в обществе и потому болтаю всякие глупости. Умоляю вас о прощении.

Рука ее была легка и тепла, как у всех молоденьких девушек, а глаза смотрели так жалобно, что леди Невилл ответила:

— В ваших словах нет ничего обидного. Пока вы у меня в гостях, мой дом принадлежит вам.

— Спасибо, — поблагодарила Смерть и улыбнулась такой лучезарной улыбкой, что музыканты замяграли сами по себе, не дожидаясь сигнала леди Невилл. Та хотела было их остановить, но Смерть вмешалась:

— Ах, какая восхитительная музыка! Пожалуйста, пусть играют!

Музыканты продолжали исполнять гавот, а Смерть, нисколько не смущаясь под пристальными взглядами, исполненными жадного ужаса, тихонько замурлыкала мелодию без слов, обеими руками чуть приподняла подол платья и нерешительно притопнула маленькой ножкой.

— Давно я не танцевала, — грустно заметила она. — Наверное, совсем разучилась.

Она была застенчива, она по поднимала глаз, чтобы не смущать молодых мэрдов, ни один из которых не решался пригласить ее на танец. Леди Невилл испытывала прилив стыда и жалости — чувства, которые, как она полагала, увяли в ее душе много лет назад.

«Неужела ее так унизят на моем балу? — раздраженно думала старуха. — И только из-за того, что она Смерть? Будь она самой скверной и уродливой каргей в мире, все оспаривали бы друг у друга право танцевать с нюю; ведь они джентльмены и знают, что от них ожидается. Однако ни один джентльмен не станет танцевать со Смертью, будь она какой угодно раскрасавицей».

Уирядкой леди Невилл покосилась на Дэвида Лоримонда. Лицо его разрумянилось, руки были стиснуты так крепко, что пальцы побелели, он не отводил взгляда от Смерти. Однако он не повернул головы, когда леди Невилл коснулась его плеча, и притворился, будто не слышит ее шипящего окрика: «Дэвид!»

Тогда выступил вперед капитан Компсон, седой и прелесивый, в военной форме, и изящно поклонился Смерти.

— Капитан Компсон! — воскликнула Смерть, улыбаясь, и вложила ручку в предложенную им руку. — Я все время мечтала о том, чтобы вы пригласили меня на танец!

Услышав это, дамы постарше нахмурились — они считали неувестойным говорить мужчине такие любезности, но Смерти это было в высшей степени безразлично. Капитан Компсон вывел ее на середину зала, и они ста-

ли танцевать. Поначалу Смерть проявляла странную неуклюжесть: она слишком уж старалась попасть в такт партнеру и, казалось, совершенно лишена была чувства ритма. В движениях капитана сквозили достоинство и в то же время юмор. Леди Невилл даже не подозревала, что танец может выражать столько противоречивых чувств. Но когда капитан взглянул на нее через плечо Смерти, леди Невилл заметила то, чего никто не заметил: лицо и глаза вояки были парализованы ужасом, и, хотя он подавал Смерти руку с непринужденной галантностью, вздрагивал от прикосновения своей партнерши. Однако танцевал он с обычным блеском.

«Вот что значит поддерживать свой престиж, — подумала леди Невилл. — Капитан Комиссон должен делать то, чего от него ждут. Надеюсь, скоро его сменят кто-нибудь другой».

Но никто не спешил сменить капитана. Мало-помалу пары одна за другой преодолевали страх и поспешно выскользывали на паркет, иска Смерть смотрела в другую сторону, но никто не стремился избавить капитана Комиссона от прекрасной партнерши. Они танцевали друг с другом все танцы. Спустя некоторое время кое-кто из мужчин уже окидывал гостью не затравленным, а оценивающим взглядом, но, едва встретясь с нею глазами, в ответ на ее улыбку лишь крепче прижался к себе свою даму, словно боялся, как бы ту не унес холодный ветер.

Одним из немногих, кто разглядывал Смерть не таясь и с удовольствием, был лорд Торренс, но танцевал он только со своей женой. Другим был поэт Лоримонд. Танцуя с леди Невилл, он заметил:

— Если она Смерть, то кто же это перепуганное дурчак? Если она уродица, то каковы же они? Мне противен их страх. Он ведут себя ненормально.

В эту минуту мимо прошла в танце Смерть с капитаном, и до них долетели его слова:

— Но если в бою я действительно видел именно вас, то как могли вы столь неизвестно измениться? Как стали такой прелестью?

Смерть рассмеялась тихо и весело.

— Я подумала, что среди красивых людей лучше быть красивой. Побоялась всех напугать и испортить бал.

— Все представили ее уродицей, — сказал Лоримонд леди Невилл. — А я скажу, что она окажется прекрасной.

— Почему же ты с нею не танцуешь? — спросила леди Невилл. — Тоже боишься?

— Нет, нет, — быстро и с горячностью возразил поэт. — Очень скоро я приглашу ее на танец. Только еще чуть-чуть полюбуюсь ею издали.

А музыканты все играли да играли. Танцы уносили за собой ночь медленно, как капли воды подтачивают скалу. Леди Невилл казалось, что никогда еще не было такой длинной ночи, но она не чувствовала ни усталости, ни скуки. Она танцевала поочередно с каждым из своих гостей, кроме лорда Торренса, который не отходил от жены, словно лишь в этот вечер познакомился с нею, и, разумеется, кроме капитана Компсона. Один раз капитан поднял руку и мимолетно коснулся золотистых волос Смерти.

Он все еще был неотразимым кавалером и достойным партнером для такой красивой девушки, но каждый раз, когда эта пара проносилась мимо нее, леди Невилл внимательно разглядывала лицо капитана и понимала, что он гораздо старше, чем все послагают.

Сама же Смерть казалась моложе самых юных дебютанток. Теперь она танцевала лучше всех, хоть леди Невилл и не могла припомнить, в какую минуту неуклюжесть сменилась милой плавностью движений. Смерть улыбалась, окликала каждого, кто попадался ей на глаза, — и всех она знала по имени; она непрерывно напевала, выдумывала слова на мелодию танцев — бессмыслицкие слова, ничего не значащие звуки, и все же каждый старался уловить ее мягкий голос, сам не зная отчего. А когда, танцуя вальс, она перекинула волочащийся шлейф через руку, чтобы двигаться свободнее, то леди Невилл вообразила ее парусной лодочкой, плывущей по безмятежному вечернему морю.

Леди Невилл поймала обрывок сварливого спора между леди Торренс и графиней делла Кандани:

— Неважно, Смерть это или нет, но она никак не старше меня!

— Чепуха! — отрезала графиня, которая не разрешала себе проявлять снисходительность к другим женщинам. — Ей все двадцать восемь лет, а то и тридцать. А чего стоит ее платье, прямо-таки подвенечный паряд, ну и ну!

— Гадость, — вторила женщина, которую пригласили на бал как признанную любовницу капитана Компсона.

сона. — Безвкусница. Но никто и не ожидал от Смерти хорошего вкуса.

Казалось, леди Торренс вот-вот расплачется.

«Завидуют Смерти, — сказала себе леди Невилл. — Как странно, а я вот никакой ей не завидую, ну ни капельки. И вовсе ее не боюсь».

Она немало гордилась собой.

И вдруг музыканты кончили играть столь же неожиданно, как начали, и отложили инструменты в сторонку. Во внезапной произительной тишине Смерть покинула капитана Комиссона, подбежала к одному из высоких окон и обеими руками раздвинула занавеси.

— Глядите-ка! — воскликнула она, стоя спиной к остальным. — Ночь уже на исходе.

Летнее небо было еще черным, горизонт на востоке лишь чуть светился, но звезды в пебе исчезли, и постепенно стали четко вырисовываться во тьме деревья вокруг дома.

Смерть прижалась лицом к стеклу и произнесла так тихо, что ее едва расслышали:

— А теперь мое пора.

— Нет! — вырвалось у леди Невилл, которая не сразу поняла, что заговорила именно она. — Вы должны еще побывать с нами. Бал дан в вашу честь; пожалуйста, останьтесь.

Смерть протянула ей обе руки, и леди Невилл скользила их своими.

— Я чудесно провела время, — сказала Смерть ласково. — Вы себе не представляете, как приятно, когда тебя по-настоящему зовут на бал: ведь вы всю жизнь выезжаете на них и сами их даете. Для вас все балы одинаковы, а у меня этот — единственный. Вы меня понимаете?

Леди Невилл молча кивнула.

— Эту ночь я запомню на всегда, — докончила Смерть.

— Останьтесь, — попросил капитан Комиссон. — Побудьте еще немножко.

Он положил ладонь на плечо Смерти, и та, улыбаясь, прижалась к ней щекой.

— Милый капитан Комиссон, — сказала она, — мой первый настоящий кавалер. Разве вы еще не устали от меня?

— И никогда не устану, — ответил он. — Прощу вас, останьтесь.

— Как много у меня поклонников, — изумилась Смерть. Она протянула руку Лоримонду, но тот отпринул, хоть тотчас же вспыхнул от стыда. — Воин и поэт. Как славно быть женщиной! Но почему же вы оба не заговорили со мной раньше? А теперь слишком поздно. Мне пора.

— Пожалуйста, останьтесь, — промпентала леди Торренс. Для пущей храбрости она не выпускала руки мужа. — Мы оба находим вас ослепительно красивой.

— Добрая леди Торренс, — растроганно сказала девушка Смерть.

Отвернувшись, она слегка дотронулась до окна, и окно распахнулось. В зал ворвался предрассветный воздух, освеженный дождем, но уже попахивающий лондонскими улицами. Гости услышали пение птиц и необычное, каркающее ржание коней Смерти.

— Хотите, я останусь с вами? — спросила она.

Вопрос был задан не леди Невиля, не капитану Компсону, не тем, кто восхищался Смертью, а графине делла Кандии, которая стояла поодаль, прижав к груди букет и раздраженно мурлыча песенку. Графиня нисколько не хотела, чтобы Смерть оставалась, но побаивалась, как бы другие дамы не заподозрили, что она завидует красоте Смерти, и потому ответила:

— Да, конечно, хочу.

— Вот как, — проговорила Смерть. Она перешла на шепот.

— А вы, — обратилась она к другой даме, — хотите ли вы, чтоб я осталась? Хотите ли сделать меня своей подругой?

— Хочу, — ответила дама, — потому что вы красивы и у вас манеры настоящей леди.

— А вы, — спросила Смерть какого-то мужчину, — и вы, — спросила она женщину, — и вы, — спросила она другого мужчину, — хотите ли, чтобы я осталась?

И все ответили:

— Да, леди Смерть, хотим.

— Значит, хотите? — обратилась она наконец ко всем сразу. — Хотите, чтобы я жила среди вас, ничем не выделяясь, перестала быть Смертью? Хотите, чтобы я приходила к вам в гости и носила все балы? Хотите, чтобы я разъезжала в карете, запряженной такими же конями, как ваши? Хотите, чтобы я одевалась подобно вам и говорила то же самое, что говорите обычно вы? Чтобы

кто-нибудь из вас женился на мне, а остальные плюсали у меня на свадьбе и приносили подарки моим детям? Хотите ли вы этого?

— Да, — сказала леди Невилл. — Останьтесь же, останьтесь со мной, со всеми нами.

Голос Смерти был по-прежнему тих, но стал отчетливее и старше — слишком дряхлый голос (мелькнуло в голове у леди Невилл) для такой юной девушки.

— Подумайте хорошенько, — увещевала Смерть. — Поймите, чего вам хочется, и будьте в этом вполне уверены. Всем ли угодно, чтобы я осталась? Если хоть один человек скажет: «Нет, уходи», я мгновенно уйду и никогда не вернусь. Подумайте. Всем ли я нужна?

— Да! Да, вы непременно должны остаться. Вы так прекрасны, мы не можем вас отпустить! — вскричали все в один голос.

— Мы устали, — сказал капитан Комиссон.

— Мы слепы и глухи, — сказал Лоримонд. — Особенность к стихам.

— Мы боимся, — глухо сказал лорд Торренс, а жена взяла его под руку и прибавила: — Мы оба.

— Мы глупы и скучны, — сказала леди Невилл, — и старимся без толку. Оставайтесь с нами, леди Смерть.

Тогда Смерть улыбнулась, ласково и лукезарно, и шагнула навстречу людям, но всем показалось, будто она спустилась к ним с недостижаемой высоты.

— Отлично, — сказала она. — Остаюсь с вами. Отныне я не Смерть, а просто женщина.

Никто не разомкнул губ, по по залу пронесся глубокий вздох. Люди не смели шевельнуться, ибо золотоволосая девушка все же была Смертью, и за окном все еще хрюпали ряжали ее зможущие коли. Никто не мог долго смотреть на нее, хотя перед ними была самая прекрасная девушка на свете.

— Но за это вам предстоит расплата, — сказала она. — В жизни за все приходится платить. Один из вас должен стать Смертью вместо меня — ведь мир не может существовать без Смерти. Нет ли желающих стать Смертью по доброй воле? Только при таком условии могу я превратиться в простую девушки.

Никто не ответил, но все медленно понялились от нее, как откатываются от берега волны, если пытаешься их поймать. Графиня домна Кандрия с приятельницами хотели тихонько убежнуть из зала, но Смерть улыбну-

лась им, и они застыли у дверей. Капитан Компсон шевельнул губами, словно желая предложить свои услуги, но так ничего и не вымолвил. Леди Невилл застыла на месте.

— Нет желающих, — подытожила Смерть.

Она прокоснулась пальцем к цветку, и тот, казалось, изогнулся от наслаждения, как кошачья спинка.

— Нет желающих. Тогда я сама выберу себе замену, и это будет справедливо, поскольку точно так же и я когда-то стала Смертью. Но я не хотела ею быть, и меня очень радует, что вы зовете меня к себе. Давно уже я ищу людей, которым бы могла быть нужна. Теперь осталось только выбрать кого-то на мое место, и все кончено. Я буду выбирать крайне тщательно.

«Ах, до чего же мы были глупы!» — подумала леди Невилл, но вслух ничего не сказала. Только стиснула руки и, глядя на Смерть, смутно ощущала, что, будь у нее дочь, ей бы хотелось, чтобы эта дочь походила на леди Смерть.

— Графиня делла Кандини, — раздумчиво произнесла Смерть, и женщина в ужасе покинула — на крик у нее не хватило дыхания. Но Смерть со смехом продолжила: — Нет, это было бы нелепо.

Больше она ничего не добавила, но после этого щеки графини долго еще пылали от унижения, оттого что ее не избрали Смертью.

— Капитан Компсон не годится, — проворковала Смерть. — Он чересчур добр, это было бы жестоко по отношению к нему. Ведь он рвется умереть.

Выражение лица у капитана не изменилось, но руки его задрожали.

— Лоримонд тоже, — продолжала девушка, — он слишком мало знает жизнь, и потом он мне правится.

Поэт всхихнул, побледнел, опять покраснел. Он неловко попытался было преклонить перед нею колени, но вместо этого выпрямился во весь рост и постарался принять осанку капитана Компсона.

— И не Торренсы, — заявила Смерть, — никоим образом не лорд и леди Торренс, — они слишком любят друг друга, чтобы гордиться ремеслом Смерти.

Однако она не сразу отошла от леди Торренс, а еще некоторое время не спускала с нее темных любопытных глаз.

— Я стала Смертью в вашем возрасте, — сказала она

наконец. — Интересно, каково это — снова очутиться в таком возрасте? Чаресчур долго была я Смертью.

Леди Торренс содрогнулась и ничего не ответила.

Наконец Смерть спокойно проговорила:

— Леди Невилл.

— Здесь, — откликнулась та.

— По-моему, вы — единственная, — сказала Смерть. — Я выбираю вас, леди Невилл.

И снова до леди Невилл донесся единодушный тихий вздох. Она стояла спиной к гостям, но прекрасно знала, что все вздохнули с облегчением, оттого что выбор не пал на них или на кого-либо из близких. Леди Торренс в негодовании вскрикнула, но леди Невилл прекрасно понимала, что молодая женщина точно так же ужаснулась бы любому выбору Смерти. Старуха услышала собственный сонливый голос:

— Польница, по неужто не нашлось более достойного?

— Нет, — сказала Смерть. — Никто так не устал от человечности, никто лучше вас не знает, до чего бесмысленно жить на свете. И никто не в силах относиться к чужой жизни, — тут она улыбнулась милой и жестокой улыбкой, — например, к жизни ребчика, как к пустой безделнице. У Смерти тоже есть сердце, но это — пустыни опустошенное сердце, сердце же леди Невилл, мне думается, подобно иссохнему руслу реки, подобно пустой раковине. Вы гораздо больше меня будете довольны ролью Смерти — ведь я стала Смертью в слишком юные годы.

Легкой, чуть покачивающейся походкой приблизилась она к леди Невилл; в ее глубоко посаженных, широко раскрытых глазах отражался свет уже взошедшего багряного утреннего солнца. Гости шарахнулись от нее, хотя она на них не глядела, а леди Невилл, заломив руки, неотрывно следила, как Смерть подходит к ней танцующими шагами.

— Мы должны поцеловаться, — сказала Смерть. — Так когда-то и я стала Смертью.

Она восторженно тряхнула головой, и мягкие золотистые волосы всколыхнулись на ее плечах.

— Скорее, скорее! — торопила она. — Я не дождусь, когда же вновь стану человеком.

— Вам это может не понравиться, — предостерегла ее леди Невилл. Теперь ее охватило чувство покоя, хоть

она и слышала биение собственного сердца, ощущала это биение в кончиках пальцев. — Пройдет какое-то время, и вам это разонравится.

— Возможно. — Теперь улыбка Смерти была совсем близко. — Я буду не такой красивой, как сейчас, и люди перестанут любить меня так сильно. Но какое-то время я буду человеком, а потом умру. Свою вину я искупила.

— Какую вину? — спросила старуха прекрасную девушку. — В чем вы провинились? Из-за чего стали Смертью?

— Не помню, — ответила Смерть. — Со временем вы тоже забудете.

Она была меньше ростом, чем леди Невилл, и неизмеримо моложе. Она годилась ей в дочери (у леди Невилл никогда не было детей), могла бы жить с нею, безотлучно находиться при старухе и нежно обнимать ее в минуты тоски. Смерть привстала на цыпочки, чтобы поцеловать леди Невилл, и, целуя, шепнула ей на ухо:

— Когда я состарюсь и подурнею, вы будете свежи и прекрасны. Будьте же тогда милостины ко мне.

За спиной у леди Невилл элегантные джентльмены и красивые дамы зашептались, завздыхали и судорожно задвигались, подобные марионеткам, разодетым во фраки и роскошные платья.

— Обещаю, — сказала хозяйка дома и сухими губами прижалась к мягкой душистой щечке юной леди Смерть.

Как я стала писательницей

КЛНАДА



стрынадцатая улица ве-
дет к Ист-ривер.

Десять часов вечера. Толпа еле передвигает свои не-
живые ноги. У нее гипсовое лицо — одно из тысячи лиц
нашей синтетической цивилизации.

Улица темна, как монастырский коридор. Одни бредут
прочь с улицы, другие спешат на свидание, третья —
на noctлег, четвертые — куда глаза глядят.

Все было очень обыденным и в то же время каким-то
непастомцем. На левой стороне — пятна желтых, красно-
кирпичных, коричневых тонов, обведенные черными ли-
ниями, придававшими им форму домов. На пра-
вой, по которой я шла, — ярко освещенная парикмахер-
ская на первом этаже и грязная забегаловка, в которой
стоит дым коромыслом. Дальше — заклеенные афишами
деревянные щиты, из-за которых протягивает ветви де-
рево. Ключья афиш оповещают о новой демонстрации ста-
рого кинобоевика «Девушка в восиной форме».

Я ни о чем не думала и только изодно поглощала все
впечатления, предлагавшие себя моему праздному уму.

Какой-то тип остановился на углу Перной авеню и за-
курил сигарету с таким видом, будто без нее он не смог
бы перейти улицу. Что до меня, то я пересекла ее, не за-
держиваясь, и увидела, что из-за синевы типа с сигаре-
той появилась и движется навстречу мне странная лич-
ность, рассмотреть которую мне удалось благодаря неоново-
му свету, падавшему из витрины с обувью.

Человек шел быстрым шагом, и через его правую ру-
ку было переброшено пальто. Левая его рука, согнутая

в локте, оканчивалась боксерской перчаткой. Он поравнялся со мной и остановился; я посмотрела на него, мягко говоря, не без удивления. Вращая большими глазами, он сунул мне пальто, которое носил, и молча побежал, все так же размахивая рукой в перчатке и все с тем же свирепым выражением на лице.

Что мне делать с мужским пальто?

«Если окажется, что оно мало носенное, — сказала я себе, — пошлю его в ЮНРРА» *.

Вдоль набережной тянулись сверкающие ряды фонарей. Скоро я почувствовала вес своей пачки, и в какое-то мгновенье у меня появилось даже искушение оставить ее здесь, на одной из скамеек набережной.

Не знаю, что меня от этого удержало. Наверно, мой демон.

Крайне непривлекательного вида грузовые посудины испытывали на прочность свои швартовы и гнали водяные круги от своих якорных цепей.

Какие-то мерзкие мальчишки носились друг за другом. Нигде в мире нет такой отвратительной шпаны, как в Нью-Йорке.

Да, по что же мне все-таки делать с этим пальто? Ах, ведь я решилась отдать его в ЮНРРА! А может, самой послать кому-нибудь из друзей во Франции? Нет, это слишком сложно.

С островков сквозь ночь доносились крики, сверкали огни — зеленые, голубые. Добавим ко всему луну и девушки, сидевшую, свесив ноги, на нарасте, и рядом с ней юношу — не красавица, не урод, а так, самого ordinaryного.

Прошел рабочий — тоже не из таких, какие мне привыкся. Он нес железный ящик и длинный кусок водопроводной трубы.

Несмотря на масляные пятна и отбросы, плывавшие на воде, воздух был ароматен — может быть, благодаря морскому бризу... Нет, не морскому. Мне казалось, что ветер дует с океана.

Я не заметила, как проскочила два или три линии квартала, и только тут, опомнившись, уже совсем уставшая, повернула домой.

* Международная организация по оказанию помощи странам, пострадавшим от войны. Существовала с 1943 по 1947 год, когда по решению Генеральной Ассамблеи ООН была распущена.
(Прим. перев.)

Тогда-то у меня в голове и зароились самые невероятные предложения.

Чтобы кто-то сунул вдруг ни с того ни с сего пальто в руки мне, незнакомке, посреди улицы, не сказав ни единого слова? С чего бы это?

Может, оно «горячее», как в Соединенных Штатах принято говорить о краденых вещах?

Может быть, в его карманах пистолет, драгоценности или гремучая змея? Может, оно снято с гангстера, только что убитого недругом, который сразу же позабочился о том, чтобы уничтожить все улики?

Тот, кто всунул мне пальто, был в боксерских перчатках. В двух перчатках или в одной? Я помнила только одну — ту, которой он с какой-то яростью размахивал в воздухе. Нет, конечно, это боксер. Он изрядно отдал (а может быть, и угrobил) собрата по профессии и теперь скрывается от руки правосудия. Могло быть такое? Могло. Потом, не зная, как ему отделаться от тяжелого пальто (но чье же оно все-таки?), он сунул его первому встречному.

Неправдоподобно. Разве я была первой встречной? Нет. До меня этот человек в боксерской перчатке паверняка встретил еще многих других людей. И потом, я была не прохожим, а прохожей. Он дал мужское пальто молодой женщине. Почему?

По дороге домой я перебрала мысленно всевозможные варианты и теперь не знала, что и думать.

Студенческий пансион, давший мне приют (точнее — мне, моим мечтам и моим художественным дерзаниям), спаружки выглядел очень прилично. Вход был с Двенадцатой улицы, через парадное с семью каменными ступеньками.

Внутри, как это ни печально, пансион служил пристанищем не только таким же бедным, как я, студентам, но также тараканам и крысам.

В этот вечер после всей дневной беготни, после нескончаемых блужданий по бесконечным улицам моя комната на пятом этаже, под самой крышей, казалась мне, когда я поднималась по бесконечно длинным лестницам с шаткими перилами, самой прекрасной комнатой в мире.

Войдя в свою комнату с мужским пальто под мышкой, я сильным ударом кулака распахнула частежь окна.

Надо сказать, что в те времена я старательно культивировала все, что только было мужественного в моей на-

туре, чтобы уравновесить таким образом чрезмерную женственность своей внешности.. В те дни я носилась с мыслью, что совершенное существо должно быть наполовину мужчиной наполовину женщиной. Я и в выражениях не особенно стеснялась.

Итак, ударом кулака я распахнула окно, и теперь, чтобы закрыть его, понадобилось бы притянуть створки к себе. Американцы называют такие окна французскими.

Я вдохнула на постель, вздохнула и блаженно вытянулась, переполненная впечатлениями этого дня.

Пальто, пебрежно брошенное на спинку стула, со склону на пол. В комнату проникало немного света с улицы — достаточно, чтобы разглядеть контуры предметов, но недостаточно, чтобы разглядеть их детально.

При посредстве безобразной штуковины, болтавшейся на шнурке над самым моим посом, я включила свет. Резвящаяся в раковине прусаки моментально смелись.

Я встала — и занес матрац, еженощно баюкающий меня в моих кошмарах.

Я осмотрела пальто. Собственно говоря, это было полупальто из верблюжьей шерсти цвета светлой охры. Оно было почти новое, с широким поясом и двумя косыми карманами. Я сунула руку в один из них, чтобы узнать, что в нем, и извлекла предмет, от которого же приносилися к которому у меня во коже побежали мурашки.

Моя рука тут же вынырнула на стол то, что она вынула из кармана, и странный предмет оказался перед моими глазами.

Это были пять пальцев человеческой левой руки, отрубленные у основания и связанные шнурком.

Мгновенно сработали два рефлекса: спачала меня вырвало в умывальник, а потом я схватила шнурок за его конец и выбросила этот ужас за окно.

Меня начало трясти, и я не могла сдержать икоту. В течение десяти минут мне казалось, что я умираю. К счастью, я не обедала в этот день, и после нескольких болезненных конвульсий мой желудок успокоился.

Стало ясно, что этим вечером мие уже не выбраться в маленький бар, где собирались мои собратья по Гринвич-Виллидж: пары бесталанных художников, неудавшаяся актриса, полные надежд поэтессы. Более того, случалось, угощали там мазил вроде меня черствым сандвичем и чашкой кофе с коньяком.

Это псевдофранцузское подвальное заведение называлось «Кошачья миска», и действительно, с завсегдатаями там не особенно цацкались — не больше чем с бездомными кошками из водосточных труб.

Я начала снимать блузку, когда вдруг, повернувшись к окну, увидела ногти этих жутких пальцев, взобравшихся по стене дома к самой оконной раме.

Ужас! Ужас!

Я взяла туфлю и стала бить по ним каблуком, и била до тех пор, пока они не разжались. Они свалились вниз, и я сразу захлопнула окно.

Неужели все это происходит наяву?

Схватив пальто, я выскочила из комнаты и сбежала вниз к привратнице.

— Я нашла это на скамейке у Ист-Ривер, — сказала я ей. — Отдайте его вашему мужу, мне опоши к чему.

— Это прекрасное полупальто, — сказала она, — и вы могли бы продать его. Я снижу вам квартирную плату.

Я поднялась к себе, думая, что, может, хоть теперь у меня будет покой.

Я не понимала, что происходит. А вы бы поняли?

Я вошла в комнату — и сердце чуть не выскочило у меня из груди. Пальцы, проклятые пальцы, барабанили по стеклу, явно требуя, чтобы я их впустила!

С воплем: «Входите! Входите же! Давайте кончать!» — я распахнула окно.

Пальцы спустились на паркет, быстрыми, уверенными шажками двинулись к столу, щепетились в его деревянную ножку и стала карабкаться по ней вверх.

Они расположились на столе. Остолбенев, стояла я в ногах своей кровати и смотрела, как они движутся, — смотрела не протестуя, не испытывая любопытства, не давая себе труда поискать объяснение этому ужасу, от которого я глаз не могла отвести.

Между тем пальцы, немного отдохнув, отодвинули в сторону картон и другие рисовальные принадлежности и вытащили из-под них чистую тетрадь. Потом они собрались вокруг моей авторучки и начали писать. Невидимая, но исключительно точная рука водила ими по странице.

На душе у меня становилось все тосклиней. Воздух густел. Звуки становились громче. Я задыхалась.

С того места, где я стояла, я очень хорошо видела, что именно пишут пальцы.

«Мы были послушными орудиями левши, с которым расправился его враг. Наш хозяин умер сегодня вечером. Только в нас он еще живет, но нам, чтобы мы жили, нужна ты».

На какое-то мгновенье между мной и миром встало черное облако. Отрезанные пальцы все писали, а я надела берет, жакетку и бросилась вниз по лестнице.

Я бежала по улице — бежала и бежала. Я поняла, что ужас навсегда поселился рядом со мной. Я бежала и говорила себе: «Четырнадцатая улица... ведет к Ист-Ривер... там уже не будет страха...»

Паралет над рекой был не очень высокий. Я занесла над ним ногу, но какая-то неведомая сила за моей спиной удирала меня. Морской ветер сдул с моего лица гримасу тоски. Я села на скамью, а мое сердце уже покидали последние мятеющиеся порывы. Надо было смириться со своей горькой судьбой — ничего другого мне не оставалось.

Пальцы, удержавшие меня от самоубийства, лежали у моих ног. Я не задавалась вопросом, как они меня дотянули. Я взяла их и положила в берет, и этот берет я персла в руках до самого дома.

Дома я вытряхнула его содержимое прямо на стол. Пальцы ударились о него с глухим стуком.

— Выкладывайте, что там у вас, — сказала я им.

Они спохватились вокруг моей авторучки и начали: «Мы дадим тебе богатство».

— Каким образом?

«Береги нас. Без души нас ждет разложение. Дай нам свою. Люди бессмертны в той мере, в какой их помнят или любят. Помнить о чьем-то присутствии — уже значит любить. Мы не просим у тебя ничего, кроме духовной поддержки. Доверь нам свою жизнь, а мы дадим тебе богатство».

Какой сатанинский договор предлагался мне? И все же на душе у меня стало как-то спокойнее. Я сказала:

— Оставайтесь.

И добавила, желая сохранить за собой на всякий случай путь к отступлению:

— Вы мерзки. Я смогу терпеть вас, только пересиливая отвращение.

Пальцы петерпеливо задвигались и приступили к работе.

Не могу сказать, что я хорошо спала эту ночь.

Всю ночь напролет в темноте моей конуры скрипело перо, которым водили по бумаге проклятые пальцы.

Я попросила у знакомого пишущую машинку, и пальцы перепечатали текст. На другой день с рукописью под мышкой и с пальцами в кармане (я все время чувствовала их там) я вошла в самое крупное издательство, где меня сразу же принял шеф.

Бросив беглый взгляд на кипу бумаги, которую я положила перед ним, он с места в карьер предложил мне великолепный договор, который я тут же приняла, и аванс в десять тысяч долларов.

Он почти насильно навязал мне своего агента, проныру, который, не сходя с места, подобрал мне роскошно обставленные апартаменты. Большой магазин обновил мой гардероб, модный парикмахер придал новый вид моей голове, который и увековечили фотографы. Есмь можно было лицезреть во всех журналах и газетах Америки, многократно воспроизведенную со многими и всегда лестными комментариями.

Издательский агент познакомил меня со всеми театрами и ресторанами города. Обо мне он говорил не иначе как с величайшим почтением. Скоро мое имя перестали употреблять без эпитета «гениальная».

Я-то хорошо знала, что такое моя гениальность: пять куеков мертвичини, связанные шнурком от ботинок.

Когда пальцы писали мой второй шедевр, я была уже известнее Эйнштейна, прославленнее любой кинозвезды.

Временами паедине с собой я пыталась вновь обрести самое себя. Я рисовала. Мои наброски, какими бы неудачными они ни были, были моими.

Вскоре для меня был отрезан и этот путь. Издательский агент застал меня, когда я рисовала небоскребы, схватил, несмотря на все мои протесты, стопку рисунков и использовал их для рекламы.

Люди буквально рвали их у меня из рук, и о них было много разговоров — мои рисунки называли «любимым времяпрепровождением гениальной женщины».

Мужчины, как я вижу теперь, докучнее тараканов. Мне некуда деваться от них, и фальшивый рай, который для меня создали живые пальцы мертвца, оказывается страшнее преисподней.

Они, эти немыслимые пальцы, присвоили меня, и я стала существом без собственной жизни,

Ночью они создают романы, статьи, элегии. Когда я не сплю, я слышу, как они пишут.

На рассвете они соскаивают со стола на ковер и идут в мою комнату. Они хватаются за полог кровати, и потом я чувствую их — ледяные и неподвижные, у самого своего горла.

Когда ужас становится нестерпимым, я встаю и ставлю пластинки. Я часто папиваюсь, хотя терпеть не могу алкоголя.

Я не стану выбрасывать пальцы за окно — они все равно вернутся. Я не говорю им ничего, но, быть может, в один прекрасный день я их сожгу. Или испробую на них действие кислоты.

Я чувствую, что скоро мне будет просто невмоготу выносить их присутствие. А ведь они любят меня и наставника читают без труда мои самые затаенные мысли.

Не сильнее ли обычного сжимали они сегодня утром мое горло?

Заколдованный поезд

АВСТРАЛИЯ



ведь ясно сказала: один
до Ведьмина Лога! —
хрипло пролаял голос.

— Очень жаль, мамаша, но вот уже пять лет как эта ветка закрыта.

Бенджамиин Уайт пристально посмотрел на странную фигуру за окончиком кассы. Перед ним загорелись два больших глаза, и он почувствовал, как его собственные глаза полезли на лоб.

— Чуши! Я сама из Ведьмина Лога! Рельсы не спят, станция на том же месте. Не дамъ билета — плохо будет!

Душевное равновесие Бенджамина восстановилось окончательно.

— Катитесь-ка вы подальше, мамаша. Поезда через эту станцию не ходят, и билетов туда мы давным-давно не печатаем. Куда-нибудь еще желаете ехать?

— Нет! Мне надо в Ведьмин Лог!

Бен отрицательно покачал головой и отвернулся от окошка. Ему еще предстояло сделать записи в стационарном журнале, и, пожалуй, лучше было заняться делом, нежели спорить с помешанной.

«Помешанная» издала негодящее шипение, а потом как бы втекла через окончик кассы в стационарную дежурку Бена.

Усаживаясь поудобнее, Бенджамиин почувствовал движение воздуха. Он поднял глаза и увидел, что его собеседница сидит на углу стола, свесив одну ногу, а другой обвив метлу. Верхний конец метлы скимала пара рук,

костлявой которых, казалось, на свете нет, а на этих костлявых руках покоился острый подбородок.

Одета она была в то, что Бен позднее назвал балахоном. Из-под капюшона выглядывало лицо старой карги: нос крючком, беззубые десны, мутные глаза.

С полминуты Бенджамиин молча моргал. Он не верил глазам своим.

— Нет, — сказал он вслух, — не может этого быть.

Он сделал запись в журнале и добавил:

— Через окошко кассы войти нельзя, а дверь заперта.

Он покосился на угол стола — и глаза его снова полезли на лоб.

— Помнишь, как тридцать лет назад, еще до женитьбы, ты звал жену очаровательной ведьмочкой — столько раз называл, что и не сосчитаешь? — сварливо прошамкала певшая гостья.

— Еще бы, конечно, помню! Но вы-то это откуда знаете?

— А сегодня утром ты назвал ее страшной ведьмой и еще сказал, что был бы до смерти рад отправить ее в Ведьмин Лог и навсегда от нее избавиться — помнишь?

— Да как же это? Откуда вы все?..

— И разве не думал ты, что рождество веселее было бы встречать без нее? Разве не ломал голову, как бы стащить ящик спиртного с поезда номер двадцать шесть? И разве не хотелось тебе, чтобы в доме на праздники никогошеньки не осталось и чтобы даже малышей не было?

— Будь я проклят!.. — Бенджамиин вскочил на ноги, у него перехватило дыхание. — Чего ты хочешь, ведьмина дочь?

Верхом на метле она сделала круг по дежурке и ответила:

— Хочу научить тебя уважать ведьм, как ты уважал их в молодые годы.

Стоя на одной ноге и опираясь на метлу, она почти вплотную приблизила к нему свой крючковатый нос и острый подбородок. Глаза ее сверкали.

— Так вот что я скажу тебе, друг любезный: двадцать шестой прибудет сегодня ночью на час позже. На разъезде у корявого дерева он перейдет на закрытый путь, и я, без билета поеду в Ведьмин Лог! Ха-кха-кха-кха!

Хрипло смеясь, она покинула дежурку тем же путем, каким проникла туда. Бенджамиин остолбенело глядел на

все это. Ее уж и след простыл, а он все стоял и смотрел на открытое окошко кассы.

Он слышал обычное тиканье станционных часов, завывание ночного ветра на платформе, воду, капающую из крана за дверью, — и ничего более.

Крадучись, Бенджамин с фонарем в руках обошел одно за другим все станционные помещения, но таинственная гостья бесследно исчезла.

Вернувшись в дежурку, он увидел, что здесь тоже ничего не изменилось, и сел за стол, бормоча:

— Не могло этого быть!

Он прислушался — и снова услышал тиканье часов, стекания ветра, капанье воды.

— Нет! — и он углубился в свою работу.

Зять Бена, Шедрик Малкхи, был машинистом товарного поезда номер двадцать шесть, который жители городка Меррины называли «специальным рождественским». Меррина, конечная станция в Сказочных Горах, была поселением рудокопов, добывавших золото и свинец, опалы и уран; поезд должен был прийти туда в ночь перед сочельником, а точнее — 24 декабря в 0.15.

В 23.30, когда двадцать шестой пыхтел уже на перекрестье Карремби, Шедрик увидел, что его кочегар Джо Браун шагнул, опираясь на лопату, и заглядывает в тендер.

— Тут ведьма, Шедрик! — крикнул Джо Браун и, шагнув вперед, замахнулся лопатой. В следующее мгновенье лопата зазвенела о металл площадки, и кочегар, отброшенный какой-то непонятной силой, мешком плохнулся на сиденье.

— Повесить ее! — захохотал Шедрик.

Но его смех оборвался, когда он услыхал позади себя другой, более громкий хохот. Он обернулся, и его рот раскрылся еще шире.

— К-кто это?

Он шагнул к кому-то или чему-то шевелившемуся в тендере, но наткнулся на невидимую преграду.

— Ха-кха, кха, кха, кха, кха! Помнишь, как сегодня утром ты сказал своей доброй женушке, что она ведьмина дочь и что в прежние времена ее бы сожгли на костре?

— Сказал, ну и что?

— А ведь только год как ты женат, Шедрик Малкехи! Постыдился бы, хоть ты и вину налача, — я ведь хорошо помню имя того, кто меня повесил!

В стуке колес Шедрику слышалось: «Ух, ух, ведьмин дух».

— Ну и шум был сегодня утром в старом доме! Как в мое время не могли ужиться две семьи под одной крышей, так и теперь не могут...

— Вот что, миссис, мисс или как вас там, проваливайте, а то сам сброшу с паровоза!

— Не сбросишь, паровоз теперь веду я. Иначе нам не доставить тебя в Ведьмин Лог.

— А я туда не поеду. Кондуктор...

— А я любого кондуктора заколдую, — так что поедешь куда мне надо! Ты сам захотел! Помнишь, как сегодня утром поддержал тестя, — сказал ему, что вздумай тот посадить свою жену со всем ее барахлом на твой поезд, ты выведешь его на закрытый путь и ссадишь у Ведьмича Лога? Что, потешил тестюшку?

«Чух-чу-чу-чух! Ведьмин дух! Ток-то-то-ток! Ведьмин Лог!» — стучали колеса.

«Да захоти я на самом деле отвезти ее туда, — подумал Шедрик, — все равно бы из этого ничего не вышло. Уже год как стрелки па разъезде замкнуты — и слава Богу! От этой линии и так были одни убытки, а как в логе завелись ведьмы да народ подался за деильтой в другие края, кому охота туда ездить?»

Скрипучий голос звучал где-то совсем рядом, между машинистом и кочегаром, и оба посмотрели вверх, ожидая увидеть над паровозной будкой ведьмичу верхом на метле; но единственное, что они увидели, было красное перо дыма.

— Мы научим тебя уважать ведьм и женщин, Шедрик Малкехи! Проедешься этой ночью через Лог! Ха-кха-кха-кха-кха!

Поезд сделал поворот, и головной прожектор осветил сухое корявое дерево, за которым начинался разъезд. Шедрик потянул за проволочный крюк. «У-и-и-ии!»

Он думал, что свисток прозвучит презрительно и торжествующе. Так и было в самом начале, когда свисток победным криком произнес ночь. Потом поезд прогрохотал через пересезд, проследовал к стрелкам закрытой линии, каким-то образом прошел через них и повернулся на юг. И тогда свисток страдальчески взвыл: «Уай-ай-ай-ай!»

Шедрик услышал, как два голоса закатились хранимым смехом, и под жуткое завыванье свистка груженный дровами состав с гривой из окрашенного пламенем дыма понесся вместе с поездной бригадой и двумя ведьмами по заржавелым рельсам, проходившим через покинутый людьми Ведьмин Лог.

А на платформе Подветреннаяочной дежурный Бенджамин Уайт в 23.55 проверил свой хронометр по станционным часам и увидел, что те и другие часы показывают одно и то же время. «Где же двадцать шесть?» — удивился он и прислушался, силясь за тикаем часов и капаньем воды уловить шум приближающегося поезда.

Но шума не было.

В 00.05 он снова вышел на платформу, снова прислушался и напряг глаза, ожидая увидеть вдали светлое пятно головного прожектора.

В 00.15 он услышал только крик ночной птицы, донесшийся со второго от станции (так ему показалось) телеграфного столба.

В 00.30, устав от долгого и мучительного ожидания, он жалобно спросил у мыши, присевшей на полу освещенного коридора станции почесать усы:

— Ведь не мог Шед поехать через Ведьмин Лог? Или... поехал? Это все опа, проклятая! — простонал он.

В 00.45 Бену начало мерещиться, что из всех темных уголков станции ему корчат рожи привидения. И когда наконец вдалеке послышались какие-то слабые звуки, то уж они успокоить его никак не могли. Ведь никакой уважающий себя поезд не станет скрипеть при движении, как разваливающаяся на ходу телега, тарахтящая по бульгунской мостовой, и при этом еще кашлять, свистеть и хрюкать как старые-престарые мехи.

Тому, что под этот пугающий аккомпанемент приближалось к платформе Подветренная, понадобилась целая четверть часа, чтобы покрыть расстояние, которое обычно поезд проходит за две минуты. К концу этой четверти часа любой, увидев приросшего к земле Бена, решил бы, что перед ним каменное изваяние.

То, что наконец подкатило к платформе, вернуло Бенджамина к жизни — к той жизни, которой живут в страшном сне.

Ибо, рассуждал он позднее, когда к нему вернулась способность соображать, мог ли он рассматривать,

этот «поезд» иначе, нежели как некий фантастический кошмар?

Котел паровоза был смят, его бока раздались в стороны и нависали над колесами. Паровозная труба вытянулась и раздвоилась, и ее обвивали теперь немыслимо вытянувшиеся буфера. На месте будки был корявый, согнивший внутри эвкалиптовый пень, шишковатый, трухлявый и мшистый. Предохранительная решетка скрывалась под кучей прелых листьев, на которой восседал черный кот с фосфоресцирующими глазами.

Из будки на Бена таращились Шед и его кочегар. Это были два сморщеных щедущих старичка — похоже, таких деревенщин, что в паровозную будку им и сидеть было нечего, разве только в эту вот выдуманную ведьмами.

Взгляд Бена переметнулся к хвосту поезда; но непонятное отсутствие там кондуктора Рока Имдарна его уже ничуть не удивило. Взглядом затравленного зверя Бен снова посмотрел на локомотив.

Из локомотива шел пар, он тяжело дышал и, казалось, потел. Силы его вовсе не были на исходе — напротив, впечатление было такое, что он может двигаться без конца. Исходившие от него серные и аммиачные испарения наводили на мысль, что двадцать шестой побывал в пленау у ведьм и стоял в их логове возле котлов, в которых варились их зелья.

На эту мысль наводил не только вид паровоза, но и вид вагонов. Если каждый второй вагон оставался таким, каким он должен быть (то есть контейнером с дровами, предназначеными для печей Меррины), то остальные вагоны — в них везли заправку для самих рудокопов: имбирное вино и крапивное пиво, эвкалиптовый коктейль и овечий ром — эти вагоны, доверху нагруженные рождественским весельем, представали взору Бенджамина Уайта какими-то чудовищами. Чудовища истекали пузырящимися дрожжами и брызгали суслом, и в довершение всего из них высывались диковинные разноцветные фигуры, столь странные, неправдоподобные и быстро меняющиеся, что описать их не было никакой возможности.

У Бенджамина подкосились ноги. Он снова окинул состав отупелым взглядом и застонал.

— Вы опоздали, — начал он трагическим шепотом. По мере того как он говорил, голос его набирал силу. — Я не помню, чтобы вы когда-нибудь так опаздывали.

А вид у вас какой! Похоже, что вы проехали через Ведьмин Лог. Как вы туда попали?

— Спроси лучше, как мы сюда попали, — плачущим шепотом отозвался Шед.

Голос Бена звучал как дальнее эхо.

— О-о-о-ох! Будь проклят день, когда я стал железнодорожником! Что за собачья жизнь! Ты скажи, поедет эта... чертова машина?

— Поехать-то она поедет, по только что скажут в Меррине, когда мы прибудем туда? — уже громко простонал Шед. — Бенджамиин, ты мой тесть. Скажи мне, чем я заслужил это?

— И я! — пропищал Джо, таращясь на Бена выпученными глазами.

— Это ты мне скажи! А что сделал я? Катись отсюда, и чтоб твоего духу здесь не было! Мне и без тебя топно. Ну, тронулся! Отправление! Брысь! Пи-и-и-и! — Бен свистнул, махнул рукой, а его сигнальный фонарь быстро просверкал красным, зеленым и белым светом. Бен топнул ногой. — Нечего тебе торчать здесь, проваливай! Ведь ты страшилище, Шедрик Малкехи! Ты мне не зять, я от тебя отказываюсь! Глаза бы мои на тебя не глядели! Ох, помираю, конец мне!

Тут же, около издававшего булькающие звуки паровоза, Бен закрыл лицо руками, упал на колени и горько зарыдал.

Шед скрылся в своем эвакуационном ше. Паровоз жалобно заблеял, и какая-то жуткая, неведомая сила сдвинула с места и медленно поволокла конвульсивно дергающийся состав. Вихляясь и повизгивая, он пополз по направлению к Меррине.

Когда «специальный рождественский» растворился в ночной тьме, Бенджамиин поднялся и вытер слезы. Обычные тишина и спокойствие снова царили вокруг, когда он вернулся наконец к исполнению своих служебных обязанностей и сообщил в Меррину, что двадцать шестой только что проследовал через Подветренную, и о том, как он проследовал.

Ночной дежурный в Меррине написал небольшой рапорт о своем разговоре с Бенджамишом. «Если и вправду на поезде были ведьмы, — размышлял он, — то хоть не меня за это повесят». Потом он вышел на платформу, остановился, поставил фонарь рядом и, словно желая унять невольную дрожь, похлопал себя по груди. Так и

стоял он, обеспокоенно глядя туда, откуда должен был прийти поезд.

Беспокойство сменилось головной болью, а головная боль — лихорадкой еще задолго до того, как он услышал стук колес «специального рождественского», а произошло это в 01.45.

Вслушавшись хорошенько, он пришел к выводу, что звук приближающегося поезда ничем не отличается от обычного. И когда в 01.50 двадцать шестой подошел к платформе, лицо дежурного озарилось радостью. Ибо перед ним была не оседлавшая ведьмами фантастическая машина, а самый настоящий товарный поезд с облаком пара из паровоза и электрическим освещением. Ночной дежурный пошел по платформе к паровозу, попутно с удовлетворением отмечая абсолютно нормальный вид как вагонов с дровами, так и вагонов с жидким «топливом».

— Привет, Шед! До чего же я рад тебя видеть! Где это ты пропадал? Что за адское зелье ты везешь? Бен Уайт не иначе как рехнулся! Ты, слушаем, не распечатал бочонок, когда приехал к нему в Подветренную? Если бы ты вправду был такой, как он рассказывал, ни в жизнь бы тебе не довести поезда, голову даю на отсечение!

Шед спрыгнул на платформу, вытирая лицо замасленной тряпкой.

— Когда у тебя на поезде ведьмы, и не такое может случиться.

— Постой, ты как ехал?

— Через Ведьмин Лог.

Дежурный по станции так и застыл на месте с горящей спичкой в руке и стоял до тех пор, пока она не обожгла ему пальцы. Потом он смынул.

— Ну ладно, надо закончить рапорт. И раз ты говоришь, что ехал через Ведьмин Лог, то я так и запишу. Значит, этим путем ты ехал?

— Конечно! Я и Джо, мы оба. И Рок Имдари — вон он лежит без памяти в багажном вагоне. Ведьмы этой ночью проволокли поезд через Ведьмин Лог. Так и докладывай. А я теперь домой и на боковую.

А ведьмы, Мэгги и Хейзл, кружились, невидимые, под потолком спальни, в которую на цыпочках, с ботинками в руках, вошел Бенджамин. Они увидели, как он

остановился в ногах кровати и внимательно посмотрел в лицо жене, которая крепко спала, увенчанная короной серебряных волос. Они услышали, как он сказал:

— Дженини, ты для меня была и будешь самой милой ведьмой на свете. — И, вздохнув, добавил: — До чего же хорошо дома!

Потом он вынул из карманов две бутылки с золотыми этикетками, на которых стояло: «Пивовары, Волшебники и Компания», и тихонько пропел: «...И снова мы встретим с тобой рождество, любимая Дженини».

Ведьмы перелетели в соседнюю комнату, где молодой Шедрик Малкехи как раз наклонился поцеловать розовое лицико своей жены, и услыхали, как он шепчет:

— Всегда бы меня ждала дома такая ведьмочка, как ты, дорогая!

Потом Шедрик повернулся к окну и хмуро посмотрел в темноту за окном. Уже раздеваясь, он пробормотал:

— Ух, пошадись мне сейчас какая-нибудь из тех, с Ведьминя Лога — в клочки бы разорвал!

Мэгги и Хейзл оседлали свои метлы и поздним утром опустились в городе Фейберре. Там они проникли в кабинет Уильяма Дамбоди, директора всех железных дорог страны Экстралии, который в это время, размахивая листком почтовой бумаги, говорил по телефону:

— Гарри! Я получил рапорт из Меррины, в нем говорится, что, по словам машиниста Малкехи, ведьмы прогнали его состав через Ведьмин Лог, по закрытой соединительной ветке... Да, так он рассказал... Да, в рапорте из Меррины... Нет, с ума я не сошел!.. Еще в рапорте говорится, что Бенджамин Уайт, увидевший «специальный рождественский», когда тот прибыл в Подветренную, до сих пор никак не отчurается!

Дамбоди засмеялся в трубку. Ему было смешно, и он совсем не сердился. Сейчас он припоминал, что на станциях, через которые раз в год проходит по пути в Меррину «специальный рождественский», никогда непускают случая стянуть что-нибудь из рождественских грузов; это стало неписанным законом, и на это смотрят сквозь пальцы: «Может, в этом году приложились раньше времени? — подумал он. — Может быть, басни о Ведьмином Логе — результат предпраздничных возлияний? Может...»

— Что? — воскликнул он. — Вы верите этому?! Вы знаете этих людей?

Чувствуя непреодолимое желание накричать на инспектора, он продолжал:

— Не сводите меня с ума! Я не верю, что двадцать шестой прошел по этому пути! В Ведьмином Логе ведь нет и никогда не было! Пройдут праздники — сразу же снять рельсы на этой линии, чтобы такое никогда больше не повторялось!

Мэгги и Хейзл, довольные, с веселым смехом полетели прочь. После этих событий Уильям Дамбоди начал задумываться, без видимой причины останавливаться иногда с недоуменным видом, и вообще в его поведении стала проглядывать теперь какая-то неуверенность.

Таким же стал и Рок Имдарп, о котором дежурный из Меррины тактично умолчал в своем рапорте. До последних дней жизни Рок так и остался первым, все время постукивающим по столу пальцами существом. Он так никогда и не оправился от своего двухчасового забытья на «специальном рождественском».

Когда горняцкому городку Меррине пришло время праздновать рождество, оказалось, что «специальный рождественский», к величайшему огорчению грузополучателей, совершенно не оправдал их ожиданий. Когда с него сгрузили «топливо» для человеческого нутра, обнаружилось, что имбирное вино все прокисло, а крапивное пиво — сплошной уксус, что в эвкалиптовом коктейле — плесень, а овечий ром — чистая кислота; и что выдерганный продукт «Пивоваров, Волшебников и Компании» выдохся настолько, что его в рот взять противно.

Если вы захотите провести рождественские праздники в маленьком старом городке Меррине, вы встретитесь там с гостепримными и обаятельными людьми. Среди них вы не найдете ни одного плохого семьянина: все они мягкосердечны и покладисты. И кроме того, это люди, которые о волшебницах, бормочущих непонятные заклинания и готовящих колдовские зелья, отдающих всегда предпочтение самым черным из кошек и известных странным обычаем летать верхом на метле (случается, что и среди звезд), всегда говорят только хорошо.

Апрельское колдовство

США



Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горлинках, мягких, как белый горностай, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улетая с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматах исе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнециков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот повторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преображаясь, летела, незримая, на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители нереглянулись и приняли чопорный вид.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обычновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги — в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной семьи. День мы спим, ночь летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспать в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камушке, в крокусе, в бобомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!

И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы, в весеннем сумраке, темноволосая девушка лет девятнадцати, не большие, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пела.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В почном воздухе мягко отдались глотки.

Сеси ноглядела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощущала, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощущала, как вздрагивает в песне чужая горгант.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси.

Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер, — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чай-

ная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье сияющей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно услышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Эпп Лир. — Девушка встрепенулась. — Зачем я это вслух сказала?

— Эпп, Эни, — прошептала Сеси. — Эни, ты влюблена.

Как бы в ответ на ее слова, с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручищи крепко держали патянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Эни!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Эни отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Эни опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой го-

ловки, Сеси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умеешь быть вежливой?

Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пронитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Т-с, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. — Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи! — Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнецы, листья — я во всем свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдем на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купанья, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ощетинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты! — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой.

— Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь одеваться.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облекает пышущее жизнью тело! И спаужки уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн вдруг села.

— Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот коньков, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу, пайду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто итица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет, нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она.

Эни встала.

«Надень пальто!»

Эни надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Эни Лири.

«Ступай!»

— Эни, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Эни и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки своих величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце Эни Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Эни.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах, под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Эни разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Сеси.

— Ты на себя непохожа, — сказал Том.

— Сегодня да.

— Ты не та Эни Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль оттуда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Эни.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружка ее, пристально, пытливо посмотрел на разумявшееся лицо. — Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

- Ты видишь меня? — спросила Сеси.
— Ты вроде бы здесь, и вроде бы где-то далеко отсюда. — Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.
— Да.
— Почему ты пошла со мной?
— Я не хотела, — ответила Энн.
— Так почему же?..
— Что-то меня заставило.
— Что?
— Не знаю. — В голосе Энн зазвенели слезы.
— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так. Кружись, кружись.

Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.
— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.
— Пошла, — ответила Сеси.
— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.
— Энн, — сказал он и взял ее руки дрожащими руками, — Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе и не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, — сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так перемечтива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды, — ответила Энн.

— Нет, нет, я хотела сказать: прости меня, — сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руки и насторожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листвами.

— Не знаю, — ответила Энн.

— Нет, знаю, — сказала Сеси. — Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня, — сказал, недоумевая, Том. — То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал — ты как-то переменилась, сильно переменилась. Стала другая. Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — Он подыскивал слова. — Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее, — сказала Сеси, — в меня!»

— А я боюсь тебя любить, — продолжал он. — Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть, — ответила Эни.

«Нет, нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси. — Эни, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Эни ничего не сказала.

Том тихо придвигнулся к ней, ласково взял ее за подбородок.

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да, — сказали Эни и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощанье?

— Да, — сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Эни сидела будто белое изваяние.

— Эни! — воскликнула Сеси. — Подними руки, обними его!

Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла. Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя, — шептала Сеси. — Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинул ее и сидел рядом с Эни такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается?.. Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза. — Неважно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста, — сказала Эни Лири,

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь — всего одиннадцать часов, — и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе, с этой ночи и павсегда». И она услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу, — подумала Сеси. — Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том, — заговорила наконец Энн.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Грин-Таун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда, — можешь ты сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Энн Лири сказала это запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колено, стала писать при свете лупы.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул.

— «Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Грин-Таун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно, ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...».

— ...на прощание, — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси.

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатил прочь.

Сеси отпустила Эни.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть поменялась. Глазами сверчка она посмотрела на почной весенний мир. Одну минутку, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле оттуда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том. — Ее душа, теряя силы, летела в почной птице под деревьями, над темными полями дикой горчицы. — Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, какнибудь, при случае навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том снял. Была уже глубокая ночь; его одежда акку-

ратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоялась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелохнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей,

АЙЗЕК АЗИМОВ

Небывальщина

сна



ервый приступ тошноты
миновал, и Ян Прен-
тисс воскликнул:

— Черт возьми, ты же насекомое!

Это звучало как констатация факта, отнюдь не как
оскорбление, и нечто, сидевшее на рабочем столе Прен-
тисса, подтвердило:

— Разумеется...

В нем было около фута росту. Тонюсенькое, со сте-
бельками-ручками и кочерышками-ножками, оноказалось
маленькой неумелой пародией на разумное существо.
И ручки и ножки брали свое начало в верхней части тела.
Ножки были длиннее и толще, чем ручки, длиннее, чем
само туловище, и в коленях переламывались не назад,
а вперед. Нечто сидело на этих своих коленях, и конец
его пушистого брюшка почти касался поверхности стола.

Времени, чтобы подметить все эти подробности,
у Прентисса было хоть отбавляй. Нечто вовсе не возра-
жало, чтобы его разглядывали. Казалось, оно привыкло
вызывать восхищение, привыкло, чтобы им любовались.

— Откуда ты взялось?

Задавая свой вопрос, Прентисс был не слишком уве-
рен, что поступает здраво. Пять минут назад он сидел
себе за машинкой, неторопливо выстукивая рассказ, обе-
щанный Хорасу Даблью Брауну еще для прошлого номе-
ра журнала «Небывальщина и чертовщина». Настроение
у Прентисса было самое обыкновенное, чувствовал он
себя превосходно — и умственно и физически. И вдруг
какая-то часть пространства тут же, рядом с машинкой,

замерцала, заклубилась и сконденсировалась в этот налепный конмар, свесивший блестящие черные ножки над краем стола...

— Яavalонец, — высказался копмар. — Из Avalона, другими словами... — Крошечное его лицо заканчивалось роговыми челюстями. Пара качающихся трехдюймовых антенн поднималась из прыщей над глазами, фасеточные глаза сверкали множеством мелких граней, — и не было даже и признака ноздрей.

«Естественно, их нет, — пришла неясная мысль. — Оно должно дышать отверстиями в брюшке. Стало быть, и говорить оно должно брюшком. Или, может, с помощью телепатии...»

— Avalon? — зачем-то переспросил Прентисс. А про себя подумал: «Avalon? Страна эльфов из времен короля Артура?»

— Разумеется, — подтвердил создание, непринужденно отвечая на мысль. — Я эльф.

— Нет, нет!.. — Прентисс поднял руки к лицу, прижал их, но, когда отнял, увидел, что эльф по-прежнему тут, и ножки его постукивают по верхней доске стола. Прентисс не был ни алкоголиком, ни психопатом. Напротив, соседи считали его весьма прозаической личностью. У него был приличный животик, заметные, хоть и не очень, остатки волос на черепе, привлекательная жена и деятельный десятилетний сын. Конечно же, соседи пребывали в полном неведении, что взносы за дом он выплачивает, сочиняя фантастические рассказы для второсортных журналов.

До сих пор, однако, тайный этот порок никогда не отражался нагубно на его психике. Само собою, его жена не раз укоризненно качала головой — мнение ее сводилось, в сущности, к тому, что он растрачивает и даже извращает свой талант.

— И кто только это читает? — говаривала она. — Демоны, гномы, эльфы... Детские сказочки!..

— Ты совершенно не права, — ответствовал ей Прентисс. — Современные фантазии представляют собою вольные и, если хочешь, утонченные переработки народных мотивов. Под маской нереальности нередко кроется острый комментарий к злободневным событиям...

Бланш покимала плечами.

— Кроме того, — добавлял он обычно, — за фантазии платят, и неплохо платят, не так ли?

— Может, и так, — отвечала она, — но как было бы славно, если б ты перестроился на детективы... По крайней мере, мы могли бы сказать соседям, чем ты зарабатываешь на жизнь....

Прентисс застонал — беззвучно, про себя. Ведь Бланш могла войти в любую минуту и застать его разговаривающим с самим собой. Нет, это все-таки слишком реально для сна — вероятно, галлюцинация. Уж после такого по-зора волей-неволей придется переключаться на детективы...

— Вы заблуждаетесь, — сказал эльф. — Я не сон и не галлюцинация.

— Почему же ты не исчезаешь? — спросил Прентисс.

— Дайте срок — исчезну. Перспектива поселиться здесь навсегда мне совсем не улыбается. Но вам придется последовать за мной.

— Мне? Придется? Черт побери, по какому праву ты распоряжаешься мной?

— Если вы полагаете, что это вежливо так обращаться с представителем древней культуры, то остается лишь пожалеть, что вы не получили хорошего воспитания...

— Какая там древняя культура!

Он хотел было добавить: «Просто плод моего воображения!» — но он слишком давно начал писать для того, чтобы скомпрометировать себя подобным штампом.

— Мы, насекомые, — молвил эльф свысока, — существовали за полмиллиарда лет до того, как на Земле появилось первое млекопитающее. Мы видели, как вошлились динозавры, и видели, как они вымерли. А что до вас, человекообразных тварей, — вы-то уж и вовсе новоселы...

— Так стоило ли, — заметил Прентисс, — растратить на нас свое высокое внимание?

— Не стал бы, — ответил эльф, — поверьте, не стал бы, если б не насущная потребность...

— Послушайте, времени у меня в обрез. Бланш... моя жена, может зайти сюда с минуты на минуту. Она будет очень расстроена...

— Она не придет, — заверил эльф. — Я заблокировал ее сознание.

— Что???

— Совершенно безвредно, уверяю вас. В конце концов, вы и сами не хотите, чтобы нас потревожили, не правда ли?

Прентисс сжался в кресле, опшеломленный и нечастный.

— Мы, эльфы, начали сотрудничество с человекообразными сразу же, как только наступил последний ледниковый период. Вы себе представить не можете, какое это было скверное для нас время. Не могли же мы носить звериные шкуры или жить в пещерах, как ваши неотесанные предки. Понадобилось невероятно много психоэнергии, чтоб сохранить тепло...

— Невероятно много чего?

— Психоэнергии. О ней вы ровным счетом ничего не знаете. Ум ваш слишком груб, чтоб уловить хотя бы суть концепции. И не перебивайте меня, пожалуйста...

Необходимость вынудила нас поставить эксперимент. Ваш человеческий мозг незрел, но велик. Клетки его неэффективны и медлительны, зато их множество. Вот нам и удалось применить ваш мозг как усилитель, как своеобразную линзу, концентрирующую психолучи, и многократно увеличить сумму используемой нами энергии. Оледенение мы пережили довольно сносно, и нам не пришлось эвакуироваться в тропики, как в эпохи предыдущих оледенений...

Разумеется, мы избаловались. Когда тепло вернулось, мы не бросили человекообразных, нет! Мы использовали их, чтобы поднять наш жизненный уровень в целом. Чтоб передвигаться быстрее, пытаться лучше, успевать больше. И мы навсегда утратили наш старый, простой, целомудренный образ жизни. А потом — еще и молоко...

— Молоко? — удивился Прентисс. — Не вижу связи.

— Божественная жидкость! Сам я пробовал ее лишь однажды, но классическая поэзия эльфов воспевает ее в таких выражениях... В прежние времена, бывало, вы снабжали нас молоком в достатке. Какое несчастье, что человекообразные отбились от рук!

— Отбылись?..

— Двести лет назад.

— Уже не плохо.

— Да не будьте вы таким ограниченным! — сказал эльф жестко. — Сотрудничество было полезным для обеих сторон, покуда вы, человекообразные, не научились сами управлять энергией. С вашей стороны это было просто гиусно, — впрочем, чего еще от вас ждать...

— Почему же гиусно?

— Ну как вам объяснить!.. Было так хорошо освещать почные наши пирушки светлячками — это требовало психоэнергии всего на две человечьих силы. Но вы провели повсюду электрический свет. Наши антенны годны для связи на целые мили, но вы придумали телеграф, телефон и радио. Наша слуги-кобольды добывали всевозможные руды куда эффективней, чем вы, покуда не был изобретен динамит. Вам понятно?

— Нет.

— А вы полагаете, чувствительные создания высшего порядка, эльфы, могли равнодушно взирать на то, как кучка волосатых млекопитающих теснит их и обгоняет? Это, может, и не было бы трагично, если бы мы были способны развить свою электронику или скопировать вашу, но для такой цели паша психоэнергия оказалась, увы, неприменима. И вот мы ушли от мира. Мы рассердились, зачахли, упали духом. Назовите это комплексом неполноценности, если угодно, но за последние два столетия мы мало-помалу расстались с человечеством и удалились в такие местечки, как Авалон...

Прентисс напряженно размышлял.

— Давайте-ка без обиняков. Значит, как я понимаю, вы способны читать мои мысли?

— Разумеется. Труд довольно грязный и неблагодарный, но могу, если надо. Ваша фамилия Прентисс, и вы сочиняете рассказы о том, что считаете пебывалышиной. У вас есть детеныш, который сейчас находится в так называемой школе. Я знаю о вас достаточно много.

Прентисс поморщился.

— А где находится Авалон?

— Вы его все равно не найдете. — Эльф щелкнул челюстями два-три раза подряд. — И не попытайтесь даже о том, чтобы вызвать полицию. Вы окажетесь в сумасшедшем доме. Авалон — если уж вы надеетесь, что это вам как-то поможет, — находится в самой середине Атлантики и к тому же совершенно невидим. Когда вы, человекообразные, придумали пароходы, то взяли себе в привычку плавать как попало, очертя голову, и мы были вынуждены накрыть весь остров психоэкраном.

Разумеется, оградить себя от инцидентов мы все-таки не могли. Однажды корабль, огромный до безобразия, стукнулся нас точнееонько посередине, и потребовалась психоэнергия всего населения, чтобы придать нашему острову вид айсберга. Кажется, «Титаник» — вот какое

название было на борту корабля. А сегодня над нашими головами то и дело проносятся самолеты, и с ними происходят аварии. Один раз мы подобрали несколько ящиков сгущенного молока. Тогда-то я его и попробовал...

— Ну, так почему же, черт возьми, — воскликнул Прентисс, — вам не сидится на вашем Авалоне? Почему вы здесь, а не там?

— Меня выслали, — сказал эльф со злостью. — Дурачье!..

— Выслали?..

— Вы же знаете, чем это пахнет, когда вы разнитесь от всех хотя бы на самую малость. Я не такой, как они, и бедное дурачье, слепо верующее в традиции, вознегодовало. Они приревновали ко мне. Вот оно, лучшее объяснение. Приревновали!..

— Чем же это вы не такой, как они?

— Подайте мне вон ту лампочку, — сказал эльф. — Нет, нет, просто выверните ее из патрона...

Содрогнувшись от отвращения, Прентисс сделал, что ему было велено, и передал лампочку в лапки эльфа. Тот осторожно, пальчиками, тонкими и гибкими, словно усики, коснулся цоколя снизу и сбоку. Нить накаливания слабо засветилась.

— Боже милостивый, — вымолвил Прентисс.

— Это, — заявил эльф гордо, — мой величайший талант. Я говорил вам, что мы, эльфы, не способны применять психоэнергию к электронике. Зато я — я могу! Я не просто заурядный эльф. Я мутант! Суперэльф! Новая ступень в нашей эволюции! Этот накал, как вы понимаете, возник лишь благодаря активности собственного моего мозга. Теперь взгляните, что получится, когда я использую вашу как лицез...

И едва он произнес это, лампочка раскалилась добела, на нее стало больно смотреть. Где-то внутри, глубоко под черепом, у Прентисса возникло смутное, но отнюдь не противное ощущение сродни щекотке. Лампочка погасла, и эльф положил ее на стол позади машинки.

— Я еще не пробовал, — сказал он горделиво, — но подозреваю, что сумел бы даже расщепить ядро урана...

— Но постойте, чтоб зажечь лампочку, нужна энергия. Нельзя же просто взять ее и...

— Я ведь говорил вам — психоэнергия. Великий Оберон, ву постараитесь же понять, человекообразный!..

Прентисс чувствовал растущее беспокойство, но ограничился осторожным вопросом:

— И что вы намерены делать с этим вашим даром?

— Вернуться в Авалон, разумеется. Я мог бы представить дурачье их собственной судьбе, но эльфам не чужд известный патриотизм... Мы вернемся обратно вместе, вы и я.

— Но постойте...

— Подумать только, — продолжал эльф, раскачиваясь взад и вперед в своего рода экстазе, — наши ночные пи-рушки на волшебной лужайке озарят причудливое сияние неоновых трубок. В свои летающие тележки мы впряженные осинный рой — теперь мы приспособим к ним двигатели внутреннего горения. Когда наступало время спать, мы завертывались в листья — теперь мы покончим с этим обычаем, построим заводы по производству матрасов. Мы заживем, доложу я вам!.. А они, которые меня выслали, будут ползать передо мной на коленях...

— Но я не могу отправиться с вами, — заблеял Прентисс. — У меня обязательства. У меня жена и ребенок. Вы же не станете отрывать человека от его... от его детеныша? Не станете, правда?

— Я не жесток, — сказал эльф, уставив свои глазищи прямо на Прентисса. — У меня нежная душа эльфа. Однако есть ли у меня выбор? Мне необходим человеческий мозг, чтобы сфокусировать его на стоящих передо мной задачах, или я ничего не свершу. И вовсе не всякий человеческий мозг пригоден для этой цели...

— Почему же не всякий?

— Великий Оберон, ну пойми же ты, существование! Мозг — это тебе не пассивный кусок дерева или камня. Чтоб принести пользу, он должен вступить в сотрудничество. А сотрудничество возможно, только если сам мозг уверен, что мы, эльфы, действительно способны им управлять. Я могу, например, использовать твой мозг, но мозг твоей жены был бы для меня бесполезен. Понадобились бы годы, чтоб она поняла, кто я и откуда.

— Это черт знает что, — оскорбился Прентисс. — Уж не хотите ли вы убедить меня, что я верю в сказки? Считаю своим долгом сообщить вам, что я полный рационалист.

— Неужто? Когда я впервые тебе явился, у тебя мелькнуло было сомненьице по части снов и галлюцинаций, но ты говорил со мной, ты принял меня как факт.

Твоя жена, наверно, завизжала бы и забилась в истерике...

Прентисс молчал. Он не мог придумать никакого ответа.

— В том-то и горе, — признался эльф уныло. — Практически все вы, люди, позабыли о нас с тех самых пор, как мы вас покинули. Ваши умы закрылись для нас, сделались бесполезными. Конечно, детеныши ваши верят еще в легенды о «маленьком народце», но их мозги недоразвиты и годны лишь для самых простых процессов. Повзрослев, они тут же теряют веру. Честно, я и не знаю, что бы я делал, если б не вы, писатели-фантасты...

— Что вы имеете в виду?

— Вы принадлежите к тем немногим взрослым, которые еще способны поверить в наше существование. Ты, Прентисс, более всех других. Ведь ты сочиняешь свои фантазии вот уже двадцать лет...

— Вы не в своем уме. Я вовсе не верю в то, что пишу.

— И не хочешь, а веришь. Сие от тебя не зависит. В том смысле, что если уж пишешь всерьез, то всерьез принимаешь и сюжет, и все, что к нему относится. Один-два абзаца — и вот уже твой мозг обработан настолько, что способен войти в контакт... Но к чему спорить? Я же тебя использовал. Ты видел, как загорелась лампочка. Так что придется тебе отправиться вместе со мной...

— Но я не хочу! — Прентисс скрестил упрямые руки. — Или вы можете заставить меня против воли?

— Мог бы, но насилие, видимо, принесло бы тебе вред, а этого не хочу я. Предположим, будет так. Или ты отправляешься со мной добровольно, или я пропускаю ток высокого напряжения через твою жену. Насколько я понимаю, у тебя в стране припято казнить врагов государства именно таким способом, так что тебе, вероятно, подобная мера не покажется слишком уж отвратительной. Не хотелось бы мне выглядеть чрезмерно жестоким даже по отношению к человекообразному...

Волосики на виске у Прентисса начали слипаться от пота.

— Погодите, — сказал он, — не делайте ничего такого. Давайте еще раз все обсудим...

— Обсудим, обсудим... Мне это надоело. У тебя, конечно, есть молоко. Не очень-то ты заботливый хозяин, если не предложил мне освежиться по собственному почину...

Прентисс постарался припрятать возникшую у него мысль, склонить ее как можно дальше, в самой глубине сознания. Он произнес небрежно:

— У меня найдется кое-что лучше, чем молоко. Сейчас, минуточку...

— Ни с места! Позови жену. Пусть она подаст.

— Но я не хочу, чтоб она вас видела. Она еще испугается...

— Не волнуйся, — сказал эльф. — Я управлюсь с ней так, что она не почувствует ни малейшей тревоги...

Прентисс поднял руку.

— Учти, — предупредил эльф, — как бы стремительно ты ни напал, электрический ток прошьет твою жену пасквиль неизмеримо быстрее...

Рука упала. Прентисс сделал шаг к дверям кабинета.

— Бланш! — крикнул он на лестницу. — Принеси банку с гоголь-моголем и стаканчик, ладно?

— Что такое гоголь-моголь? — спросил эльф.

Прентисс постарался вложить в свой ответ весь энтузиазм, на какой только был способен.

— Это смесь молока, сахара и яиц, взбитая и восхитительно вкусная. Простое молоко по сравнению с ней совершился ерунда...

Вошла Бланш с гоголь-моголем. Ее миловидное лицо ровным счетом ничего не выражало. Хотя она взглянула на эльфа, но осталось непонятным, видит ли она его.

— Пожалуйста, Ян, — сказала она и присела на старенькое, крытое кожей кресло у окна. Руки ее безвольно упали на колени. Какое-то время Прентисс с тревогой смотрел на жену.

— Вы что, собираетесь так ее здесь и оставить?

— За ней будет легче следить... Ну что же ты, предложишь мне свой гоголь-моголь?

— О, конечно! Пожалуйста!

Он налил густую белую жидкость в стаканчик для коктейлей. За два дня до того он приготовил пять таких банок для своих друзей из Нью-Йоркской ассоциации фантастов и щедрой рукой замешал туда вино, поскольку хорошо известно, что фантасты именно это и любят.

Антенны эльфа яростно затрепетали.

— Небесный аромат, — пробормотал он.

Кончиками тоненьких своих лапок он обнял стакан за донышко и поднял его ко рту. Уровень жидкости в стаканчике сразу упал.

— Когда твой детеныш вернется из так называемой школы? — спросил эльф. — Он мне нужен.

— Скоро, скоро, — ответил Прентисс нервно. Он взглянул на ручные часы. Действительно, Ян-младший должен был появиться, пронзительно требуя пирога с молоком, минут эдак через пятнадцать, не позже.

— Подливайте себе, — настойчиво сказал Прентисс, — подливайте...

Эльф весело прихлебывал.

— Как только детеныш будет здесь, — заявил он, — ты сможешь идти.

— Идти?

— В библиотеку и сразу обратно. Ты возьмешь там книги по электронике. Мне нужно точно знать, как строят телевизоры, телефоны и все такое прочее. Мне нужны инструкции по телефонной связи, правила производства вакуумных ламп. Все как можно точнее, Прентисс, и как можно подробней! Перед нами стоят огромные задачи. Нефтепромыслы, перегонка бензина, моторы, научная агротехника. Мы с тобой построим новый Авалон. Технический. Волшебную страну по последнему слову науки. Новый, небывалый мир!..

— Великолепно! — восхликал Прентисс. — Но не забывайте про свое питье...

— Вот видишь! Ты уже загорелся моей идеей. И ты будешь вознагражден. Ты получишь дюжину самок человекаобразных для себя одного...

Прентисс опасливо глянул на Бланш. Никаких признаков, что она это слышала, но кто знает?..

— А какой мне прок, — сказал он, — от дюжины сам... женщин, я хотел сказать?

— Не прикидывайся, — осадил его эльф, — будь правдив. Вы, человекообразные, известны моему народу как распутные и лживые создания. Вот уже много поколений матери пугают вами свое потомство!.. — Он поднял стакан с гоголь-моголем и, провозгласив: — За мое потомство! — осушил его.

— Подливайте себе, — сказал Прентисс сразу же, — подливайте.

Эльф так и сделал.

— У меня будет много детей, — сказал он. — Я продолжу и разовью расу суперэльфов. Расу электр... — он инул, — электронных чудоев, расу необозримого будущего...

Громко хлопнула дверь внизу, и юный голос позвал:

— Мам! Эй, мама!..

Блестящие глаза эльфа, пожалуй, были слегка затуманены.

— Затем мы приступим, — говорил он, — к перевоспитанию человекообразных. Некоторые и сейчас верят в нас, остальных мы будем, — он опять икнул, — учить... Настанут прежние времена, только еще счастливее: эльфократия будет становиться все совершеннее, сотрудничество все теснее...

Голос Яна-младшего прозвучал уже ближе и с оттенком нетерпения:

— Мам, эй! Тебя что, нет дома?..

Бланш сидела неподвижно. Речь эльфа стала чуть хрипловата, равновесие он держал как-то неуверенно. Если Прентисс вообще собирался рискнуть, сейчас, вот сейчас настало самое время...

— Сиди смирно, — потребовал эльф властно, — не валяй дурака. Что в твоем гоголь-моголе есть алкоголь, я узнал в тот же миг, когда ты задумал свой идиотский план. Вы, человекообразные, весьма и весьма коварны. У нас, у эльфов, про вас есть много пословиц. К счастью, алкоголь па нас почти не влияет. Вот если бы ты взял кончакую мяту и добавил к ней капельку меду... А-а, детеныши! Как поживаешь, маленький человекообразный?

Эльф застыл на столе, бокал с гоголь-моголем — на полути к его челюстям, а Ян-младший — в дверях. Яну-младшему было десять, лицо у него было замазано, волосы встрепаны. В серых его глазах читалось величайшее изумление. Потертые учебники болтались на конце ремешка, зажатого в кулаке.

— Пап! — позвал он. — Что случилось с мамой? И — и что это такое?

Эльф повернулся к Прентиссу.

— Бегом в библиотеку! Нельзя терять ни минуты. Какие мне пушки книги, ты знаешь...

Он притворного опьянения не осталось уже и следа, и Прентисс окончательно упал духом. Существо играло с ним как кошка с мышью. Он поднялся, чтобы идти.

— И без фокусов, — предупредил эльф. — Никаких подлостей. Твоя жена по-прежнему заложница. Убить ее я могу и с помощью мозга детеныша, на это его хватит. Правда, мне не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Я член Эльфетарианского общества этики, и мы выступу-

паем за гуманное отношение к млекопитающим, так что можешь рассчитывать на мое благородство, если, конечно, будешь подчиняться моим приказам...

Прентисс, спотыкаясь, направился к двери.

— Пап, а оно разговаривает! — вскричал Ян-младший. — Оно грозится, что убьет маму. Эй, не уходи!..

Прентисс был уже за порогом, когда услышал, как эльф сказал:

— Не пьялься на меня, детеныш. Я не причиню твоей матери вреда, если ты будешь делать все точно, как я скажу. Я эльф, волшебник и чародей. Ты, разумеется, знаешь, кто такие волшебники...

И Прентисс был уже на крыльце, когда услышал, как диксант Яна-младшего сорвался на резкий крик... Мощные, хоть и невидимые вожжи, тянувшие Прентисса из дома, вдруг порвались и исчезли. Он бросился назад, вновь обретая контроль над собой, и взлетел вверх по лестнице.

На столе лежал сплющенный черный панцирь, изпод него сочились бесцветная жидкость.

— Я его стукнул, — всхлипывал Ян-младший. — Стукнул своими книжками. Оно обижало маму...

Понадобился час, чтобы Прентисс понял, что нормальный мир потихоньку возвращается на место и что трещины, пробитые в реальности созданием из Авалона, малопомалу затягиваются. Сам эльф превратился уже в горстку пепла в печи для мусора на заднем дворе, и о нем напоминало теперь лишь влажное пятно под столом.

Бланш была еще болезненно бледна. Говорили они шепотом.

— Как там Ян-младший? — спросил Прентисс.

— Смотрит телевизор.

— С ним все в порядке?

— О, с ним-то все в порядке, зато меня теперь неделями будут мучить кошмары...

— Знаю. Меня тоже, пока мы не заставим себя выбросить все это из головы. Не думаю, чтобы здесь еще раз появилось что-нибудь... что-нибудь подобное.

— Не могу передать тебе, — сказала Бланш, — какой это был ужас. Я ведь каждое его слово слышала, даже пока была еще внизу в гостиной.

— Телепатия, видишь ли...

— Просто двинуться не могла, и все. Потом, когда ты вышел, я набрала сил чуть-чуть попевелиться. А потом Ян-младший шарахнул его, и я тотчас же освободилась. Не понимаю, как и почему.

Прентисс ощущал своеобразное мрачное удовлетворение.

— А я, пожалуй, знаю, в чем тут дело. Я был под его контролем, поскольку допускал, что он существует на самом деле. Тебя он держал в повиновении через меня. А когда я вышел, он решил, что пришла пора переключиться с моего мозга на мозг Яна-младшего. Это и была его ошибка.

— Почему же ошибка? — спросила Бланш.

— Он считал само собою разумеющимся, что дети, все без исключения, верят в эльфов и волшебников. Он заблуждался. Сегодняшние американские дети ни в каких волшебников не верят. Они просто никогда о них не слышали. Они верят в Тома Корбетта и Дика Трэси, в неустранных сыщиков и неуловимых преступников, в сверхчеловека и во множество других вещей, но только не в волшебников. И когда он попытался завладеть сознанием Яна-младшего, ему это просто не удалось...

Прентисс засунул руки в карманы и медленно ухмыльнулся.

— Знаешь, Бланш, когда я увижу с Уолтом Рэем, я, наверно, намекну ему, что писал до сих пор чепуху. Пришло, наверно, время, чтобы соседи и впрямь узнали...

Ян-младший, держа в руке огромный бутерброд, забрел в кабинет к отцу в погоне за недавним, но уже тускневшим воспоминанием. Папа то и дело похлонывал его по спине, и мама совала ему пирожки и печенье, а он уже забывал почему. Там, на столе, сидело какое-то чучело, которое могло разговаривать...

Все случилось так быстро, что сам он ни в чем не успел разобраться.

Он пожал плечами и глянул туда, куда ударил луч предвечернего солнца — на частично уже напечатанную страницу в машинке, затем на стопку бумаги, ожидавшую на столе. Прочел немножко, скривил губу и буркнул:

— Ха! Опять чародеи. Небыvalьщина. Детские сказки.

И убежал на улицу.

Семь дней ужаса

СИЛА



— Скажи, мама, ты хочешь, чтобы что-нибудь исчезло? — спросил Кларенс Уиллоугби.

— Пожалуй, неплохо, если бы исчезла эта груда грязных тарелок. А почему ты спрашивашь?

— Я только что построил Исчезатель, мама. Это очень просто: берешь жестянную консервную банку и вырезаешь дно. Затем вставляешь в нее два круглых куска красного картона с отверстиями в середине, и Исчезатель готов. Для того чтобы исчезло что-нибудь, нужно просто посмотреть на этот предмет через отверстия и мигнуть.

— О-о!

— Вот только я не знаю, сумею ли вернуть исчезнувшие тарелки обратно. Давай попробуем сначала что-нибудь другое — ведь тарелки стоят денег.

Как всегда, Мира Уиллоугби была восхищена умом своего девятилетнего сына. Сама она никогда бы не додумалась до этого, а вот он додумался.

— Попробуй-ка Исчезатель на копке воин там, под дверью Бланш Мэннерс. Если она исчезнет, никто, кроме самой Бланш Мэннерс, не заметит этого.

— Хорошо, мама.

Мальчик приложил Исчезатель к глазу и мигнул. Кошка мгновенно исчезла с тротуара.

Мать с интересом посмотрела на сына.

— Интересно, а как работает Исчезатель? Ты знаешь, как он работает, Кларенс?

— Конечно, мама. Берешь консервную банку с выре-

занными донышками, вставляешь вместо них два кружка из картона и мигаешь. Вот и все.

— Ну ладно, иди поиграй на улице. И не вздумай без моего разрешения играть с Исчезателем в доме. Если мне попадобится, чтобы что-нибудь исчезло, я сама скажу тебе об этом.

После ухода сына мать почувствовала какое-то смутное беспокойство. «Может быть, мой Кларенс — гениальный ребенок? Не всякий взрослый сумеет построить Исчезатель, а тем более действующий. Интересно, хватилась ли Бланш Мэннерс своей кошки?»

Кларенс вышел из дома и направился к таверне «Гнущий пятак» на углу.

— Хочешь, чтобы у тебя что-нибудь исчезло, Нокомис?

— Да вот я не прочь расстаться со своим брюхом.

— Если я сделаю так, что оно у тебя исчезнет, вместо живота у тебя будет дыра, и ты умрешь от потери крови.

— Пожалуй, ты прав, парень. А почему бы тебе не попробовать Исчезатель на пожарном гидранте во-о-он там, у ворот?

Это был, несомненно, самый счастливый день для ребятишек всей округи. Они сбегались отовсюду поиграть на затопленных улицах и переулках, и если кто-нибудь из них утонул во время этого наводнения (мы совсем не утверждаем, что кто-то утонул, хотя это и был настоящий потоп), ну что ж, этого следовало ожидать. Пожарные машины (слыханное ли дело, пожарные машины были вызваны для борьбы с наводнением) стояли по крышу в воде. Полицейские и санитары бродили по затопленным улицам, мокрые и озадаченные.

— Возвращатель, Возвращатель, кому нужен Возвращатель? — тонким голоском кричала Кларисса Уиллougби.

— Да замолчишь ли ты наконец? — сердито прикрикнул на девочку один из санитаров. — И без тебя много хлопот!

Нокомис, буфетчик из таверны «Гнущий пятак», отозвал Кларенса в сторону.

— Пожалуй, я пока никому не скажу о том, что случилось с пожарным гидрантом, — сказал он.

— Если ты не скажешь, я тоже никому не скажу, — пообещал Кларенс.

Полицейский Комсток заподозрил неладное.

— Существует только семь возможных объяснений этого загадочного случая, — сказал он. — Несомненно, один из семи сорванцов Уиллоугби сделал это. Вот только я не знаю, как это ему удалось. Для такой работы понадобится бульдозер, и все-таки что-то от пожарного гидранта останется. Как бы то ни было, один из них сделал это.

У полицейского Комстока был несомненный талант находить правильные пути решения запутанных проблем. Именно поэтому он был рядовым полицейским и патрулировал улицы, вместо того чтобы сидеть в кресле в полицейском участке.

— Кларисса! — сказал он голосом, подобным раскату грома.

— Возвращатель, Возвращатель, кому нужен Возвращатель? — продолжала она выкрикивать тонким голосом.

— Подойди сюда, Кларисса. Как ты думаешь, что случилось с этим пожарным гидрантом? — спросил полицейский Комсток.

— У меня есть невероятное подозрение, только и всего. Ничего определенного. Как только будет известно что-нибудь определенное, я вам сообщу.

Клариссе было восемь лет, и она очень любила невероятные подозрения.

— Клементина, Гарольд, Коринна, Джимми, Сирил, — обратился полицейский Комсток к пяти младшим отпрыскам семьи Уиллоугби. — Что, по-вашему, случилось с пожарным гидрантом?

— Вчера около него бродил какой-то человек. Наверно, он взял гидрант, — сказала Клементина.

— Да не было здесь никакого гидранта. По-моему, вы поднимаете шум из-за пустяков, — заметил Гарольд.

— Городской муниципалитет еще услышит об этом, — сказала Коринна.

— Уж я-то знаю, — сказал Джимми, — да не скажу.

— Сирил! — закричал полицейский Комсток ужасным голосом. Не громовым голосом, нет, а ужасным. Он ужасно себя чувствовал.

— Тысяча чертей! — воскликнул Сирил. — Да ведь мне всего три года. Кроме того, я не понимаю, почему я

должен отвечать за какой-то гидрант, хотя бы и пожарный.

— Кларенс! — сказал полицейский Комсток.

Кларенс судорожно проглотил слюну.

— Ты не знаешь, куда делся пожарный гидрант?

Кларенс просиял.

— Нет, сэр. Я не знаю, куда он делся.

На место стихийного бедствия явилось несколько самоуверенных парней из отдела водоснабжения, которые перекрыли воду на несколько кварталов в округе и поставили на то место, где раньше был пожарный гидрант, заглушку.

— Нам придется представить шефу самый невероятный отчет за всю мою жизнь, — сказал один из них.

Расстроенный полицейский Комсток зашагал прочь.

— Отстаньте от меня со своим котом, мисс Мэннерс, — сказал он. — Представления не имею, где его искать. Я даже пожарный гидрант не могу найти, а вы ко мне со своим котом.

— У меня идея, — сказала Кларисса. — Мне почему-то кажется, что и кот и пожарный гидрант находятся в одном месте. Пока я не могу ничем это доказать.

Оззи Морфл носил на голове маленькую черную шапочку, закрывающую лысиину. Кларенс направил на шапочку свое оружие и мигнул. Шапочка исчезла, а из крошечной царапинки на макушке начала медленно сочиться кровь.

— Я бы не стал больше играть с этой штукой, — сказал Нокомис.

— А кто играет? — спросил Кларенс. — Это взаимно.

Так начались семь дней ужаса в этой тихой, до сих пор ничем не выделявшейся округе. Из парков исчезали деревья; фонарных столбов как не бывало; Уолли Уолдорф приехал с работы, вышел из машины, хлопнул дверцей — и машина исчезла. Когда Джордж Малендорф направился по мощеной дорожке к своему дому, почувствовавшая хозяина собачонка Пит с радостным визгом бросилась ему навстречу. В двух метрах от него она подпрыгнула ему в руки — и словно растаяла. Только лай слышался еще несколько мгновений в озадаченном воздухе.

Но хуже всего пришлось пожарным гидрантам. Второй гидрант был установлен на следующее утро после исчез-

новения первого. Он простоял только восемь минут, и наводнение началось спацала. Следующий пожарный гидрант был установлен к полудню и исчез через три минуты. На следующее утро был установлен четвертый.

При операции присутствовали: начальник отдела водоснабжения, главный инженер муниципалитета, шеф полиции со штурмовым отрядом, президент «Ассоциации Родителей и Учителей», ректор университета, мэр города, три джентльмена из ФБР, кинооператор, ряд видных ученых и толпа честных граждан.

— Посмотрим, как он теперь исчезнет, — сказал городской инженер.

— Посмотрим, как он теперь исчезнет, — сказал шеф полиции.

— Посмотрим, как он те... Смотрите, а где гидрант? — сказал один из видных ученых.

Гидрант исчез, и все основательно промокли.

— По крайней мере, теперь у меня в руках самые сенсационные кадры этого года, — сказал кинооператор. В этот момент киноаппарат со всеми принадлежностями исчез прямо у него из рук.

— Перекройте воду и поставьте заглушку, — распорядился завотделом водоснабжения. — И пока не ставьте нового гидранта. Тем более что это был последний.

— Это уж слишком, — вздохнул мэр. — Хорошо, хоть ТАСС об этом не знает.

— ТАСС об этом знает, — сказал маленький кругленький человечек, поспешно выбираясь из толпы. — Я — ТАСС.

— Если все вы, господа, пройдете в «Гнутый пятак», — провозгласил Нокомис, — и попробуете наш новый коктейль «Пожарный гидрант», вы почувствуете себя гораздо лучше. Этот превосходный коктейль состоит из отличного пленичного виски, кленового сахара и воды из этого самого гидранта. Вам принадлежит честь первыми отведать его.

В этот день дела в «Гнутом пятаке» шли, как никогда, хорошо. Да это и понятно, ведь именно у его дверей исчезали пожарные гидранты в сопровождении гейзеров бурлящей воды.

— Я знаю, как мы легко можем разбогатеть, папа, — сказала несколько дней спустя своему отцу Кларисса. — Соседи говорят, что лучше уж продать свои дома за бес-

цепок и убраться отсюда как можно скорей. Давай достанем много денег и скупим у них дома. А потом можно будет снова их продать и разбогатеть.

— Я их даже по доллару за штуку не куплю, — сказал папа, Том Уиллоугби. — Три дома уже исчезли, и семьи, живущие в оставшихся, вынесли всю мебель во двор. Только мы одни ничего не вынесли из дома. Может быть, к утру на месте не останется ни одного дома, только пустые участки.

— Отлично, тогда давай скупим пустые участки. К тому времени как дома начнут возвращаться назад, мы будем готовы.

— Возвращаться назад? Так дома вернутся назад? Ты действительно что-то знаешь?

— Не более чем подозрение, граничащее с уверенностью. Пока ничего более определенного мне не известно.

Троє видних учених собрались в гостиничном номере, который по царящему в нем беспорядку напоминал опочивальню пьяного султана.

— Это превосходит все метафизическое. Это граничит — с квантум континуум. Некоторым образом даже опровергает Бoffа, — сказал д-р Великоф Вонк.

— Самый таинственный аспект — это контингенция интрансигенции, — загадочно выразился Арпад Арка-бараан.

— Да, — вздохнул Вилли Мак Джилли. — Кто бы мог подумать, что этого удалось добиться с помощью консервной банки и двух кусков картона? Когда я был мальчишкой, мы пользовались коробкой из-под толокна и цветным мелом.

— Я не совсем вас понимаю, — сказал д-р Вонк. — Вы не могли бы выражаться яснее?

Пока никто не исчез и даже не был ранен, если не считать капельки крови на лысине Оэзи Морфи, нескольких капель на мочках ушей Кончты, из которых исчезли ее любимые причудливые серьги, поврежденный палец, владелец которого схватился за ручку входной двери своего дома в момент его исчезновения, вывихнутый большой палец на правой ноге у соседского мальчишки, сбиравшегося пнуть консервную банку, исчезавшую в этот самый критический момент, что вызвало соприкосновение

большого пальца с поверхностью тротуара. Только и все-го, не более пятны крови и три-четыре унции пострадавшей плоти.

Теперь, однако, положение изменилось. Исчез м-р Бакл, хозяин бакалейной лавки. Это было уже серьезно.

В доме Уиллоугби появились подозрительные личности из полицейского участка в центре города. Однако самым подозрительным и надоедливым оказался мэр города. Обычно он не был таким плохим, но ужас в городе царил уже семь дней.

— В городе ходят ужасные слухи, — сказал один из подозрительно выглядящих типов, — которые связывают определенные события с вашим домом. Что вам об этом известно?

— Я распустила большинство этих слухов, — сказала Кларисса, — но я не считаю их ужасными. Скорее таинственными. Но если вы хотите докопаться до самого дна, задавайте мне вопросы.

— Это ты вызвала исчезновение всех этих предметов? — спросил сыщик.

— Это не тот вопрос, — сказала Кларисса.

— Знаешь ли ты, куда они исчезли? — спросил сыщик.

— И это не тот вопрос, — ответила Кларисса.

— Может ли ты вернуть их обратно?

— Конечно, могу. Это любой может. А вы разве не можете?

— Не могу. Если ты можешь, пожалуйста, верни их поскорее.

— Мне нужно кое-что для этого. Во-первых, золотые часы и молоток. Затем отправляйтесь в магазин и купите мне разные химикалии по этому списку. Кроме того, ярд черного бархата и фунт леденцов.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил один из полицейских.

— Действуйте, ребята, — сказал мэр, — это наша единственная надежда. Достаньте все, что она попросила.

И все было доставлено.

— Почему это все только с ней и разговаривают? — спросил Кларенс. — В конце концов я заставил все это исчезнуть. Откуда она знает, как вернуть их обратно?

— Я так и знала! — закричала Кларисса, глядя с ненавистью на мальчишку. — Я знала, что он во всем виноват. Он прочитал в моем дневнике, как делается Исчезатель. Если бы я была его мамой, я бы вышпорола его, чтобы он больше не читал дневник своей младшей сестрички. Вот что происходит, когда что-нибудь серьезное попадает в безответственные руки.

Она положила золотые часы мэра на пол и замерла с поднятым молотком.

— Я должна подождать несколько секунд. В таком деле нельзя спешить. Всего несколько секунд.

Секундная стрелка описала круг и достигла деления, предназначенного для этого момента еще до сотворения мира. Молоток в руке девочки внезапно с силой опустился на великолепные золотые часы.

— Вот и все, — сказала она. — Все ваши тревоги кончились. Смотрите, вон там, на тротуаре, появился кот Бланш Мэннерс — там, откуда он исчез семь дней тому назад.

И кот появился на тротуаре.

— А теперь давайте отправимся к «Гнутому пятаку» и посмотрим, как возвратится первый пожарный гидрант.

Им пришлось ждать всего несколько минут. Гидрант появился из ниоткуда и с грохотом покатился по мостовой.

— Теперь я предсказываю, — сказала Кларисса, — что все исчезнувшие предметы возвратятся точно через семь дней после их исчезновения.

Семь дней ужаса окончились. Исчезнувшие предметы начали возвращаться.

— Как, — спросил мэр девочку, — ты узнала, что они вернутся через семь дней?

— Потому что Кларенс построил семидневный Исчезатель. Я могу построить девятидневный, трипятнадцатидневный, двадцатисемидневный и семилетний Исчезатель. Я сама собиралась построить тринадцатидневный Исчезатель, но для этого нужно покрасить картонные кружки кровью из сердца маленького мальчика, а Сироил пласал всякий раз, когда я пыталась сделать глубокий разрез.

— Ты действительно знаешь, как построить все эти штуки?

— Конечно. Только я содрогаюсь при мысли, что бу-

дет, если этот секрет попадет в руки безответственных людей.

— Я тоже содрогаюсь, Кларисса. А зачем тебе понадобились химикации?

— Для моих химических опытов.

— А черный бархат?

— На платья моим куклам.

— А фунт леденцов?

— Как вы сумели стать мэром этого города, если не понимаете таких простых вещей? Как вы думаете, для чего существуют леденцы?

— Последний вопрос, — сказал мэр. — Зачем тебе понадобилось разбивать молотком мои золотые часы?

— О-о, — ответила Кларисса, — для драматического эффекта.

Сим удостоверяется...

СПА



дьявол выжал из себя улыбку.

— Знаете, — сказал он, — это как-то не принято... Я даже и не уверен...

— Короче, нужна вам моя душа или нет? — напрямик спросил Джеймс Фенвик.

— Нужна, конечно, — был ответ. — Но придется еще подумать. При данных обстоятельствах я что-то не представляю, как я ее получу...

— Ну, разве я так уж много прошу? — заметил Фенвик, потирая руки. — Всего-навсего бессмертия. Ума не приложу, почему до этого раньше никто не додумался. По-моему, дело верное. Ну, смелей же, смелей решайтесь. Или захотелось на попятную?

— Да нет, — поспешил заверить дьявол. — Просто... Знаете, Фенвик, я не уверен, отдаете ли вы себе отчет... Ведь бессмертие — это довольно долго...

— Вот именно. И весь вопрос — будет ему конец или нет. Если да, вы получаете мою душу. Если нет... — Фенвик легонько махнул рукой. — Тогда выигрываю я.

— О, конец-то будет, — заявил дьявол мрачно, даже зловеще. — Просто в настоящее время я как-то не хотел бы брать на себя такое долгосрочное обязательство. Вам не понравится быть бессмертным, Фенвик, поверите мне...

— Ха, — сказал Фенвик.

— Не понимаю. И чего вам так приспичило с этим бессмертием?.. — Дьявол раздраженно постукивал кончиком хвоста по ковру.

— Мне? Ничуть, — изрек Фенвик. — По сути дела, бессмертие — это просто попутно... Главное, мне хотелось бы кое-что предпринять, не опасаясь последствий...

— Я мог бы это для вас устроить, — тут же нашелся дьявол.

— Но тогда, — Фенвик поднял руку, чтобы его не перебивали, — договор на том, естественно, и кончался бы. А так я приобретаю не только запас всевозможных иммунитетов, но вдобавок еще и бессмертие. Принимаете мои условия — хорошо, не хотите — не надо...

Дьявол встал и принялся, пахнувшись, мерить комнату шагами. Прошло какое-то время, прежде чем он поднял голову.

— Ладно, — сказал он деловым тоном. — Я согласен.

— Правда?.. — Фенвик вдруг почувствовал известное разочарование. Час пробил, пора ставить точку, но, может статься... Он посмотрел неуверенно на зашторенное окно. — А как... как же вы это сделаете?..

— Биохимия, — сказал дьявол. Теперь он решился и, казалось, был совершенно уверен в себе. — И квантовая механика. Ваш организм получит способность к регенерации, а, кроме того, придется осуществить кое-какие пространственно-временные изменения. Вы приобретете полную независимость от внешней среды. Среда — передко самый фатальный фактор...

— А я? Я останусь таким же, как был, видимым, осозаемым, без обмана?

— Какой еще обман! — дьявол принял оскорбленный вид. — Если уж говорить об обмане, так, мне сдается, это вы пытаетесь надуть меня, а не наоборот. Нет, нет, Фенвик! Обещаю вам, вы получите по договору сполна. Станете закрытой системой, как Ахилл. Совсем закрытой, за исключением пятки. Понимаете сами, должна же быть какая-то уязвимая точка...

— Нет, — быстро вставил Фенвик, — так я не согласен.

— Боюсь, тут уж ничего не подишешь. Закрытая система обезопасит вас от любых внешних воздействий. А внутри системы будете только вы. Система — это же и есть вы. И это в ваших собственных интересах оставаться хотя бы чуточку уязвимым... — Дьявол махнул хвостом по ковру. Фенвик встревожился и пристально глядел на него. — Ведь если со временем вы сами решите прекратить свою жизнь, даже я не смогу защитить вас.

Подумайте, в самом деле, ведь через несколько миллионов лет вам, может, и захочется умереть...

— Как не вспомнить Титона! — воскликнул Фенвик. — Я сохраню и молодость, и здоровье, и внешность, и все способности...*

— Конечно, конечно. Я сам не заинтересован в том, чтобы вас обманывать, условия меня устраивают. Я имел в виду, что вас, быть может, одолеет самая обыкновенная скучка...

— А вы — вы скучаеете?

— Бывало, — признался дьявол.

— Вы бессмертны?

— Естественно.

— Тогда почему же вы себя не убили? Или не смогли?

— Смог, — ответил дьявол уныло, — в том-то и дело, что смог... Давайте лучшие поговорим об условиях нашего контракта. Бессмертие, молодость, здоровье... неуязвимость во всем за единственным исключением самоубийства. В обмен я получаю вашу душу после вашей смерти.

— Зачем? — неожиданно полюбопытствовал Фенвик.

Дьявол взглянул на него угрюмо.

— Ваше падение, как и падение каждой новой души, заставляет меня на минутку забыть о своей... — Он сделал нетерпеливое движение. — Однако все это софистика. Вот... — Он выхватил из воздуха свиток пергамента и гусиное перо. — Вот наше соглашение.

Фенвик прочел весь свиток с полным вниманием. В одном месте он поневоле остановился и поднял глаза на дьявола.

— Это еще что? — спросил он. — Я не знал, что надо оставить залог....

— Разумеется, мне нужен своего рода залог. Или вы представите поручителя?

— Нет, конечно, — признался Фенвик. — Боюсь, такого не сыщешь даже в камере смертников. Какой же это залог?

— Кое-что из ваших воспоминаний. Все они, к вашему сведению, подсознательные.

* Титон — в древнегреческой мифологии муж Эос, богини утренней заря. По рождению Титон был человек, а не бог. Эос вымогила для него у Зевса бессмертие, но забыла попросить заодно и вечную молодость, и Титон стал дряхлым неумирающим старцем. (Прим. перев.)

Фенвик задумался.

— Стало быть, амнезия... А если мне нужны мои воспоминания?

— Но не эти. Амнезия — это когда исчезают сознательные воспоминания. А отсутствия той их части, которую я хочу, вы даже и не заметите...

— Это душа?

— Нет, — хладнокровно ответил дьявол. — Это лишь часть души, нужная часть, конечно, иначе она не представляла бы для меня никакой ценности. Но основная часть души останется при вас до той поры, пока вы сами не пожелаете передать мне ее посмертно. Вот тогда я соединю все вместе и завладею вашей душой. Однако это, безусловно, будет очень не скоро, а вы тем временем не испытаете никаких неудобств...

— Если я внесу оговорку такого рода в контракт, вы его подпишете?

Дьявол кивнул. Фенвик сделал на полях небрежную приписку и сразу же, покуда на острие пера не просохла кровь, поставил под договором свое имя.

— Вот, готово...

Дьявол изобразил на лице бесконечное долготерпение и подписался сам. Потом он взмахнул свитком, и тот растворился в воздухе.

— Ну что ж, — сказал дьявол, — превосходно. Теперь, пожалуйста, встаньте. Нужно произвести некоторые изменения в железах... — Лапы его безболезненно вошли Фенвiku в грудь и совершили одно за другим несколько мелких быстрых движений. — Щитовидка... другие эндокринные... все эти железы можно переустроить так, чтобы ваш организм бесконечно регенерировал. Повернитесь, пожалуйста...

В зеркале над камином Фенвик увидел, как лапа страшного гостя тихонько влезла ему в затылок. На мгновение закружила голова.

— Зрительный бугор, шишковидное тело... — бормотал дьявол. — Пространственно-временное восприятие субъективно... Так... Вот вы уже и независимы от внешней среды... Нет, еще минуточку. Осталось только...

Он крутил кистью и быстро выдернул лапу — нет, кулак, плотно сжатый кулак, — из головы Фенвика. В ту же секунду Фенвик ощущал странную приподнятость.

— Что это вы сделали? — спросил он, обворачиваясь.
Рядом никого не было. Дьявол исчез.

А вдруг — а вдруг это был просто-напросто сон?
Что ж тут удивительного — после таких событий кто угодно засомневается, не бредит ли он наяву. Галлюцинации редки, но ведь случаются... Выходит, он теперь бессмертен и неуязвим. Однако если верить здравому смыслу, все это психоз, да и только. Доказательства — какие у него доказательства?

Ну а сомнения — какие есть основания для сомнений? Бессмертие — это же не пустяк, это ощущимо. Внутренняя уверенность в безграничном благополучии. Переустройство желез, вот так штука! Мой организм теперь функционирует как никогда раньше, как никогда еще не функционировал ничей организм. Я теперь закрытая, самовосстанавливающаяся система, над которой ничто не властно, даже время...

Им овладело неведомое, все нарастающее ощущение счастья. Он закрыл глаза и вызвал в памяти самые ранние, самые первые свои впечатления. Солнечный зайчик дрожит на полу веранды... Муха журчит... А его, утонувшего в тепле, качает, качает... Память не осознавала потери, мысль свободно путешествовала в прошлом. Равномерные взмахи и скрип качелей на детской площадке, а в церкви — гулкая, пугающая тишина. Дошатый ящик сельского клуба. Шершавая мокрая губка, обтирающая ему лицо, и голос матери...

Неуязвимый и бессмертный, он пересек комнату, открыл дверь, прошел по короткому коридору. Каждое движение наполняло его чувством удивительной легкости, полнейшей радости бытия. Он приоткрыл тихонько другую дверь и заглянул за нее. Мать спала, откинувшись на груду подушек.

Фенвик был так счастлив, так счастлив...

Он подошел поближе, обогнулся на цыпочках креслоКаталку, постоял у кровати, глядя на мать. Потом осторожно высвободил одну подушку, поднял ее и прижал — сперва легонько — двумя руками к лицу спящей.

Поскольку этот рассказ — отнюдь не хроника грехов Джеймса Фенвика, очевидно, нет и необходимости во всех деталях расписывать, по каким ступеням он прошагал, чтобы за какие-нибудь пять лет добиться звания Худшего

Человека на Земле. Желтые газеты упивались им. Были, конечно, люди и похуже его, но все они были смертны, уязвимы, а потому скрытны.

В основе его поведения лежала и крепла с каждым днем уверенность, что он, Фенвик, есть единственная постоянная в этом скоротечном мире. «Дни их как трава», — размышлял он, наблюдая за людьми — своими братьями во сатане, когда те собирались толпами у алтарей, таких отталкивающе-никческих. Это было еще на заре его карьеры, он тогда исследовал собственные ощущения, следя традиционным представлениям и предрассудкам; позже он отверг подобное занятие как мальчишество.

Он был свободен в своих поступках, идеально свободен, его наполняла непрестанная и восхитительная уверенность в собственном благополучии, и он экспериментировал со многими сторонами бытия. Путь его был устлан посрамленными присяжными и недоумевающими адвокатами. «Современный Калигула! — восклицала газета «Нью-Йорк ньюс», объясняя своим читателям на примерах, кто такой был Калигула. — Неужели ужасные обвинения, выдвинутые против Джеймса Фенвики, реальны?»

Но по той ли, по другой ли причине осудить его никогда не удавалось. Обвинения проваливались одно за другим. Дьявол не обманывал — Фенвик действительно представлял собой закрытую систему, независимую от окружающей среды, и свою независимость он продемонстрировал на множестве процессов. Сам он так и не сумел понять, каким же образом дьявол всякий раз добивается успеха. Надобность в настоящем чуде если и являлась, то чрезвычайно редко.

Однажды некий разорившийся банкир, полагавший — и на редкость справедливо — что виновник краха Фенвик, выпустил пять пуль прямехонько ему в сердце. Пули срикошетировали. Свидетелей этому было только двое — Фенвик и банкир. Тот решил, наверное, что противник невредим благодаря какой-нибудь стальной жилетке, и последнюю, шестую пулю направил Фенвику в голову. Результат был тот же. Банкир попробовал еще раз, теперь ножом. Фенвику заело любопытство — он решил не защищаться: что получится? Получилось то, что банкир в конце концов сошел с ума.

Прямо и недвусмысленно присвоив подвернувшееся

состояние, Фенвик принялся приумножать его. Обвинения, как и прежде, сыпались со всех сторон, но из этого по-прежнему ничего не выходило. Требовались особые усилия, чтобы каждое очередное преступление непременно относилось к разряду караемых смертной казнью, но не так уж сложно оказалось разработать на сей счет свою методику, и богатство Фенвика и власть умножались час от часу.

Слава про него шла самая дурная. Однако вскоре он решил, что славы еще мало, и возжал на восхищении. Добиться восхищения было несколько труднее — Фенвик не собрал еще таких богатств, которые поставили бы их владельца вне морали, сделали бы его неподсудным общественному мнению. Впрочем, это было поправимо. Через десять лет после сделки с дьяволом Фенвик, может, и не был еще могущественнейшим человеком на Земле, но, безусловно, был могущественнейшим в Соединенных Штатах. Он добился того восхищения и той известности, о которых, как ему казалось, мечтал.

И все-таки чего-то недоставало. Высказывал же дьявол предположение, что через несколько миллионов лет Фенвiku самому захочется умереть со скуки. Но прошло всего десять лет, и в один прекрасный летний день Фенвик был слегка шокирован открытием — он не знал, он просто не знал, что же ему делать дальше.

Со всей возможной тщательностью он исследовал свое состояние. «Это и есть скука?» — спросил он себя. Если так, то даже скука не была неприятной. Проступала в ней некая восхитительная расслабленность, словно он лежал на плаву в теплой океанской воде. Пожалуй, расслабленность была даже слишком явной.

«Если это и все, что дает бессмертие, — говорил он себе, — стоило ли копья ломать? Состояние, конечно, приятное, но продать ради него душу?.. Должно же найтись что-нибудь такое, что вывело бы меня из этой дремоты!..»

Он опять экспериментировал. Не прошло и пяти лет, как он опять лишился благосклонности общества, растерял ее оттого, что все более и более судорожно пытался выкарабкаться из удушливой безмятежности. Пытался — и не мог. Самые чудовищные, ужасающие ситуации не производили на него ровно никакого впечатления. Других они обратили бы в камень, повергли бы в трепет — Фенвик не ощущал ничего, кроме полного безразличия.

С чувством глухого отчаяния — но и оно не могло нарушить его спокойствия — Фенвик обнаруживал, что начинает терять контакт с родом человеческим. Люди были смертны, и они, казалось, уходят от него в какую-то нереальную даль. Ведь даже земля под ногами уже не была для него незыблемой — со временем, думал он, ему придется наблюдать движение геологических приливов...

Наконец, он обратился к области интеллекта. Он стал рисовать и писать и помаленьку заниматься науками. Это было интересно, но лишь до известного предела. Рано или поздно он неизбежно наталкивался на некий барьер, на запертую в сознании дверь, и за ней, за дверью, не было ничего, кроме все того же убаюкивающего спокойствия, и в этом спокойствии растворялся без следа любой интерес. В нем, в нем самом чего-то явно не хватало.

Постепенно зрело подозрение. Оно то всплывало к самой поверхности, то опять, под нажимом нового увлечения, пряталось в глубину. Но в конце концов оно прорвалось из подсознания в сознание.

Однажды утром Фенвик очнулся от сна и сразу же сел в кровати, будто его подтолкнула чья-то невидимая рука.

— Чего-то во мне не хватает, — сказал он про себя. — Это факт. Но чего?..

Он задумался. Как давно не хватает этого — того, чего не хватает? Ответа не было — сперва не было. Глубокая, неодолимая безмятежность не отпускала, укачивала его, не давала сосредоточиться. Эта-то безмятежность и была важной частью его беды. Как давно она овладела им? Очевидно, со дня заключения договора. Чем она вызвана? Ну, все эти годы он считал, что просто-напросто благополучием в каждом уголке, в каждой клеточке его организма, функционирующего идеально и вечно. А если это на самом деле нечто большее? Если его сознание нарочито притуплено, чтобы он и не заподозрил, что совершина кража?..

Кража?.. Сидя в кровати среди тяжелых шелковых простыней, глядя на бледный июньский рассвет за окном, Джеймс Фенвик вдруг узрел всю возмутительную правду. Под одеялом он звонко стукнул себя по колену.

— Моя душа! — крикнул он невозмутимому восходу. — Он обманул меня! Он украл у меня душу!..

Стоило лишь ухватиться за эту мысль, и она показалась Фенвику настолько очевидной, что оставалось диву даваться, как же он не заметил подвоха сразу. Дьявол хитер и бесчестен, он предвосхитил расплату — и отнял у Фенвика душу немедля. Если и не всю, то, по крайней мере, главную ее часть. И Фенвик, стоя перед зеркалом, сам наблюдал за тем, как дьявол это проделал. Тут не могло оставаться, видимо, и тени сомнения. Ибо в нем определенно чего-то недоставало. Сколько раз он будто останавливался перед запертой в сознании дверью, и дверь не могла перед ним открыться потому лишь, что в нем не хватало главного — утраченной, украденной души...

Какой же прок в бессмертии без этого загадочного нечто, которое и придает бессмертию самый смак? Он не в силах вкусить от возможностей вечной жизни по той причине, что у него отобрали самый ключ к бытию...

— Кое-что из воспоминаний, а?.. — усмехнулся он, осмысливая заново, что сказал тогда дьявол и как подчеркнуто небрежен был, когда дошло до залога. — И я даже не замечу их отсутствия, а?.. А на деле-то это самая что ни на есть сердцевина моей души!..

Он стал припомнить фольклор и мифологию, персонажей, у которых не было души. Маленькая русалочка, девушка-тюлень, кто-то там из «Сна в летнюю ночь» — оказывается, в мифологии это было вполне обыкновенное явление. И те, кто лишился души, страстно желали заполучить ее снова любой ценой. Дело тут, понимал теперь Фенвик, вовсе не в пережитках язычества в сознании ряда авторов. Нынешнее его положение было, что ни говори, уникально — он-то узнал, что по душе можно искренне тосковать.

Теперь он понял, как много потерял, и им завладело мучительное, непереносимое чувство утраты. Такое же, наверное, чувство мучило русалочку и всех остальных. Как и он, все они были бессмертны. Людьми они, правда, не были, но, по-видимому, тоже познали этот странный мир полнейшей свободы, легкомысленной и беспечной; ведь даже сейчас между Фенвиком и его потерей иной раз вырастала стена крайнего ко всему безразличия... Разве боги, по преданию, не проводили дни свои в нескон-

чаемом бездумном веселье? Они смеялись и пели, танцевали и пили — и никогда не ведали ни усталости, ни тоски...

До каких-то пор это было просто замечательно. Но раз уж заподозрил неладное, то теряешь вкус к олимпийской жизни и жаждешь заполучить свою душу обратно, чего бы это ни стоило. Почему? Дать логичное объяснение Фенвик не смог бы. Он знал, что не ошибается, знал — и все...

В тот же миг прохладный летний восход всколыхнул ся, и между Фенвиком и окном вырос дьявол. Фенвик поневоле вздрогнул.

— Договор был на вечность, — сказал он.

— Да, был, — сказал дьявол. — Но этот пункт можно и аннулировать...

— Я ничего аннулировать не намерен, — заявил Фенвик резко. — И как это, собственно, получилось, что вы объявились именно здесь и сейчас?

— Мне показалось, вы меня звали, — сказал дьявол. — Вы хотели поговорить со мной? Мне показалось, я уловил в вашем сознании нотку отчаяния. Как вы себя чувствуете? Скука не одолела еще? Не хотите ли разом все прекратить?..

— Конечно, нет. А если бы и хотел, так разве потому, что вы меня обманули. Не откажитесь объяснить: что это вы забрали у меня из головы в день нашего договора?

— Мне не хотелось бы вдаваться в подробности, — ответил дьявол, слегка помахивая хвостом.

— А мне хотелось бы! — вскричал Фенвик. — Вы мне сказали, что это только воспоминания, отсутствия которых я и не замечу...

— Так оно и было, — усмехнулся дьявол.

— Это была душа! Моя душа!.. — Фенвик зло хватил рукой по одеялам. — Вы надули меня. Забрали у меня душу авансом, и я не могу теперь наслаждаться бессмертием, которое я за нее купил. Вопиющее нарушение контракта!..

— Что же вас беспокоит? — спросил дьявол.

— Мне кажется, есть довольно много вещей, которые принесли бы мне удовольствие, заполучи я обратно душу. Будь у меня душа, я мог бы заняться музыкой и стать великим музыкантом. Музыку я всегда любил, а теперь передо мною — вечность... Или, допустим, я мог бы

взяться за математику. Или заняться ядерной физикой — с моими-то возможностями в смысле времени и денег, и все ученые мира к моим услугам; пожалуй, нет и предела тому, чего бы я мог достигнуть. Мог бы даже взорвать весь мир и лишить вас всех будущих душ. Как бы вам это понравилось?..

Дьявол хмыкнул и почистил когти о рукав.

— Не смейтесь, — продолжал Фенвик. — Это сущая правда. Я мог бы изучить медицину и продлить человеческую жизнь. Мог бы изучить политику и экономику и положить конец всем войнам и страданиям. Мог бы изучить криминалистику и заполнить ад новообращенными душами. Мог бы сделать все, что угодно, обладай я вновь своей душой. А без нее, без души, ну... все слишком... слишком спокойно. — Он печально опустил плечи. — Словно я отрезан от человечества. Что я ни делаю — ни к чему. А я все равно спокоен и беззаботен. Я даже не несчастлив. И все же не представляю себе, что делать дальше. Я...

— Другими словами, вас одолела скука, — сказал дьявол. — Извините, что не могу вам по этому случаю посоветовать...

— Другими словами, вы надули меня, — сказал Фенвик. — Отдайте мне мою душу!

— Я ведь сказал вам, что я у вас взял, и сказал совершенно точно...

— Мою душу!

— Вовсе нет, — заверил его дьявол. — Бойсь, что сейчас мне придется вас оставить...

— Мошенник! Отдай мне мою душу!..

— Попробуйте заставьте меня, — осклабился дьявол. Первый луч восходящего солнца ворвался в прохладу спальни, и дьявол, будто того и ждал, растворился в нем и исчез.

— Ну хорошо, — сказал Фенвик в пространство. — Очень хорошо. Я попробую.

Он не стал терять времени. Во всяком случае, потерял его не больше, чем заставляло это нелепое, не признающее забот спокойствие.

«Как же мне на него нажать? — спрашивал себя Фенвик. — Устроить ему обструкцию? Не вижу как. Тогда, быть может, лишить его чего-то, что он ценит?»

Что же он ценит? Души. Всякие души. Мою вот, в частности. Гм-м... — Он задумчиво нахмурился. — Я бы мог, например, покаяться...»

Фенвик размышлял об этом весь день. Мысль увлекла его, но в то же время она каким-то образом сама себя опровергала. Предсказать последствия подобного поступка было совершенно невозможно. Да и неясно было, как приняться за дело. Уж слишком скучной представлялась идея посвятить всю жизнь свою добрым делам.

Вечером он вышел из дома и бродил один по сумеречным улицам, погруженный в тяжкие раздумья. Прохожие скользили мимо зыбкими тенями, отраженными на экране времени. Воздух был покоен и свеж, и если бы не эта гнетущая несправедливость, если бы не беспечность, не никчемность бессмертия, за которое он так дорого заплатил, он, паверное, ощущил бы полное умиротворение.

Но вот звуки музыки вторглись в сознание, он поднял голову и увидел себя у входа в собор. Призрачные люди поднимались и спускались по ступеням. Изнутри пакатались, волна за волной, звуки органа, слышалось пение, и в воздухе носился слабый запах ладана. Все это, бесспорно, производило впечатление.

«Я бы мог зайти туда, пасть перед алтарем и во всеуслышание крикнуть, что каюсь», — подумал Фенвик. Он поставил даже ногу на ступеньку, но затем помедлил, рассудив, что все равно не решится. Собор был слишком уж впечатляющим. Он бы чувствовал себя круглым идиотом. И все же...

В нерешительности он побрел дальше. Он брел и брел, покуда его размышления опять не прервала музыка. На сей раз он оказался у незастроенного участка, где раскинула свои крылья палатка странствующего проповедника. Изнутри доносился изрядный шум. Музыка неистово билась в парусиновые стенки. В нее вплеталось пение, крики мужчин и женщин...

Фенвик остановился, подчиняясь всыхнувшей вдруг надежде. Здесь его покаяние, падо полагать, не привлечет к себе почти ничего внимания. Он помедлил секунду и вошел.

В палатке было шумно, тесно и суматошно. Но прямо перед Фенвиком меж скамейками тянулся проход к подобию алтаря, у подножия которого толпились люди, взвинченные, казалось, до предела. Над толпой распростер

свои руки оратор, он стоял за импровизированной кафедрой, взвинченный еще сильнее, чем его паства.

Фенвик бросил взгляд вдоль прохода.

«Как же мне это сформулировать? — думал он, потихоньку продвигаясь вперед. — Просто: я каюсь? Или что-нибудь вроде: я продал душу дьяволу и настоящим растворю договор? Нужна ли тут какая-нибудь специальная терминология?..»

Он почти уже добрался до алтаря, когда перед ним возникло слабое мерцание и сквозь мерцание проступили красноватые контуры дьявола — этакий трехмерный набросок в пыльном воздухе.

— Я на вашем месте не стал бы этого делать, — вымолвило видение.

Фенвик усмехнулся и прошел сквозь него. Тогда, собравшись с духом, дьявол явился перед Фенвиком в истинном своем обличье и загородил собой дорогу.

— Ну зачем устраивать такие сцены? — сказал он раздраженно. — Не могу вам передать, насколько мне здесь неуютно. Будьте любезны, Фенвик, не валяйте дурака...

Несколько человек в толпе глянули на дьявола с любопытством, но никто из них не выказал чрезмерного интереса. Большинство, вероятно, приняли его за перебордистого служителя, а те, кому доводилось видывать его во плоти, то ли попривыкли к зрелищу, то ли посчитали данное явление при данных обстоятельствах вполне уместным. Никого оно в общем-то особенно не взволновало.

— Прочь с дороги! — сказал Фенвик. — Я решился.

— Вы мухлюете, — жалостно пробормотал дьявол. — Я вам этого позволить не могу.

— Сам смухлевал, — напомнил ему Фенвик. — Попробуй останови меня...

— И остановлю, — заявил дьявол, вытянув свои когтистые лапы.

Фенвик расхохотался.

— Я же теперь закрытая система. Ты мне ничего не можешь сделать. Вспоминаешь?..

Дьявол заскрежетал зубами. Фенвик оттолкнул зловещую фигуру и двинулся вперед. За своей спиной он услышал:

— Ну ладно, Фенвик. Вы победили.

Фенвик обернулся и облегченно вздохнул:

— Так вы вернете мне мою душу?

— Я верну вам то, что взял в качестве залога, только вам это наверняка не понравится...

— Давайте ее сюда, — сказал Фенвик. — Я не верю ни единому вашему слову.

— Я отец лжи, — заметил дьявол, — но на этот раз...

— Нечего, нечего, — перебил его Фенвик. — Отдавайте мою душу!

— Только не здесь. Здесь мне очень неудобно. Следуйте за мной. Да не бойтесь вы, я просто хочу перенести вас в вашу собственную квартиру. Мы должны остаться одни...

Он поднял лапы и очертил вокруг себя и Фенвики коробочку — четыре стены в эскизё. В тот же миг исчезли напирающая толпа, шум, крики и вокруг поднялись стены роскошной квартиры. Слетка запыхавшись, Фенвик пересек знакомую комнату и выглянул в окно. Не осталось сомнений, он был дома.

— Это ловко, — поздравил он дьявола. — А теперь отдавайте мою душу...

— Я отдам лишь то, что забрал. Никакого нарушения контракта не было, но раз уж мы условились... Но предупреждаю вас по чести: вам это вовсе не понравится.

— Нечего тут темнить, — отрезал Фенвик. — Вы же нищоchem не сознаетесь, что смухлевали...

— Я вас предупредил, — сказал дьявол.

— Давайте ее сюда!

Дьявол пожал плечами. Потом он засунул лапу себе в грудь, пошарил там, приговаривая: «Я эту штуку спрятал, чтоб не испортилась», — выпул плотно сжатый кулак.

— Повернитесь, — приказал дьявол.

Фенвик повернулся. Он почувствовал, будто прохладный ветерок повеял от затылка через голову...

— Стойте спокойно! — прикрикнул дьявол у него за спиной. — Это займет минуту-другую. Знаете, Фенвик, вы дурак. Я рассчитывал на лучшее развлечение, а то ни за что не стал бы тратить время на этот фарс. Мой бедный глупенький друг, не душу я у вас забрал, а, как и говорил вам, лишь некоторые подсознательные воспоминания...

— Тогда почему же, — спросил раздраженно Фен-

вик, — я не в состоянии наслаждаться своим бессмертием? Что же это за капкан, останавливающий меня на пороге всего, что бы я ни задумал? Мне надоело быть божеством, если бессмертие остается единственным моим достоянием, если я не получаю настоящего от него удовольствия...

— Да не шевелитесь вы! — сказал дьявол. — Ну, так вот. Дорогой мой Фенвик, никакой вы не бог. Вы самый обыкновенный ограниченный человек. Собственная ограниченность — вот и все, что стоит у вас на пути. Да вы и за миллион лет не стали бы ни великим музыкантом, ни великим политиком и никаким другим великим из ваших грез! Нету в вас этого, просто нет, и бессмертие тут совершенно ни при чем. Как ни странно... — Дьявол сокрушенно вздохнул. — Как ни странно, те, кто заключает сделки со мной, никогда не способны воспользоваться тем, что я им даю. Наверное, все дело в том, что это свойство посредственности — надеяться получить что-нибудь за так, задаром. Вы, дорогой мой, совершеннейшая посредственность...

Прохладный ветерок прекратился.

— Ну вот и все, — заметил дьявол. — Вот я и вернул вам все, что взял. По фрейдистской терминологии, это всего лишь ваше супер-я, ваше «сверх-я»...

— Мое «сверх-я»? — отклинулся Фенвик, оборачиваясь. — Я что-то пе...

— Не понимаю? — закончил за него дьявол и вдруг широко осклабился. — Еще поймете. Это структура раннего познания, встроенная в ваше подсознание. Она направляет ваши импульсы по каналам, приемлемым для общества. Другими словами, мой бедный Фенвик, я только что вернул вам вашу совесть. Отчего же, как вы считаете, вам было так легко и беспечно все эти годы?..

Фенвик сделал вдох, собираясь ответить — и не успел.

Дьявол испарился. Он, Фенвик, был в комнате один.

Впрочем, нет, не совсем один. Над камином висело зеркало, и в этом зеркале он увидел свои испуганные глаза. Какое-то мгновение — и «сверх-я» возобновило в его сознании прерванную на многие годы работу.

Подобно карающей деснице, на Фенвику обрушилась, потрясая и сокрушая, память обо всем, что он совершил. Он вспомнил все свои преступления. Все до единого.

Каждый свой непростительный шаг, каждый бесчеловечный поступок за последние двадцать лет.

Ноги под ним подкосились. Мир померк с заунывным воем. Вина свалилась ему на плечи грузом, под которым он еле мог устоять. Все, что он наблюдал, все, что совершил за годы, когда беззаботно сеял зло, собралось в жуткие образы, сокрушило мозг громами, испепеляло молниями. Нестерпимые муки совести клокотали в душе, разрывали ее на части. Он поднял руки к глазам, чтобы отогнать видения, но не мог, не мог отогнать память...

Он повернулся и, шатаясь, ринулся к дверям спальни. Рванул их на себя. Чуть не падая, вбежал в комнату, сунул руку в ящик. Вытащил пистолет. Поднял к виску...

И за его спиной вырос дьявол.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Пристли Джон Бойnton (1896 г.), выдающийся английский писатель, автор пьес: «Опасный поворот», «Время и семья Конвой», «Визит инспектора»; романов: «Трое в новых костюмах», «Дневной свет в субботу», «Затемнение в Гретли», «Улица ангела», «31 июня», «Сэр Майкл и сэр Джордж».

Роман «Дженини Вильерс» представляет собой авторскую переделку одноименной пьесы, с успехом шедшей в бристольском театре «Олд Уик».

Сароян Уильям (1908 г.) — известный американский писатель, автор многочисленных рассказов, романов и пьес. Первый сборник рассказов У. Сарояна был опубликован в 1934 году, с тех пор вышло в свет более 30 его книг, в том числе романы «Рок Ваграм», «Человеческая комедия», «Приключения Весли Джексона», «Мама, я люблю тебя» и другие. Многие произведения У. Сарояна переведены на русский язык.

Янг Роберт Ф. — американский писатель. На русском языке опубликовался только рассказ «Девушка-одуванчик». Автор сборника «Миры Роберта Ф. Янга».

Рей Жан (1887—1964) — известный французский писатель, автор самых разнообразных книг и сборников рассказов. Перепробовал много профессий — много лет плавал в море, был укротителем диких зверей и т. д. Диапазон творческих интересов — от чудес современной техники до тайн истории, от строительства судов до физики XX века. Рассказ «Рука Геца фон Берлинхингена» взят из сборника «25 лучших фантастических рассказов Жана Рея». Брюссель, изд-во «Марабу», 1964.

Клод Легран — молодой французский писатель, делающий первые шаги в фантастической литературе. Предлагаемый рассказ является одним из первых его произведений, он напечатан в «Fiction», № 150 за 1965 год.

Сакё Комацу (1934 г.) — ведущий фантаст современной Японии, автор романов «Японское племя апапи», «Похитители завтрашнего дня», «День воскресения» и «На краю бесконечного потока» и многих сборников научно-фантастических рассказов. Рассказ «Смерть Бикуни» взят из сборника «Живая пещера», изд-во «Хаякава», 1967.

Матуте Ана Мария (1926 г., г. Барселона) — одна из виднейших писательниц современной Испании, представительница критического реализма, борец с фашизмом. Роман «Мертвые сыновья» (1958) и трилогия «Торгаши» (1960) — «Воспоминания» (1964), «Солдаты плачут по ночам» (1969), «Ловушка» — переведены на русский язык. Рассказ «Король Зеинов» взят из сборника «Иные дети» (1968).

Минготе Антонио — современный испанский писатель, известный в первую очередь как сатирик и юморист. Написанная им юмористическая «История людей» переведена на несколько языков. Советские читатели знакомятся с творчеством А. Минготе впервые.

Бинг Юн (1944 г.) — в прошлом юрист, журналист, теперь пишет фантастические произведения в соавторстве с Туром Оге Брингсвердом, составляет антологию по зарубежной фантастике. Наиболее известные произведения: «Хороводы вокруг солнца», «Земля содрогнется». Рассказ «Риестофер Юзеф» взят из сборника «Хороводы вокруг солнца» (1967).

Гораций Голд — начинающий английский писатель. «Чего стоят крылья» — один из первых его фантастических рассказов, опубликован в периодике «Fantasy House, Inc» в 1967 году. Перепечатан в «Ficción», № 175 за 1968 год.

Бигл Питер С. — молодой английский писатель, автор не только фантастических, но и реалистических романов и повестей. На русском языке публикуется впервые.

Майе Андре (1921 г.) — известная канадская писательница и журналистка, пишущая на французском языке. Первые заметки А. Майе были напечатаны, когда ей исполнилось одиннадцать лет, первые стихи — когда ей было пятнадцать. Среди ее произведений — романы «Профиль оригинала» (1953) и «Стены Квебека» (1965), сборники рассказов «Монреальцы» и «Завтра тоже будет любовь» (оба — в 1963), пьесы, поэтические сборники и книги для детей. На русском языке произведения А. Майе до сих пор не публиковались.

Поллард Джеймс Теодор Харвей — австралийский писатель и журналист первой половины XX века, автор нескольких сборников рассказов о жизни простых людей Австралии, самый известный из которых «Двадцать восемь рассказов» (1948). Им написано также несколько детских книг и сборник эссе «Мысль и критика» (1940). На русском языке произведения Дж. Т. Х. Полларда ранее не переводились.

Брэдбери Рэй (1920 г.) — один из ведущих американских фантастов, хорошо известный советскому читателю по переводам романов «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», сборников рассказов («Марсианские хроники») и отдельным произведениям. Рассказ «Апрельское колдовство» взят из сб. «Золотые яблоки солнца», 1964.

Азимов Айзек (1920 г.) — профессор биохимии, один из наиболее известных американских писателей-фантастов, автор романов о галактических цивилизациях, романа «Конец вечности», сборника новелл «Я робот» и многих научно-фантастических рассказов.

Лэфферти Роберт А. (1916 г.) — американский писатель-фантаст, автор многих юмористических рассказов. Начал писать фантастические произведения в 60-х годах. На русском языке печатается впервые.

Каттиер Генри (1914—1958 гг.) — один из крупнейших американских фантастов. На русский язык переведены многие рассказы Каттиера, часть которых вошла в его сборник «Робот-газнайка».

Большинство произведений написал в соавторстве со своей женой, Кэтрин Л. Мур. Автор романов «Долина огня», «Ярость», сборников рассказов «Обгоняя время», «Возвращение к чуждому», «Обходным путем к чуждому» и других.

Содержание

| | |
|---|-----|
| Разбивая стеклянные двери... Предисловие Б. Ревича | 5 |
| Джон Бойnton Пристли. Дженини Виль- ерс. Роман о театре. <i>Перевод с английского В. Ашкенази</i> | 15 |
| Уильям Сароян. Тигр Тома Трейси. По- весть. <i>Перевод с английского Р. Рыбкина</i> | 123 |
| Роберт Янг. Срубить дерево. Повесть. <i>Перевод с английского С. Васильевой</i> | 175 |

РАССКАЗЫ

| | |
|---|-----|
| Жан Рей. Рука Геца фон Берлихингена. <i>Перевод с французского А. Григорьева</i> | 225 |
| Клод Легран. По мерке. <i>Перевод с французского А. Григорьева</i> | 237 |
| Саке Комадзу. Смерть Бикуни. <i>Перевод с японского З. Рахима</i> | 240 |
| Ана Мария Матуте. Король Зениоз. <i>Перевод с испанского Е. Любимовой</i> | 258 |
| Антонио Минготе. Николас. <i>Перевод с испанского Р. Рыбкина</i> | 272 |
| Юн Бинг. Ристофер Юсеф. <i>Перевод с норвежского Л. Жданова</i> | 279 |
| Гораций Голд. Чего стоят крылья. <i>Перевод с английского Ф. Мендельсона</i> | 286 |
| Питер С. Бигл. Милости просим, леди Смерть! <i>Перевод с английского Н. Евдокимовой</i> | 294 |
| Андре Майе. Как я стала писательницей. <i>Перевод с французского Р. Рыбкина</i> | 313 |
| Джеймс Поллард. Заколдованный поезд. <i>Перевод с английского Р. Рыбкина</i> | 321 |
| Рэй Брэдбери. Апрельское колдовство. <i>Перевод с английского Л. Жданова</i> | 331 |
| Айзек Азимов. Небывальщина. <i>Перевод с английского К. Сенина и В. Тальми</i> | 342 |
| Р. А. Лэфферти. Семь дней ужаса. <i>Перевод с английского И. Почиталина</i> | 355 |
| Генри Каттер. Сим удостоверяется... <i>Перевод с английского К. Сенина и В. Тальми</i> | 364 |

АНТОЛОГИЯ СКАЗОЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ. М., «Моло-
дая гвардия», 1971. 384 с.
(Б-ка современной фанта-
стики, т. 21). На обороте
тит. л. сост.: Е. Ванслова

С63

Редактор *В. Клюева*. Худо-
жественный редактор
А. Степанова. Технический
редактор *М. Солышко*.
Корректор *Г. Василева*.

Сдано в набор 31/V 1971 г.
Подписано к печати 13/X
1971 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага № 1. Печ. л.
12 (усл. 20,46). Уч.-изд.
л. 20,5. Тираж 250 000 экз.
Цена 1 р. 30 к. Заказ
1210. Типография изда-
тельства ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия». Москва,
А-30, Сущевская, 21.

1620

1620